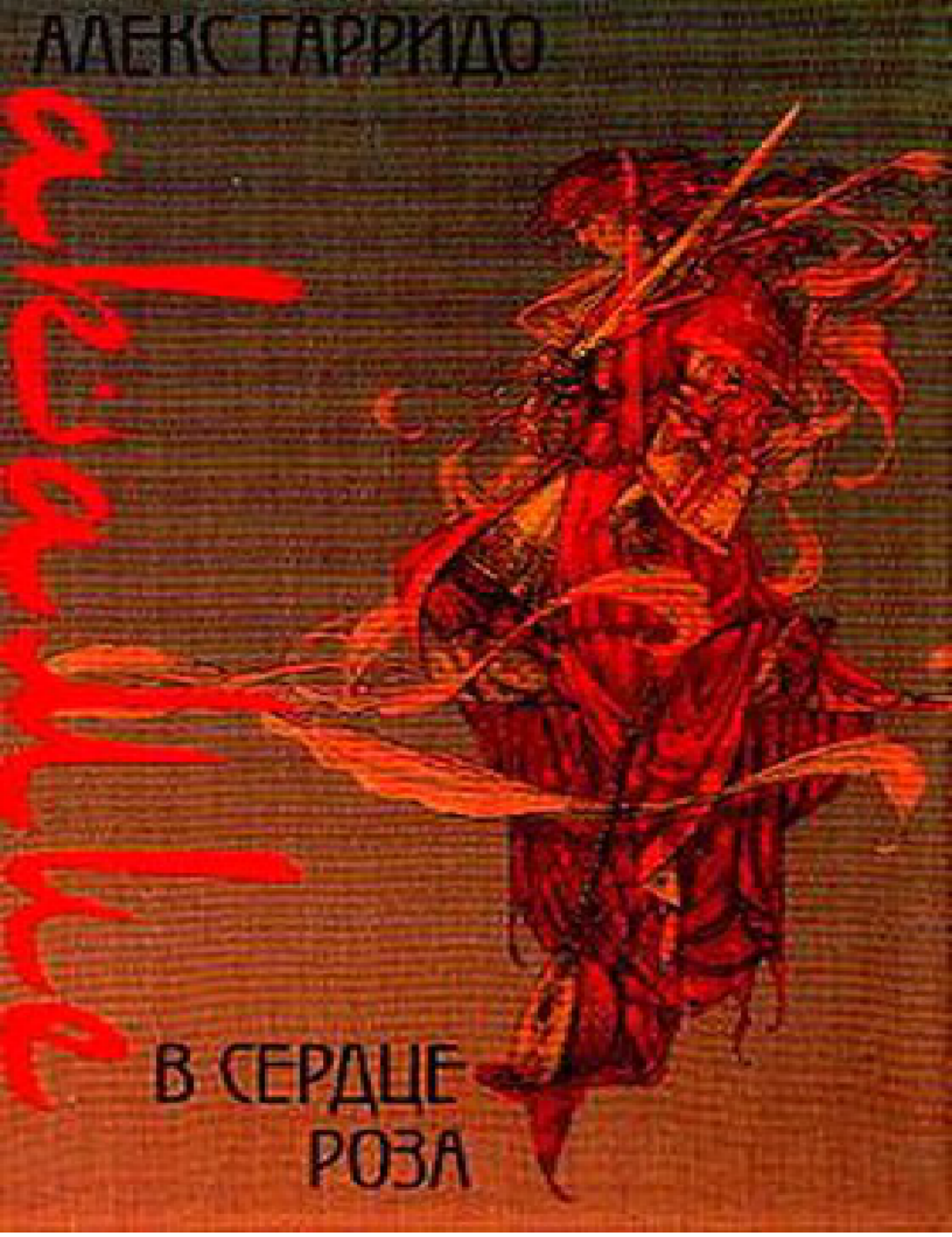
АЛЕКС ГАРРИДО



В СЕРДЦЕ РОЗА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

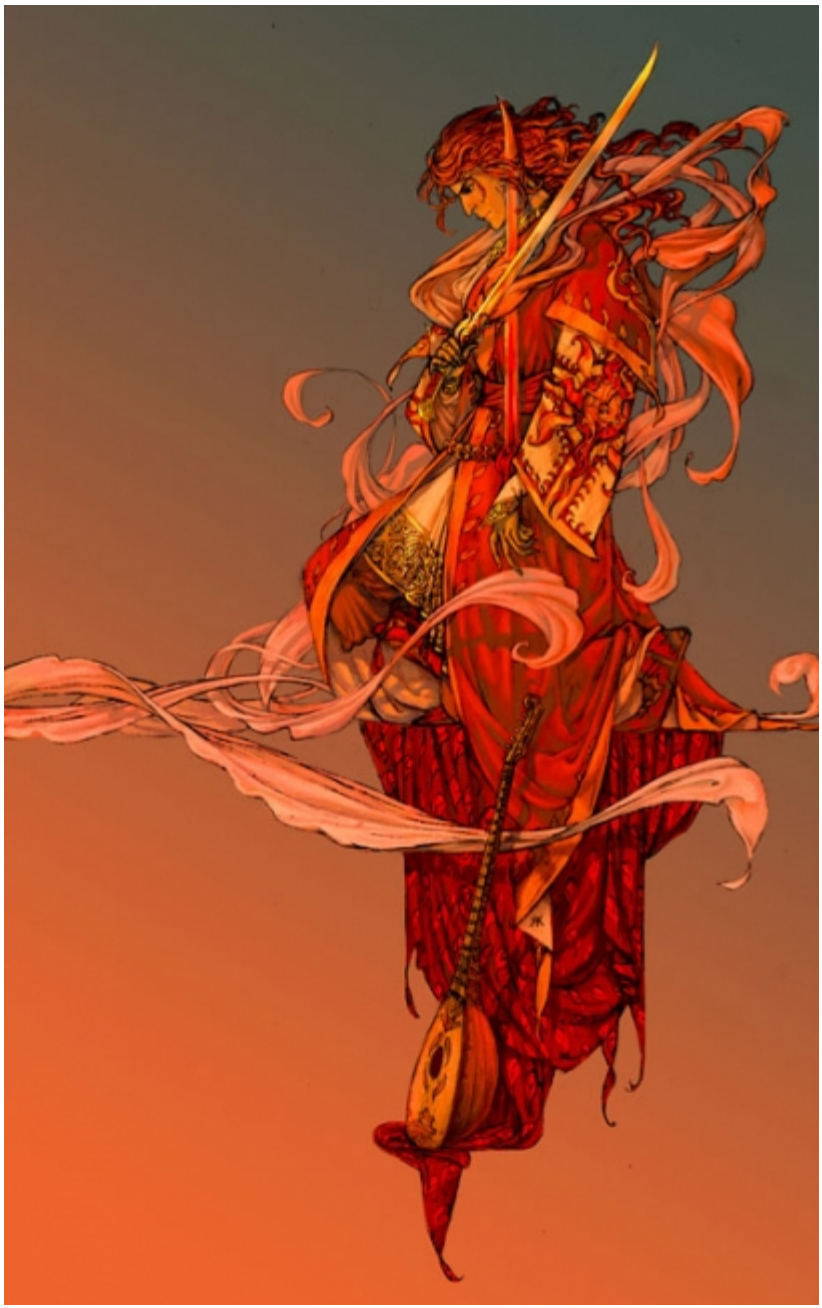
Прежде чем стать царем Хайра, долгие дни проведет Акамие в замке, владельцем которого когда-то был Тахин-ан-Араван — беззаконный поэт и любовник. В сокровищнице замка хранится любимая дарна Тахина — та, чье имя В сердце роза. Искушенный в музыке Эртхиа, царь Аттана, коснется струн божественной дарны, и от ее звука возродится сожженный на костре Тахин, и отправится в долгое путешествие вместе с Эртхиа и неуловимым лазутчиком Дэнешем. Много дальних стран они посетят, много чудес, и величественных и страшных…

- Алекс Гарридо
- О всаднике
- О доме
- О богине
- О сестре
- О брате
- Об Атакире и Атарике
- О влюбленных
- О шагате ашананшеди
- О Сирине
- Об абрикосовой флейте
- О пробуждении царя
- О радостной встрече
- О возвращении
- О встрече влюбленных
- О пастухах звезд
- О недозволенной любви
- О признаках любви
- О том, как составляли дорожник для Эртхиа
- О побратимах
- Об Арьяне ан-Реддиле
- О начале пути
- О врачах
- О том, как Арьян ан-Реддиль пел перед повелителем
- О том, что было дальше с ан-Реддилем
- Об оазисе Дари
- О друзьях ан-Реддиля
- О тамариске
- О вернувшемся
- Об араванах
- О коне золотистом, созданном из ветра и огня

- О колодце
- О родине бирюзы
- Об умирающих от любви
- О ночном разговоре
- О том, как евнух позаботился о царе
- О том, для чего он это сделал
- О том, что из этого вышло
- О строящих козни
- О Доме Солнца
- О няньке
- О подруге
- О городе Удж
- О бане
- Об аттанском купце
- О саде тенистом и благоуханном
- О плавании
- О гибели Тахина
- Об огне
- О спасении
- Об огне
- О дарне и о сидевшем у костра
- Об острове
- Об имени дарны
- О радости
- О чудесном
- О корабле
- О преданном слуге
- О медной чашке
- О новой беде
- О смерти Атарики Элесчи и ее нерожденного сына
- О пире Дракона
- О бегстве
- О неожиданных встречах
- О бумажном домике
- О звуках и ладах
- О купце
- О разлуке
- О джаитах
- О тушечнице
- О бесприютных
- О песне
- О прибывшем издалека
- Об отпечатке ладони
- О нетерпении царя

- О прибывшем издалека
- О сомнениях царя
- О том, что было дальше
- О…
- О том, что сделали ашананшеди
- О строящих козни
- О мнящих себя в безопасности
- О Ткаче
- О том, как царю привиделся Старик
- О недозволенной любви
- О жестокой необходимости
- О казни заложников
- О том, что случилось после
- О том, как об этом узнал ан-Реддиль и что он сделал
- О том, что увидел царь, выйдя из подземелья
- О том, как они тронулись в путь
- О том, как они устроились в Кав-Араване
- О городе Шад-дам
- Об оазисе Дари
- О встрече
- О встрече
- О том, как женщины готовили обед
- О свадьбе
- О Сирине
- О возвращении домой
- И вот моя история, и все, и конец

Алекс Гарридо
В СЕРДЦЕ РОЗА



О всаднике

День уже склонился к вечеру, и последние путники спешили найти приют за городскими стенами, торопя коней, понукая нагруженных пыльными вьюками верблюдов, погоняя семенящих осликов с кроткими мордами. А из ворот священного Аттана, подножия Солнечного трона, выехал одинокий всадник. Он ловко сидел в высоком хайрском седле, по тамошнему обычаю обильно украшенном серебром. Оба его коня были родом из оазисов Бахареса, об этом говорило точно отмеренное изящество их движений, прямые тонкие шеи, нежные гривы и, главное, ровная поступь неутомимых бахаресай. Легкий вьюк, видно в недальнюю дорогу, не тяготил мухортого заводного, а под седлом шел золотистый, весь в атласных переливах — слава взрастившего его оазиса и гордость всадника.

До ближайшего постоялого двора был день пути, а выехал всадник поздно. Поэтому, едва городские стены остались за спиной, пустил коней вскачь. И любой, глядевший вслед, не стал бы его укорять. Всякий знает, что хороший бахаресский конь может бежать день напролет без отдыха.

Всадник был молод, но осанка его была как у человека, высоко вознесенного Судьбой над прочими и привыкшего к этому с малых лет. И тяжелые серьги с изумрудами и рубинами, знак всадника из высокого рода, качаясь, вспыхивали под иссиня-черными кудрями. Под насупленными бровями, из густой тени ресниц глаза вспыхивали жаркими искрами. Он покусывал темные губы, видно, неоконченный спор не давал ему покоя, и самые веские доводы приходили на ум только сейчас, да было поздно.

Руки его праздно лежали на бедрах, едва придерживая богато украшенный повод. И весь он был как бы не здесь.

Никто не провожал его. Мелкие камешки брызгами летели из-под копыт его скакунов, пыль, успевшая улечься на опустевшей под вечер дороге, вихрилась, отмечая его путь. По левую руку к седлу была приторочена налучь, из которой горделиво выступал лук, изгиб его приводил в восторг знатоков; по правую — наполненный колчан и дорожная сума. В суме, обмотанная тонким войлоком, покачивалась длинношеяя дарна, лучше которой нет.

Так покинул свою столицу царь аттанский Эртхиа ан-Эртхабадр.

О доме

Молодому аттанскому царю (но не богу) приснился вещий сон.

Царь не знал, что сон — вещий, и не попытался удержать его в памяти, как бывает, если сон ускользает, а чувствуешь, что было в нем что-то важное, и по лоскутку собираешь в связный узор. Один лоскуток сна и остался Эртхиа: будто идет он под низким темным сводом, и по левую руку от него тень, а по правую — пламя. И удивился Эртхиа, проснувшись, тому, что во сне разговаривал с тенью и пламенем, как с любимыми друзьями, и тому, что не знал ни конца, ни цели пути, а торопился.

Непочтительная муха села царю на щеку, поползла к губам. Царь сморщил лицо, дунул вбок. Муха взлетела, пожужжала, села на прежнее место. Царь отмахнулся от нее, повернулся лицом в подушку и снова уснул.

Приснилась жена его любимая, богиня Ханнар, вся как наяву: брови насупленные, губы строгие, глаза рыжие яростные. Ни ласки, ни скромности женской — воительница.

— Ты во всем виноват, что на мне женился, а дитя мне дать не можешь. Себе жен человеческих завел, они рожают, одна вперед другой торопятся.

— Я разве знал? — оправдывался Эртхиа. — Ты одна и знала.

— А мне легче от того?

Что тут возразишь? А она не унимается. Да ведь у Эртхиа тоже в жилах не молоко. Хлопнул он дверью и уехал навсегда. Через пять лет возвращается: дворец пустой стоит, зверями дикими заселен.

Проснулся: та же муха или не та же, кто их разберет, между лопаток пробежала. Вытер Эртхиа холодный пот со лба, натянул покрывало по самые брови. Рядом Ханнар лежит, дышит ровно, золотая волосинка на губах взлетает. Эртхиа к ней придвинулся, сон рассказал. Всегда так надо делать: если плохой сон приснится, тут же и рассказать близкому человеку, и непременно до полудня. И не сбудется тогда. Ханнар глаза рыжие раскрыла, глянула по-человечески, с нежностью и тоской.

— Куда же ты уехал? Пять лет без тебя? А если бы я умерла?

Эртхиа ее голову себе на плечо, утешать, а она оттолкнула, с постели спрыгнула, руки на горло и, всхлипывая, прочь, только дверь стукнула. Эртхиа за ней — чуть с постели не упал. Это все тоже приснилось.

Тяжелой головой помотал Эртхиа по подушке. Покрывало сползло, солнце в самые глаза бьет.

Сон утек в едва ощутимый зазор между самим собой и радостным пробуждением того, кто молод, здоров и счастлив, кого труды и заботы наставшего дня окликают не тусклыми голосами неизбежной повинности, а звонким зовом, боевым кличем.

Жены не было рядом с царем, той, в чьих покоях он проснулся, Ханнар-богини не было на ложе рядом с супругом.

Эртхиа бодро поднялся и плеснул в лицо холодной ключевой водой из каменной чаши, вделанной в стену. С короткой курчавой бородки капли падали на грудь и живот, и Эртхиа подрагивал кожей, как поджарый конек.

Накинув халат, он босиком вышел на выложенную цветными плитами веранду, на ходу подпоясываясь и приглаживая черные, синевой отливающие кудри. Здесь, во внутренних помещениях дворца, он был волен ходить, как ему вздумается, не смущая умов подданных.

Веранду покрывала тень, только край вдоль спускавшихся во двор ступеней и сами ступени были залиты светом. Здесь нагревшиеся плиты слегка обжигали ступни, но Эртхиа это нравилось, и он нарочно подгадывал, чтобы поставить ногу между черных теней от колонн, поддерживавших галерею. Весь упругий, стремительный, в хлопающем по голым икрам халате, Эртхиа обошел двор по веранде и вышел в арку на противоположной стороне.

Там строили новую баню, большую, обширную, вместо маленькой временной, которая служила все то время, пока шла постройка дворца. Нижний пол был уже утрамбован, и на столбики, составленные из круглых кирпичей, укладывали широкие плиты, под которыми пойдет горячий воздух из топки. Эртхиа наблюдал за работой минуту-другую. Строили местные, аттанские мастера, но Эртхиа видел: работают споро и без суеты, и выйдет почти как дома, — и был доволен. И все же ему было мало смотреть со стороны. Надо было еще подойти поближе, потрогать руками плиты, которыми будет вымощен пол, гладки ли, рассмотреть изображения на стенах. Была б его воля… Но он одернул себя сердито, потому что если правитель вмешивается в мелочи, на которые и без него довольно мастеров, это один из признаков того, что к своему делу он не способен.

И, наставив себя таким образом, Эртхиа вернулся во внутренний двор. Двор был обширен, но узорная кладка замыкавших его стен, кружевная резьба перил и карнизов галереи, поддерживающих ее колонн, выложенные ковровым узором плитки вокруг бассейна придавали ему вид небольшого уютного покоя. Все было домашним, сокровенным. Даже деревья

и кустарники, посаженные в засыпанных плодородной землей нарочно оставленных промежутках между плитами, делили двор на укромные уголки, как ковровые завесы. Скрытые кустарником, умиротворенно журчали маленькие фонтаны.

Эртхиа обвел все счастливым взглядом, сел на горячую от солнца скамью у бассейна и сидел, улыбаясь.

Он всегда задерживался здесь, прежде чем отправиться в Дом Солнца.

Здесь было сердце его дома, то, что он более всего ценил из уделенных ему Судьбой сокровищ. Здесь сквозь благоухание цветов и дымок благовоний проступал запах молока и младенцев. Здесь слышны были голоса сыновей: Ханиса и Кунрайо, и Шаутары, которому позавчера пошел второй месяц.

Одна за другой выходили на галерею его женщины.

Старшая жена, Дар Ри Джанакияра из царского рода Хайра, медлительно облокотилась на перила, изогнув располневший стан. Нянька стояла позади нее, укачивая младшего царевича, — недолго же быть ему младшим.

Младшая, степнячка Рутэ, прислонилась спиной к колонне, подставив солнцу тугой, крепкий, как созревающий плод, живот.

Не было только Ханнар.

Эртхиа улыбнулся женам, распахнул руки.

Рутэ, придерживая обеими руками живот, осторожно спустилась во двор, села по левую руку.

— Верно, у тебя там двое, — улыбнулся ей Эртхиа, положив ладонь на плодоносное чрево. Две, стало быть, колыбели надо готовить.

— Все, что ты мне дал, я верну, ничего не утаю, себе не оставлю, — усмехнулась довольная степнячка.

Подошла Джанакияра, нянька неотступно следовала за нею. Эртхиа перехватил ревнивый взгляд старшей жены, взял маленького Шаутару из нянькиных рук, прижался лицом к тонкой рубашечке. Одного только сына успела принести мужу благородная Джанакияра. Обидно старшей царице, что младшая носит уже второго. Ну да это дело поправимое. Подрастет Шаутара — снова его мать откроет для царя дверь в свою опочивальню.

— Не сердись, старшая сестрица, — поклонилась ей Рутэ. — Я вперед тебя не бегу. У меня нашему господину дочка.

— Вот хорошо, — согласился Эртхиа. — Вот и старшая царевна!

Неслышная, появилась Ханнар. Присела на краешек бассейна, опустила белые пальцы в воду. От маленьких волн побежали дрожащие блики по ее лицу, нахмуренному, отстраненному.

Эртхиа поймал ее руку в воде и тихонько сжал холодные пальцы. Ханнар высвободила руку, не поднимая на него глаз. Эртхиа перехватил ее за запястье.

— Пойдем.

— Так и будет всегда.

Ханнар хмурилась, накручивала на пальцы рыжие кудри.

— Так и будет. Всегда. Они будут рожать тебе детей. А я — что? За что?

— Не плачь.

Ханнар вздернула подбородок.

— Я не плачу. Никогда. Ты это знаешь.

— Ты этим гордишься. А я — плакал не раз. Разве сила — в сухих глазах и твердом сердце?

— И не в слезах.

— Нет.

— А в чем?

— Не знаю. Сила — просто сила. Она сама в себе.

— А в тебе есть?

— Ханнар!

— Ты, сильный, ты, царь! Можешь ты сделать что-нибудь, чтобы я родила тебе детей?

— Ханнар, ты знала раньше всех нас, что так будет. Ты моя жена, и я все сделаю для твоего благополучия. Но ты говоришь о невозможном.

— Я знала, — согласилась Ханнар. — Все. Кроме того, что люблю тебя. Кроме того, что захочу родить ребенка хайарду. Что теперь ты называешь невозможным? Сделай что-нибудь. Я стояла сегодня перед Солнцем. Я просила об одном. Но Солнце не ответило мне. Оно никогда не отвечает. Почему, Эртхиа?

— Я не знаю, любимая.

Эртхиа обнял ее, жалея, но она не приняла жалости, вырвалась.

— Потому что я люблю человека, и мысли, и желания мои — человеческие, и мне нет дела до Солнца. И Солнцу — до меня. А Ханис презирает меня за то, что я заставила его сделать, и за то, что я напоминаю о его вине. И выходит, что у меня нет никого, ни защиты, ни помощи. Только ты. И как ты теперь — мое Солнце, я прошу тебя: сделай что-нибудь. Сделай невозможное.

Эртхиа молчал, глядя в пол. Он не был богом и не умел разговаривать с солнцем. Он знал только Судьбу, а какие с Судьбой разговоры? Вот не родятся дети у богинь от человеческих мужчин и у человеческих женщин — от богов. И вся им судьба.

Ханнар посмотрела на него пристально. Ей казалось таким легким прочесть его мысли.

— Судьба?

Эртхиа развел руками.

— Знать не знаю! — крикнула Ханнар. — Никакой Судьбы знать не знаю! Сделай что-нибудь, если ты мужчина. Разве ты не делал невозможного?

— Ханнар, Ханнар, успокойся. У Судьбы не просят, не требуют, она дает или не дает, но только сама. Что там у нее задумано — не знаю, только ей дела нет до наших чувств. Надо принимать ее дары и довольствоваться тем, что есть. Больше не выпросишь.

— Мне и Ханису-маленькому так сказать, когда он вырастет? Или ты сам ему скажешь — ведь он тебя зовет отцом. Когда он придет к тебе просить позволения жениться, что ты ему скажешь?

— Ханнар! — возмутился Эртхиа. — В чем я-то виноват?

— Во всем! — вскрикнула она, и если в глазах ее слез не было, то голос ее был солон. — Если бы ты не придумал на мне жениться и не отдал бы за Ханиса свою сестру…

А не поэтому был во всем виноват перед ней Эртхиа. Потому что был ее всем, и все было от него и из-за него. Но сказать такое человеку богиня не могла, а уж Ханнар и подавно — не могла даже додумать свою мысль по-настоящему до конца. И Эртхиа, хмурясь, подбирал слова для оправдания, недовольный, чувствуя, что, и в правду, во всем и всегда перед Ханнар будет виноват только он. Настоящей причины и он не знал.

— Что я придумал? Судьба моя такая — увидеть тебя и любить, — тут Эртхиа проглотил проклятия, — любить тебя, ненаглядную, на горе себе. И тебе. И Ханису, и маленькому Ханису, и Атхафанаме… А только никто тебя не заставлял за меня идти. Мы сами это все устроили так, как оно есть. И не все ли равно теперь, кто что знал, кто чего не знал. Вот оно так есть. Надо нам жить и постараться быть счастливыми.

— Хорошо говорить! Полный дом детей тебе нарожают, одна вперед другой стараются. А я — что? А моему сыну кто невестой станет? Пойду к Ханису. Пойду. Надо мне дочь родить.

— Думать не смей! — закричал Эртхиа, схватив ее за руки.

— Пусти, больно! Не смей кричать на меня!

— Да как ты можешь? Чем шутишь? Я ведь вас обоих убью. Тогда не убил — теперь убью. Слышишь? Не смей говорить, не смей думать! А Ханису я скажу…

— Что твоя жена собирается к нему в опочивальню? Скажи-и-и…

Эртхиа отошел от нее подальше, на другой конец комнаты. Чтобы не ударить.

Ханнар перекинула косы за спину, оправила платье. Оглядела белые пятна на запястьях, уверилась, что синяки будут. Одернула

рукава.

— Что ты можешь сделать? И как запретишь? Если сам не можешь дать мне ребенка?

Эртхиа повернулся и молча вышел. Ему пора было в Дом Солнца.

О сестре

Он не хотел идти через внутренний двор, где наверняка еще сидели жены, обсуждая свое самочувствие и радостные надежды, похваляясь недомоганиями и опасениями. Едва не крадучись, он обогнул двор по веранде, проклиная все на свете, а более всего — женщин, из-за которых мужчина и повелитель в собственном доме хуже вора, с утра крадется в обход. Но было невмоготу улыбаться им, а обругать — не за что. Справедливость же мнил Эртхиа отличительной чертой и достоинством сильного.

В собственных покоях не нашел он успокоения: раб поклонившись доложил, что прибыла царственная супруга бога Ханиса, сестра государя Эртхиа, почтенная Атхафанама. И хочет видеть брата.

Эртхиа взвыл сквозь зубы и повелел:

— Одеваться!

Пока ему расчесывали и умащивали благовониями волосы и бороду, пока надевали и стягивали многослойным поясом штаны, да наверх рубашку, да поверх рубашки кафтан, а потом еще пояс — любимый царем широкий пояс лучника, усаженный железными бляхами, да натягивали сапоги, да покрывали голову расшитым платком, даобвивали поверх этого другим, скрученным в жгут и перевитым золотыми шнурами и жемчужным низаньем, да прихватывали рукава браслетами над локтями и на запястьях, да укладывали оплечье и золотой нагрудник, да подавали кинжал, который он заткнул за пояс, и меч в ножнах, которые он пристегнул к поясу… нет, не успокоилась душа, не отошла от обиды.

Для нее, для нее одной оставил родной Хайр и пошел против отца, для нее же делил кров и пищу с немытыми кочевниками-пастухами, водил их по степи, сбивал в войско… Все тут вспомнил Эртхиа, чего и знать не хотел. Ведь в ту самую ночь, когда натравила на него бывшего раба, Аэши-побратима, друга дорогого, и он по рукоять всадил нож, насмерть… Ведь в ту самую ночь понесла своего ублюдка от родного брата, от другого побратима Эртхиа.

Ох…

Эртхиа только вздрагивал от клокочущего внутри. Пелена застилала глаза, вокруг головы тонко, тягуче звенело.

— Где царица Атхафанама? — спросил он. Никто из видевших его сейчас не мог видеть, как он похож на своего отца.

Ему указали дорогу и проводили в сад.

Атхафанама сидела у фонтана, там же, где — и часа не

прошло, — Эртхиа здоровался с женами. И тремя дорогами сразу побежали мысли Эртхиа, когда он увидел сестру.

Во-первых, была она с его старшей женой Джанакиярой — одно лицо, одна стать. Ведь Джанакияра им приходилась родственницей и по отцу, и по матери. Только раньше Атхафанама, вдосталь накочевавшаяся по степи, была смуглее, стройнее, вольнее в движениях и речах. А теперь казалась почерневшей и иссохшей, и Эртхиа, никогда особенно не заботившийся о сестре (самовольно ведь пошла за Ханиса, без спросу и благословения!), испугался, как он раньше не замечал, что какая-то злая хворь изводит сестру. Ведь одни они были здесь родные друг другу, и вместе пережили бегство из Хайра и войну в степи. Джанакияра — не то. Общность судьбы сильнее общности крови и ложа.

Во-вторых, сидел на руках у Атхафанамы маленький Ханис, а тетка, глядя жалобно ему в макушку, гладила воспламененные солнцем рыжие кудри, такие же, как у ее мужа. Сама-то она не могла ему родить. И Эртхиа, еще корчась внутри от старой, старой обиды, понял, какая мука источила сестру. Но, нахмурясь, одернул ее:

— Избалуешь мне мальчишку!

Атхафанама вздрогнула, сорвала руки с головы Ханиса, смяла пальцы, виновато улыбнулась брату.

— Он еще маленький, не избалую.

Эртхиа нахмурил брови, повел взглядом по сторонам, откашлялся строго. Тут же с галереи сбежали няньки, подхватили рыжего Ханиса с теткиных колен. Увидев Эртхиа, Ханис потянулся к нему руками, растянул улыбку: крупные белые зубы еще не все выросли у него и такой забавной была его улыбка, точь-в-точь как у Кунрайо, что мысли Эртхиа, побежавшие по третьей дороге, наконец добежали, и он прикусил губу, и прокусил, спасаясь от стыда. Это Ханис-то маленький — ублюдок? Да я горло любому… Эртхиа протянул руку. Ханиса поднесли к нему. Трепанув его по волосам, подняв и подбросив, но так и не заставив себя посмотреть малышу в глаза, Эртхиа ничего лучше не нашел, как отправить его к Рутэ. Матери все равно сейчас не до него. Посмотрел, как няньки пробежали в арку, за которой стояла нарядная юрта. Рутэ не станет жаловаться. Много детей — счастье в доме. Даже Джанакияра, устав от воплей своего царевича, частенько отправляла его к степнячке в гости.

Эртхиа вздохнул.

— Что ты такая, сестра? — обернулся к Атхафанаме.

Атхафанама и глаз не подняла.

— Разве сам не знаешь, брат?

Сговорились они, что ли?

— Знаю. Иди к Ханнар, плачь вместе с ней. Но ты ведь ей завидуешь.

Атхафанама покачала головой.

— Чему завидовать? Разве он ей ребенок? Он ей — выполненный долг, и победа, и стыд, и вина, и долг невыполненный, потому что…

— Замолчи, прошу, я знаю, только не говори этого еще и ты, сестра, не говори, мне что — убить ее? За что? По своим законам она во всем права, только эти законы не по людям кроены, вот мы с тобой и пропали, сестра.

Атхафанама согласно выслушала всю его скороговорку. Он посмотрел на нее внимательно, удивился:

— Почему я с тобой раньше не говорил?

— В голову не приходило.

— Да.

Он взял ее за руку, повел по саду, все не решаясь начать. Непривычно как-то было о самом трудном говорить с женщиной. Вдруг вспомнил, что безнадежно опаздывает в Дом Солнца. Но ведь и Ханиса сейчас видеть — поперек души.

Атхафанама заговорила так внезапно и так страстно, что он вздрогнул.

— Ты был в Долине. Эртхиа, ты побывал в Долине, с тобой произошло чудо. Не может ли быть так, что ты заразился чудесным? Что рука милостивой Судьбы оставила след на твоем плече? Не может ли это передаваться через тебя тем, кто с тобой рядом, кто дорог тебе? Эртхиа?!

Эртхиа помотал опущенной головой.

— К чему об этом говорить? Нет, сестра, чудесного во мне нет ничего. Если бы было… Разве мы так встретили бы сегодняшний день?

Он помолчал, гладя ее руку.

— Пора мне.

— Сделай что-нибудь! — Атхафанама повалилась к его ногам, обхватила колени.

Эртхиа рассердился, схватил, потащил ее вверх.

— Что ты, женщина! Так просят только мужа. И… он у тебя бог. Может быть, он может что-то сделать для тебя?

Атхафанама, шатаясь, отошла от него, захлебываясь рыданиями.

— Да почему ты просишь меня? — возмутился Эртхиа. — Я — просто человек, как и ты. А Ханис…

— Не может он ничего сделать. Не может. Я и говорить с ним

об этом не смею. Знаешь ли, почему он так мало участвует в делах правления и почему проводит все время в библиотеке? Да он ее еще в детстве всю наизусть выучил. Но он ищет… Искал. А вчера он пришел весь черный и не разговаривал со мной. Но я-то его понимаю, о, как я понимаю все, чего он мне не говорит!

— Он что-то нашел? — нахмурился Эртхиа.

— Нашел. И это — не то, на что он надеялся.

— Так мне надо спешить, — встрепенулся Эртхиа. — Сегодня — Великий Совет, а Ханис там один.

— Если кто-то и может сделать невозможное, это только ты.

Эртхиа кивнул, повернулся и бегом бросился к парадному крыльцу. Недалеко пробежав, замер как вкопанный.

— Почему это я?

— А кто же? — Атхафанама вытирала лицо рукавом. — Ты всегда делал то, что невозможно.

Эртхиа открыл было рот, чтобы возразить. Но вспомнил, что торопится, упрекнул себя за долгий и, кажется, бессмысленный разговор с женщиной, не велел себе тратить время зря — и пустился бежать.

О брате

Ханис ждал его не в зале Совета, а в затемненном маленьком покое в глубине дворца, куда и проводили Эртхиа.

На торопливое приветствие он ответил рассеянным взглядом, махнул рукой.

— Не отменил же ты Совет из-за моего опоздания? — испугался Эртхиа.

Ханис покачал головой.

— Не из-за тебя, нет. Новые новости. Невозможно собирать Совет сейчас, пока удо не помирятся с купцами.

— Что еще случилось?

— Удо перекрыли караванные пути.

Эртхиа придвинул поближе к Ханису кресло, уселся удобно, расправил полы кафтана на коленях.

— Действительно, новые. В чем дело?

— Проходивший через земли Черных Лисиц караван увез девушку-степнячку. Из хорошего рода. Троюродная, что ли, племянница Урмджина.

— Аэши? — Эртхиа не мог отделаться от привычки звать вождя Девяти племен прежним именем. — И что он — решил меня отрезать от родного Хайра? А девушка? Ее украли?

— К ней сватались, и не раз. Родители не соглашались. Ну и…

— Кто сватался? Купец?

— Сын купеческий.

— И что Аэши? Сам ведь увозом женился.

— Сейчас не война. Главное слово за женщинами. А они против.

Эртхиа оттопырил губы. Да с чужими обычаями не поспоришь.

— Чей сын? — уточнил он для порядка.

— Атакира Элесчи. Первый купец в Аттане — и такой скандал! Сыну он, конечно, объяснит, что к чему. Да поздно.

— А вернуть девушку?

— Уже спрашивали. Не примут. Сама, говорят, сбежала, родителей ослушалась.

— Ах вот оно что… А то другие спросившись бегали! Ну так выкуп за невесту, да и дело с концом! Что, у Элесчи денег и товара не най…

— Не берут.

Минуты три Эртхиа говорил безостановочно, на одном дыхании, но ничто из предложенного им не годилось, чтобы

помирить кочевников с купцами.

— … и купцов тех и кочевников!

— Знаешь, что теперь говорят в Аттане? — осведомился Ханис, когда соправитель выдохся.

Эртхиа помотал головой, не выказывая, впрочем, особого желания узнать.

Ханис счел необходимым все же просветить его.

— Пусти, говорят, кочевника в степь. А потом поди выгони…

— Но Ханис же! Ведь у нас не было выбора! То есть, у вас — это вообще не я придумал. Теперь понятно, почему твой отец не согласился взять в союзники удо. Но ведь надо теперь договориться…

— Надо. Я думаю, ты сам поедешь? Элесчи уже пытался уладить дело переговорами и подарками.

— А что? — обрадовался Эртхиа. — Вдвоем с Аэши мы этих старух еще как уломаем. И мне бы… проветриться не мешало. А послушай! Если предложить им взамен их невесты — другую, из хорошего рода, из купеческого сословия? Может быть, возьмут?

— Возьмут. Может быть. Я думал об этом. Надо только уговорить Элесчи.

— Почему Элесчи?

— А кому это дело расхлебывать? Или ты думаешь, каждый купец в Аттане мечтает отдать свою дочь за пастуха?

Эртхиа покачал головой, повздыхал.

— Ладно. Я сам и с Элесчи переговорю. Только без огласки. Дело такое… семейное. Не стоит его во дворец вызывать.

— Да почему же? — возмутился было Ханис. Но Эртхиа замахал руками.

— Сейчас и пойду, только переоденусь. А ты вели-ка мне в дорогу коней собрать и весь припас. И дарну, дарну не забудь, пошли за ней в мой дом. Под хорошую песню у кочевников сердца размягчаются.

Ханис рассмеялся.

— Ты помни-то, что главное слово за женщинами. Не о походах-битвах пой, о любви.

Но Эртхиа все равно видел темное под глазами побратима, и впалые щеки, и покрытые белесой пленкой губы.

— Ты не болен?

Ханис замер.

— Ты разве забыл? Мы, боги, никогда не болеем.

От его голоса Эртхиа стало нехорошо. Он встал, подошел к побратиму.

— Тебе этого жаль, Ханис?

— Вот именно! Именно! О, как я хотел бы заболеть. Любой

болезнью, пусть даже такой, что в считанные часы свела бы меня в могилу. Тогда я… Знаешь, причина одна — тому, что мы не болеем, и тому, что человеческие женщины не родят от нас детей.

— Как это?

— Ты не поймешь. Мы не здешние. Мы… сделаны из другой глины. И эту глину не смешать с вашей, понимаешь?

— Ну, допустим. Подожди, это то, что ты нашел в библиотеке?

— Атхафанама?

Эртхиа нетерпеливо кивнул.

— И в этом, похоже, вся наша божественность, — вздохнул Ханис. — То, что смертельно для вас, дает нам силы. Помнишь болезнь твоего отца? Хорошо еще, мы дышим одним воздухом.

— Так другого не бывает?

— Бывает.

— Где?

— Где-то там, — Ханис поднял глаза к потолку. — Никакие мы не боги. Мы нездешние люди, вот и все.

Он посмотрел на Эртхиа, ласково улыбнулся.

— Иди. Я распоряжусь, чтобы тебе собрали в дорогу все необходимое. Подарки, само собой. Ты как бы едешь просто в гости к другу, но ты все же царь, да? Когда ты вернешься, я расскажу тебе все подробно, покажу карты… других мест. Но это нам не поможет. Послушай, я пока ничего не скажу Ханнар. Ей тяжело будет узнать, что…

— … что она не богиня! — в сердцах воскликнул Эртхиа. — Прости. Да, не говори ей ничего. И, знаешь, она все равно не поверит. Так что не стоит и тревожить ее понапрасну.

Об Атакире и Атарике

Переполох в доме Атакира Элесчи был краток и бесшумен. Узнав в незваном госте царя, купец пал на колени, и все домочадцы следом.

— Гони отсюда лишних, — распорядился Эртхиа, и добавил, увидав, что Элесчи делает знаки управителю дома: — Не до угощений теперь. Угостил уже нас твой сын… Вот он пусть и останется.

Юноша, с виду — ровесник Эртхиа, вернулся от двери. Эртхиа полюбовался на его упрямые брови, надвинутые низко над опущенными глазами.

— Ты Атарик?

Он кивнул, не решаясь говорить без позволения отца.

— Что ж он у тебя единственный? — удивился Эртхиа. Аттанцы женились один раз, но держали помногу наложниц, и сыновья от наложниц считались вполне сыновьями.

Атакир виновато пожал плечами.

— Это уж у кого сколько получится, государь. Я старался. Только он и остался из всех. Да еще дочь.

— Вот-вот, — насупился Эртхиа, усаживаясь в подставленное купцом кресло. — Ты готов отдать ее как возмещение за обиду, нанесенную твоим сыном?

Купец помрачнел.

— Прикажешь — куда мы денемся?

— Прикажу? А не прикажу — что делать будешь? Как помирить Аттан со степью? Почему не спустил шкуру со своего молодого дурака?

— Уже…

Эртхиа ахнул про себя, глянул на купеческого сына. Тот еще ниже опустил голову, но плечи держал твердо.

— И много ты этим делу помог? — смутился Эртхиа. И снова обернулся к юноше.

— Что это тебе в голову взбрело, с отцом не посоветовавшись?

— Советовался… — с досадой ответил за сына отец.

Эртхиа отмахнулся от него.

— Ты сам отвечай, — велел молодому.

— Я советовался, — признался виновник, покосившись на отца. — Он сказал: отступись.

— Еще не хватало! Или мне не на ком было женить единственного сына? К таким людям сватов заслал, такую невесту высватал — все насмарку, — ворчал купец в бороду.

— Погоди, купец, — осадил его царь. — Дай виноватого расспросить. Скажи, сам ты ведь не увез бы девушку? Кто тебе помогал?

Атарик насупился, глянул исподлобья.

— Ишь ты! — рассмеялся царь. — Клянусь своим счастьем, я его не выдам. Назови.

— Джуши, — неохотно вымолвил Атарик.

— Это который же Джуши? — привстал царь, не обращая внимания на задохнувшегося от негодования купца. — Это покойного Джуэра-вождя сын, племянник вождя Урмджина? Он?

Атарик кивнул.

— А с чего это он тебе помогать вздумал в таком деле?

— Побратимы мы.

Купец снова завел бранную речь, из которой Эртхиа узнал, что Элесчи сам же и брал сына в стойбище удо сразу после мира с Хайром, когда надо было заново поднимать торговлю, и ездил тогда старший Элесчи по стойбищам и кочевьям, менял медную посуду, масло и вино, просо и пшеницу, и ткани на войлоки, баранов, бараньи шкуры и шерсть, мех степных лис и волков. И узнавал у кочевников, какие узоры им приятны на рукоятях мечей и ножнах, колчанах и налучах, каковы должны быть золотые и серебряные бляшки для украшения одежды, обуви и конской сбруи, какого цвета везти стеклянные бусины, из каких самоцветов — каменные, как перекручивать гривны, каких везти подвесок к височным кольцам… Собирал заказы и вез в город, мастерам, а после скупал их товар и вез в степь, сам и со всеми своими доверенными слугами и приказчиками. Жил сам как кочевник. Тогда-то и сдружились Джуши и Атарик, обменялись поясами. А теперь такое разорение учинили всему делу Элесчи-старшего.

Эртхиа похлопал ладонями по подлокотникам. Вот как оно выходило: молодому Атарику не мог не сочувствовать Эртхиа, сам женившийся без позволения отца, по любви. К тому же по названным братьям приходились купеческий сын и царь аттанский друг другу вроде как роднёй. Но женитьба Атарика грозила разрушить то, что Эртхиа заботливо возводил: царство, в котором мирно уживаются пастухи-кочевники и оседлые земледельцы, горожане, торговцы и мастера. И все бы просто: выкупить невесту сестрой, как и сам Эртхиа когда-то сделал. Но старший Элесчи, хоть и согласится, понимая необходимость, — купец! — но доволен не будет. А — первый купец, одна из опор всего царства. И вообще не хотелось Эртхиа думать о таком исходе…

— Подарки предлагал? — резко обернулся он к Элесчи.

— Предлагал, — сокрушенно вздохнул купец. — Не берут.

— Мало предлагал! — отрезал Эртхиа.

Купец возмутился было, но Эртхиа хмуро кивнул, подтверждая справедливость своих слов.

— Не торгуйся. Сейчас сколько ни предложи — мало. Я сам еду теперь к Черным Лисицам. Много тебе чести, что сам царь за тебя послом послужит. Но речь идет о мире в Аттане и о торговых путях — на торговле Аттан стоит. А ты, пока я с удо договариваться буду, собери подарки такие, чтобы мне, царю, не стыдно было. Вдвое, втрое, вдесятеро против того, что заплатил бы за высватанную тобой невесту. А разоришься — твоя беда, не всего Аттана. Да ты и не разоришься…

Купец стал мрачнее прежнего.

— Или дочь отдавай, — равнодушно предложил Эртхиа и рывком поднялся из кресла. Не успел он сделать и трех шагов к двери, Элесчи забежал вперед, упал на колени.

— Соберу… сколько скажешь, соберу!

Эртхиа коротко кивнул. Обернулся на побледневшего Атарика.

— Видишь, что натворил? Запомни — ради отца твоего стараюсь. А что, Атакир, — обратился он уже к отцу, — если нам его пастушку продать за хорошую цену? Все меньше тебе платить придется…

Как полыхнул глазами купеческий сын! Эртхиа покачал головой.

— И стоило бы, да не стану. Собирайся, поедешь со мной. Выезжай срочно, жди меня на первом постоялом дворе по дороге на Хайр. А ты, Элесчи, вели все-таки своему управителю накрывать на стол. Да не торопи его — пусть у повара времени будет вдоволь. А я пока погуляю в саду. И не беспокоить меня!

О влюбленных

Заняв таким образом купца и его сына, Эртхиа прошествовал в сад. Там была беседка, к которой он хорошо знал дорогу, но с другой стороны — от высокой кованой ограды, от того места, где несколько штырей свободновынимались и так же вставлялись на место.

В большом доме всегда найдется пара глаз, которые углядят то, чего им и не положено. И отцова любимица, кудрявая Атарика-нана, конечно, видела, куда направился царственный гость. И поспешила следом.

Не упрекнула, но позволила налюбоваться надутыми губками, пока Эртхиа первый не заговорил:

— Да что ты, радость! Разве я позволил бы?

— Меня — за пастуха! — поддержала его Атарика.

Эртхиа обнял ее, поцеловал.

С того самого дня, когда Эртхиа вернулся в Аттан и впервые утолил жажду и голод на хлопотливом, крикливом, смешливом городском базаре, изо всех сил прячущем деловитость и хватку за прибаутками, нараспев выкликаемыми названиями редкостных товаров, звонкими переливами голосов проворных водоносов, Эртхиа влюбился в этот никогда не прекращающийся праздник. Дома у себя Эртхиа базара не посещал — негоже это царевичу, хайарды-всадники с пренебрежением относились к торговому люду. С тем большим пылом он отдался новой страсти: нет-нет да и улизнет из дворца, переодевшись по-здешнему в бархатную безрукавку поверх белой рубахи; а косы, которая отличала бы хайарда от подданных-аттанцев, Эртхиа давно не носил.

Да что толку!

Вскоре весь базар знал, кто этот невысокий, коренастый, в алой безрукавке, что подолгу сидит в харчевнях и, управившись с огромным блюдом щедро приправленного пряностями мяса, заказывает одну за другой медные чашечки с обжигающе-горьким мурра, платит, не скупясь, а после яростно торгуется в оружейных лавках, — опять же не от скупости, лишь обоюдного удовольствия ради, чтобы был у разгоряченного хозяина веский повод исполнить торжественную песнь о несравненных достоинствах приглянувшегося кинжала, меча с клинком в муаровых разводах, кривой степной сабли или могучего, гудящего в руке лука. Весь базар знал, но уж так полюбился молодой царь своим подданным, что никто ни словом, ни взглядом, ни неуместной почтительностью не нарушил игры. Уж так гордился торговый люд караванного Аттана, что полюбился царю-иноземцу их

базар…

И то: столетие за столетием правили Аттаном боги, те же чужеземцы, иной, не аттанской крови, не снисходившие до своих подданных, не покидавшие храма-дворца.

А новый владыка радостно любил свою столицу и ее предприимчивых, умелых, расчетливых, но в последний момент — удалых, и в неудаче — залихватски беспечных жителей.

И однажды, прогуливаясь по базару, щурясь от удовольствия, пожевывая длинный кривой кровавый стручок жгучего, дух занимающего перца, Эртхиа увидел Атарику Элесчи. Она шла в лавку своего отца, кто ее знает, по какому делу, или просто вышла из дома, чтобы порадовать людей свежей, полнокровной красотой, любовно взлелеянной в роскоши и довольстве купеческого дома. На то и красота, чтобы людей радовать.

Эртхиа увидел: плывет сквозь толпу девушка, вроде бы и не особенно расступаются перед ней, не слишком заглядываются и оборачиваются вслед — не то чтобы так, но там, где она проходит, меняются лица, весело разгораются глаза, мужчины подбочениваются и улыбаются важно, приглушая голоса до самых мужских, бархатистых нот.

А она идет, горделиво покачивая крутыми бедрами, и грудь ее над гибкой талией — как тяжелые плоды на тонкой ветке. И фата на лице прозрачная, сквозь нее алеют улыбчивые губы, а глаза над узорчатой каймой лучатся радостью, оттого, видно, что она есть — вот такая девушка, и бровь изогнута горделиво, и прядь, тяжелым завитком упавшая на плечо, не нарочно ли выбилась из-под головной повязки, скрученной из желтых и бирюзовых жгутов айзанского шелка.

Так и шел за ней Эртхиа до самой лавки почтенного купца Атакира Элесчи, а потом обратно, до синего дома с малиновой плоской крышей, едва проглядывавшей сквозь густые кроны тутовника.

Базар заметил — и одобрил. Не такого ли жениха была достойна первая красавица Аттана, дочьпервейшего из купцов?

Но с женитьбой Эртхиа не спешил. Не то чтобы он боялся Ханнар — боялся ее огорчить. О других женах он не беспокоился — только рады были бы новой подруге, зная, что их Эртхиа на всех хватит. Но Ханнар… Сам не мог себе Эртхиа объяснить, почему во всем уступал ей, даже зная, что для женщины это вредно, и с трудом смиряя уязвленную гордость мужа, царя, удачливого полководца, а вот…

Но любви прекословить не умел. И сначала проводил ночи у Атарикиной ограды, пока, вспугнутый ночным сторожем, однажды не перелетел через кованые прутья (не позорить же

девушку!) и не был привечен — сначала робко, вздохами и пугливыми взглядами, а уж потом и поцелуями, и жаркими объятиями — в маленькой, увитой зеленью беседке, украшении купеческого сада.

Обещал себе, что, пока не решится ввести новую жену в дом, пока не переговорит с купцом, и думать не будет о большем… И сам верил своим обещаниям. Но темны ночи в Аттане, а зимы холодны. И когда оказался в покоях Атарики, сделал то, чего не сделать не мог, он, Эртхиа. Если б она воспротивилась, ну хоть словечком, а он ведь подумал: от отца отказа не будет, успею с этим!

Но до сих пор не решился. И Атарика, умница, не торопила его: царя не торопят. Только вздыхала: а вдруг отец надумает отдать за другого? Эртхиа успокаивал: не бойся ничего. И не боялась.

— Что ты, радость! Никому не отдам, подожди немного еще. Вернусь из степи — пошлю сватов к твоему отцу. То-то ему радости будет. Она красивая хоть, жена твоего брата?

— Красивая, — ревниво прищурилась Атарика. Эртхиа засмеялся.

— У меня уже есть одна степнячка. И хватит.

Крепче обнял Атарику.

— Я ненадолго уезжаю. Вернусь — и сразу… Слышишь? Уже ничего не бойся. Не бойся ничего. Я знаю, ты боялась. Теперь все. И все будет хорошо.

Атарика пытливо посмотрела ему в глаза.

— А богиня не будет против?

Эртхиа отвел было взгляд, но приструнил себя.

— И ее не бойся. Ничего тебе не сделает. А другие примут как сестру. Радость, царица моя, каких сыновей ты мне родишь!

Атарика потянулась губами к его уху, будто хотела шепнуть, но заробела, поцеловала только.

— Скоро ты вернешься?

— Вот новая луна народится, а я уже здесь буду!

В кустах зашелестело, поспешные шаги приблизились к беседке. Атарика вздрогнула, прижалась к Эртхиа, но он отстранил ее, положил руку на меч.

— Атарика, доченька, — послышался тревожный голос, — госпожа, уходи скорей, сам хозяин сюда идет, звать государя обедать.

— Иду, няня!

Атарика прижалась щекой к щеке Эртхиа.

— Возвращайся скорее! — и порхнула из беседки, только кусты, прошелестев, сомкнулись за ней. О беде

Столб дыма на горизонте они увидели на пятый день пути, на закате. Дым был большой и стоял ровно посередине оснеженной каймы Хайрских гор. Как знал Эртхиа, именно в той стороне должно было располагаться нынешнее стойбище Черных Лисиц. На следующий день к обеду Эртхиа полагал быть уже там.

Он гневно обернулся к Атарику Элесчи.

— Видишь?! Если это из-за тебя, всей твоей крови не хватит залить огонь!

И ожег коня плетью. Обиженный Руш прянул, храпя и скаля зубы, Веселый рванулся за ним. Элесчи погнал своих коней следом. Через час или около того Эртхиа придержал коня. Нагнав его, Элесчи осмелился спорить:

— Государь, купцы на такое не пойдут!

— Отдышись, — остановил его Эртхиа. — Что это там такое?

— Там? — Элесчи пригляделся.

По дороге навстречу им мчался всадник. Когда он оказался ближе, Эртхиа разглядел на нем особую шапку и ярко-красную безрукавку, развевающуюся поверх кафтана.

— Гонец, — определил и Атарик.

— Подождем.

Останови попробуй гонца царской почты!

Загородили конями дорогу. Не сбавляя хода, гонец раскрутил над головой тяжелый бич. Гудел свинец в оконечнике, вспарывая воздух. Руш унес из-под удара, грудью в грудь ударил гонцова скакуна. Эртхиа подлым приемом, вздернув стремя, выкинул всадника из седла, как его самого когда-то спешил Дэнеш. Гонец прокатился по дороге, гася удар, вскочил на ноги, рванул меч из ножен.

— Царь, царь! — закричал Атарик, указывая на Эртхиа, сберегая гонца от смертной казни, неминуемой для всякого, обнажившего сталь против государя. Так ему и поверили! Тогда, по наитию, Атарик выпрыгнул из седла, бросился на колени под копыта Руша, пал лицом в утрамбованную караванами сухую землю.

— Спокойно, Гаменди, — узнав гонца, позвал его по имени Эртхиа. — Спрячь свой меч, пока я его не видел, — добавил он, поднимая глаза к небу.

Гаменди облизнул сухие губы, вдвинул меч, сглотнул — и опустился на колени.

— Государь…

— Все в порядке, ты выполнял свой долг и заслуживаешь награды, а не наказания. Раз уж я здесь, поведай мне скорее, с какой вестью ты торопился к подножию трона. Не касается ли она вот того? — Эртхиа махнул рукой в сторону дымного горизонта.

Элесчи приподнял голову, ловя каждое слово гонца, не веря, но готовясь к худшему.

— Повелитель, там… там уже ничего нет. И никого. Там смерть. Зараза. Все умерли. Последний поджег стойбище и добрался до постоялого двора в Ороте. Он тоже умер сегодня утром.

— В Ороте мы собирались ночевать… — Эртхиа оглянулся на Атарика. Тот изменился в лице. Гонец замотал головой:

— Там нельзя, государь. Там трое больны.

— Как ты там оказался?

— Я еду из Аз-Захры с письмами от государя Акамие.

— Срочность?

— Чрезвычайная.

— Ты останавливался в Ороте?

— Даже с коня не сходил!

— Письма! — потребовал Эртхиа. Сломал печати, пробежал глазами. — Оно и есть. Ашананшеди предупреждают, что будет мор в степи, принять меры… Что тут сделаешь? Так… эт-то еще что такое? — Эртхиа несколько раз про себя перечел загадочные слова.

«Она прошла мимо и не подала мне знака». И подпись: Акамие, царь Хайра и прочая. И печать.

— Ты коня води, — велел Эртхиа гонцу. А сам задумался.

Повернувшись к Атарику, махнул ему рукой, чтобы поднимался с колен.

— Спас ты свою пастушку… У смерти украл. И все само собой теперь решилось. Домой скачи. Сколько вам теперь отпущено — кто знает? Так… Первым делом во дворец, вот мой перстень — с ним тебя пропустят к государю Ханису. Отдашь письма, расскажешь, что видел и узнал. Обо мне скажи, что я вернусь скоро.

— Куда ты, государь, один…

— Не спорить! — отрезал Эртхиа. — Гаменди, ты возвращаешься в Хайр.

Выбрал одно из писем, достал из-за отворота рукава заточенный обломок черного камня, ниже, под странными словами, приписал пару фраз.

— Отвезешь это царю Акамие, на словах передашь благодарность. Караваны сюда не пропускать, отсюда не выпускать, ну да он сам знает, и лазутчики ему вперед твоего донесут… Но ты передай благодарность. И — если! — по дороге почувствуешь себя плохо, сверх обычной усталости, не смей продолжать путь. Умирай в степи, один.

— Знаю, повелитель, — выдохнул гонец.

Эртхиа кивнул одобрительно.

— Так что не спеши. Срочного в моем письме ничего нет. Поезжай в объезд, длинной дорогой. Вот и тебе перстень — за службу. И, если что, прощай.

Гаменди ждал только знака — Эртхиа кивнул ему, и гонец умчался. Эртхиа посмотрел ему вслед, вздохнул.

— И ты тоже, Элесчи. Отцу передай, пусть… — Эртхиа прикусил губу. — За ним долг, так пусть бережет дочь, пусть и не думает ее замуж отдавать до моего возвращения. А еще лучше — скажи государю Ханису, пусть заплатит твоему отцу цену невесты. Понял? — он подмигнул оторопевшему Атарику, с трудом осознававшему, что становится и царским сватом, и родичем царя. Его сестра будет взята во дворец — первая из аттанок за многие сотни лет!

И пока он и так и сяк вертел эту мысль, на время заслонившую даже грозные новости этого вечера, Эртхиа развернул коня в сторону Хайрских гор.

Знал он одно место, куда ему путь заказан, но где, он надеялся, обитают ответы на все вопросы. Судьбу не умолишь, не выпросишь ни крохи сверх отпущенного, не встанешь с ней лицом к лицу, не посмотришь в глаза. Но есть Сирин, кем бы он ни был, с виду — человек. Может быть, и по сердцу — человек? И даже если просьбы твои не будут услышаны, кто запретит просить? И даже если тебе не ответят на вопросы, кто запретит задать их?

А если все это не по душе Судьбе и покарает она страшной карой — чего бояться Эртхиа, что терять? Когда страшный степной мор врывается в города, кто спасется? И не остановить его теперь.

Эртхиа гнал и гнал коня, прямо на столб дыма, уже растворявшийся в темнеющем небе, и закат из-за его спины длинной тенью указывал им самим избранный путь. Там, впереди, лежало пепелище, все, что осталось от стойбища Черных Лисиц, племени, в котором он был приемным сыном и военным вождем, в котором знал в лицо и по имени всех, всех — даже детей старше пяти лет, кроме народившихся после его воцарения в Аттане. Там, впереди, сухой степной ветер развеивал их пепел, и пепел Аэши, побратима-анды, связанного с Эртхиа и жизнью, и смертью.

Он гнал коней день и ночь, на ходу пересаживаясь с Веселого на Руша, все надеясь, что степной ветер осушит, сотрет с лица неостановимые слезы.

О шагате ашананшеди

По щиколотку в густой абрикосовой мякоти пританцовывал шагата ашананшеди, изредка взмахивая руками, отгоняя ос от лица. И не надеялся отогнать, но… щекотно. Вытянув кверху нижнюю губу, он дул на нос, моргал ресницами, встряхивал головой, и выбившиеся из-под платка прямые пряди мотались перед лицом.

Он мог бы и не обращать на ос внимания, но в детстве он всегда отгонял их, когда не видел дед. В детстве он боялся ос. Правда, деда боялся больше.

А давить абрикосы в чане всегда было его делом. Дед брал его под мышки и ставил в чан, куда одну за другой вываливал полные корзины. Шагата (он не был тогда шагатой) брал один-другой абрикос, вдыхал аромат, целовал бархатистые щечки, прежде чем заплясать, завозиться босыми пятками, поцокивая языком, когда острая косточка царапала нежную кожу под сводом стопы. Дед хмурился и недовольно качал головой.

Бабушка ковшом вычерпывала давленую массу, выбирала косточки из нее и выливала на плоские камни, под горячее солнышко. А косточки высыпала в корзину — вечером по селению стоял частый стук. Извлеченные из скорлупы и высушенные зернышки в полотняных мешочках подвешивали к стропилам, готовя легкий и питательный запас в дорогу. Надолго ли задерживаются дома мужчины в селении ашананшеди?

Теперь давно уже некому было бранить мальчика, который и вырос, и уцелел во многих и многих странствиях по делам повелителей Хайра, и стал шагатой. А шагата, на языке ашананшеди, значит больше чем старший брат и больше чем отец. Когда-то значило — царь, но последним царем был Ашанан, и с тех пор нет царей у маленького народа, кроме повелителя Хайра.

Кроме повелителя Хайра, кроме Акамие, про которого Дэнеш не хотел знать, что он — царь.

Мальчик из соседнего дома весь день подносил корзины с абрикосами и опрокидывал их в чан под ноги шагате, и смотрел на его измазанные сладкой жижей худые мускулистые ноги. У мальчика был обманчиво рассеянный взгляд и мягкие губы, и беспечная повадка — из него вырастет хороший лазутчик. Дэнеш проводил его взглядом, когда он пошел за новой корзиной — как раз вовремя, так что ни ждать не придется, ни спешить. Лопатки выступали на спине двумя уголками, чуть двигаясь в такт шагам, линии шеи подходили к коротко стриженому затылку так нежно и

ладно, как бывает только у красивых мальчиков.

Дэнеш смотрел на него.

Когда мальчик вернулся, Дэнеш снова смотрел на него, на его разведенные руки с напрягшимися мускулами, на край корзины, тершийся о втянутый живот. Мальчик посмотрел на Дэнеша, остановился. С тем же рассеянным взглядом поставил корзину на землю, повернулся и пошел к колодцу: принести воды, дать шагате умыться, выполнить его желание — это и любое другое. Ашананшеди готов ко всему — всегда. И смерть — самое последнее и самое простое из того, к чему он готов. И ты ашананшеди, если ты им родился, и послушание старшим — твой первый закон. Думать тут не о чем. В смерти — только конец. Начало — в послушании.

А Дэнеш думал, и думал так: а ты (нет, не о мальчике) ты думаешь, я знаю, ты так думаешь сейчас там, далеко, в своем дворце, на своем троне: он горяч, он жаден, как пламя гудящее, — и это правда; но только ты, только ты. И не потому, что другие не могут утолить мою жажду, нет, не потому: могут. Но ты сам пламя, я знаю, и не хочу быть неравным тебе. Ты носишь свой огонь внутри себя, не давая и язычку вырваться наружу. Так знай, я не понимаю, зачем тебе это нужно (понимаю — но не хочу понимать), но я тоже так могу. Видишь? А ты и не видишь. Но достаточно того, что это вижу я.

И он махнул рукой мальчику, принесшему в тазу воду омыть ноги от абрикосовой жижи:

— Сыпь еще! — и бархатные, смуглые, румяные абрикосы покатились из опрокинутой корзины. И Дэнеш завозил пятками осторожно, не шлепая, не разбрызгивая из чана. Мальчик с тем же безмятежным видом понес пустую корзину прочь. И Дэнеш, ухмыльнувшись себе, решил, что на этого надо обратить внимание: будет толк. Подняв из чана пару целых абрикосов, Дэнеш подбросил их на ладони, давая мальчику шанс, поймал и сразу метнул, нацелившись точно в коротко стриженый затылок одним и точно посередине между лопаток — другим.

Мальчик нагнулся, завернув ногу так, чтобы рассмотреть что-то на подошве: должно быть, занозу, или впившийся осколок абрикосовой скорлупы. Дэнешевы метательные снаряды мелькнули над ним, один разбился о ствол дерева поодаль, второй задел волосы на затылке, упал в траву. Мальчик выпрямился, чуть повернув голову, скосил глаз. Дэнеш одобрительно свистнул. Мальчик поднял корзину над головой обеими руками и бегом скрылся за деревьями.

— Айе, шагата. Твоя невеста выросла.

Дэнеш оглянулся. У дома стоял Хаст — отец его невесты по

колыбельному сговору. Последнее, что сделал дед перед смертью — сговорил за Дэнеша новорожденную дочь Хаста. Дэнеша самого и в селении не было, а и был бы — никто б его не спросил. На много поколений вперед решено было, кому с кем родниться и кого сторониться, чтобы дети были всегда живучи и смышлены в немногочисленном народе Ашанана.

Был Хаст ровесником Дэнешу — в два месяца разница — но не потому не женился раньше Дэнеш, что дожидался Хастовой дочери. Были и раньше подходящие невесты, но уже давно все повязали головы платками, родили не по одному ребенку, некоторые и овдовели.

Если б не дед — не женился бы вовсе.

Женился бы. Не принято в малочисленном роде Шур, чтобы умирали мужчины, не оставив наследника. А уж из такой семьи — и подавно.

Или, скажем, раньше — беспрекословно подчинился бы обычаю. Не обуза жена тому, кто под крышей родного дома переночует считанные разы за всю жизнь…

— Выросла, говоришь?

Предложить вместо себя двоюродного брата? Смертно обидится Хаст. Да и нельзя: по матери своей не подходит брат в мужья Хастовой Шите.

— Выросла. И ты дома. Как мы узнали — так и в путь. Вот и приехали, невесту тебе привезли. Подходящий случай. Не торопишься в Аз-Захру?

Дэнеш покачал головой, посмотрел на небо. Солнце наполовину уже за горой, птицы откружили, устроились на ночлег, только одна вдалеке видна мелькающей точкой. Голубь летит, торопится гонец. Еще далеко, не узнать, откуда, кому несет весть. Сегодня, значит, свадьба, а что скажет Акамие? Скажет: так хотела Судьба, и все. Не упрекнет, не пожалуется. А то и не узнает ничего. Зачем Дэнешу говорить о своей женитьбе? Никогда его жена не покинет затерянного в горах селения, никогда Акамие не спросит…

— Невесту привезли? А к свадьбе не готово ничего. Дом пустой. Вчера только приехал. Как быть?

— Ну что же, шагата, по-простому, по дедовски: обвяжем ее косу вокруг срединной опоры — и готово.

— Не могу, Хаст, твою дочь взять, как безродную. Честь для меня — породниться с тобой. Ей быть рабой в моем доме, но свадьба — ее царствование. Не могу так.

Дэнеш понимал, что долго отнекиваться — нанести смертельную обиду. Хаст и так сделал лицо церемонное, сузил над почтительной улыбкой глаза.

— Нет, шагата, это для нас честь…

Запели, захлопали над домом крылья. Дэнеш оглянулся — сизый, грозовой, с яркими глазами пал на крышу голубь, засеменил по земляному настилу.

— Хаст! — указал на голубя Дэнеш, с трудом удерживая в гортани хлынувшую радость. — Хаст!

— Вижу… — отозвался Хаст. — Утром поедешь?

Дэнеш мотнул головой, поднося к губам серебряный свисток.

— Сейчас надо.

И, пряча глаза, поспешил в дом. Мальчик кинулся за ним, подхватив таз с водой.

Переоделся в чистое, в бесшовную рубаху из лубяных волокон, кожаные штаны, прошнурованную родовым узором безрукавку, натянул ноговицы и короткие мягкие сапоги без каблуков.

Потом подошел к срединной опоре, священному ясеневому стволу, поддерживавшему кров. Поклонился, поцеловал потемневшую от времени древесину.

В столб вбиты были кованые крючья, на которых всегда, пока хозяин дома, висели перевязи с метательными ножами, мечи в ножнах, колчаны и лук, дымно-серый плащ. И дуу, флейта из тяжелого розоватого абрикосового дерева, чье имя нельзя перевести на чужой язык, потому что выйдет просто «голос», а на самом деле значит больше…

Из гнезда в перевязи Дэнеш мягким движением вытянул стальной лист на тонком черенке, собрал в кулак отросшие пряди над лицом, ровно срезал над бровями. Волосы положил в огонь родного очага, и пока они трещали, успел пожелать дому — мира, а себе — удачи. Поддерживать огонь в отсутствие Дэнеша было некому, поэтому он выгреб несколько углей и поместил их в глиняный сосуд, присыпал золой с края очага. Потом погасил огонь, чтобы тот не умирал голодной смертью и не проклял оставившего его на муку. А сосуд с углями Дэнеш передал мальчику — в ближайший дом, и там его огонь примут и поместят в свой очаг, а когда Дэнеш вернется, то возьмет у них угли, чтобы снова развести в своем доме не чужой, а родной огонь.

После этого Дэнеш вернулся к срединной опоре, надел перевязи, плащ, мечи, взял колчан и лук, сунул за пазуху дуу и, подхватив переметную суму, которая у ашананшеди всегда наготове, вышел во двор.

Ут-Шами, конь его, уже стоял во дворе, встряхивал гривой, тянул воздух в чуткие ноздри, дергал повитой жилками шкурой. Мальчик стоял рядом, держа наготовеседло и уздечку.

— Это надолго, — Дэнеш искренне вздохнул: Хасту он от всего сердца сочувствовал. — Ты, если что, отдай дочь за Урта. Он…

О Сирине

Только что ее не было — тропы, ведущей вниз, в долину.

Не было, и он стоял на краю и наблюдал с равнодушием, которое достижимо только в отчаянии, как из-под носков его сапог отрываются и медленно летят вниз камни. Долго-долго. В тишине.

А внизу шелковым покровом переливались девственные несмятые травы, такие гладкие, что в их глади отражались плывущие по небу облака.

Эртхиа наблюдал падение камней и оглядывал откосы справа и слева, надеясь найти путь в проклятую долину, когда краем глаза заметил кремнистый блеск прямо под ногами. Блик кольнул и погас, едва зрачки метнулись в его сторону. Ничего не было. Эртхиа отвел взгляд — и подавился дыханием. Тропа была, она шла прямо от носков его сапог вниз в долину, непринужденно изгибаясь без всякой видимой причины. Глаз дрогнул, Эртхиа попытался поймать видение, но оно не далось, исчезло. Эртхиа скосил глаза вправо — тропа, как ни в чем не бывало, изогнулась, опираясь на прозрачный воздух. Она парила, не окруженная ни камушком лишним… Эртхиа уставился прямо на нее. Ее не было. Но, отведя взгляд до упора влево, Эртхиа мог прекрасно разглядеть ее.

Дэнеш говорил ему, что ночью, в темноте, боковое зрение надежней прямого пристального взгляда. Но день сиял над долиной. И — не было ничего, по чему могла бы пролегать эта тропа, на чем покоилась бы ее поблескивающая сколами каменистая поверхность.

Устав косить, Эртхиа присел на корточки и закрыл глаза. Теперь он был уверен, что нашел долину Аиберджит и никакую другую.

И она приглашала его, выслав навстречу дорожку, которой так же не существует, как и самой долины. Или это ловушка?

Но когда осталась одна-единственная надежда, то и выбирать не из чего. Эртхиа решительно выпрямился, подтянул сапоги, поправил на спине суму, вдохнул, выдохнул и пустился в путь. Смотреть приходилось именно что вниз, и голова отчаянно кружилась, но тропа сама несла. И ветер, рвавший полы кафтана, пока он стоял на краю обрыва, теперь едва шевелил выбившиеся из-под платка прядки. Тропа была твердой. Когда Эртхиа увидел, как она кошкой выгнулась над пустотой, ему показалось, что она должна пружинить и раскачиваться в такт шагам. Но она стояла, как каменный мост. Только не смотреть в упор. Только мимо,

мимо. Вниз, на долину, на шелковый разлив зелени, ничем не нарушаемый… Эртхиа едва не оступился. Там, внизу, ломая разбег волн, встал черно-сизый куб Храма. Облака потянулись со всей округи, воронкой закрутились над ним, и растаяли, как пар над остывающим котлом. Ветер взвыл где-то под ногами и ринулся вниз, пронесся смерчем, взрывая гладь травы, расталкивая ее. Тропа извернулась, скруглила поворот (Эртхиа стоило труда не впиться в нее глазами) и, нащупав широкую ступень, уперлась нижним концом прямо в основание Храма.

Эртхиа перевел дух и пошел дальше. Что ему еще оставалось. Теперь была надежда, что тропа не растает в воздухе, раз она так ясно дала понять, что ведет прямо туда, куда ему нужно.

Вперед, все ниже, и вот уже что-то лунно-белое мелькнуло в высоком проеме и отсветом отозвалось в тени. Еще раз, отчетливей, но уже не казалось белым, а плеснуло радугой и разбрызгалось бликами по ступеням. Эртхиа пустился бегом. Стало не страшно, и глаза сами собой не отрывались от высокой фигуры наверху широкой лестницы.

Что есть духу понесся он, из-под ног летели камни, дарна в суме била по спине то ли подгоняя, то ли остерегая. Разбега хватило на то, чтобы взлететь по ступеням и оказаться лицом к лицу с тем, в белом, в радуге, в сверкании острых бликов.

— Вот я! — выдохнул Эртхиа. — Я пришел.

Встретивший его на пороге Храма изогнул бровь.

— Тебя сюда не звали.

От его голоса у Эртхиа все оборвалось внутри.

— Но я пришел. Я пришел — ты видишь. Теперь мы что-нибудь сделаем — то, что нужно, чтобы все было хорошо, и я уйду. Сразу. Но не раньше.

— Ты уже сделал все, что мог, явившись сюда, — отрезал встретивший его. — Ты качнул чашу на весах — и она опрокинулась. Теперь она пуста. Пока не наполнится, а наполнить ее не под силу никому из людей. Равновесия нет. Ты нарушил его. Кара падет на твое царство.

— Какая кара? За что?

— Явившись незваным в Долину…

— Но я уже был здесь!

— Незваным…

— И почему — царство? Если я что нарушил, пусть я и буду наказан, но почему — другие?

— Потому что ты царь. С той минуты, как ты принял корону на свою голову, ты больше не можешь считать себя просто человеком и жить как любой человек. Ты — Аттан, каждое твое слово, каждое движение, действие и промедление, желание и

мысль — все это Аттан. Он наброшен на твои плечи, как царская мантия, и живет, и движется, и дышит твоей жизнью, твоим движением, твоим дыханием. И когда ты задумал недозволенное, самый воздух вокруг тебя оказался отравлен, и все вокруг испортилось и пришло в негодность. Ты слышал, что моровая язва посетила твое царство? Она долго не уйдет. Пока не насытится. Она и наполнит опрокинутую чашу.

— Но это вздор! — возмутился Эртхиа. — Я только сейчас вошел в долину, а гонца встретил раньше, еще в Аттане. В чем моя вина?

— Судьбе безразлично, за какой конец потянуть. Нить-то одна. «Раньше» и «позже» ничего не говорят о причине и следствии. То, что произошло позже, может оказаться причиной для предшествовавшего. Ты осужден не за то, что сделал это. Ты был осужден за то, что сделаешь это. Довольно тебе знать, что все случилось из-за тебя. Спорь с этим, если хочешь, но ты ничего не можешь изменить.

— Кто ты? — требовательно спросил Эртхиа.

— Я — Сирин.

Эртхиа отшатнулся.

— Ты не можешь быть им, потому что он — добр. А ты…

— Никогда Сирин не был добр, как не бывает добра Судьба. Если ты принимаешь ее и подчиняешься ей — нет нужды тебя понукать, отнимать украденное и вырывать из рук добытое обманом. Если твоя жизнь нужна Судьбе — Сирин отнимет тебя у самой смерти. Что такое доброта? Я не знаю ее. Я — раб Судьбы, любимый ее раб. Я делаю то, что она велит. Я здесь, чтобы сказать тебе об этом. А ты зачем пришел?

— Но брату моему, но мне самому ты говорил другое! Ты говорил: дерзай, иди вперед, не бойся — и победишь!

— Кого? — холодно удивился встретивший его на пороге Храма. — Судьбу? Разве и в твоей победе — не Судьба? Ты побеждаешь, но это победа Судьбы. Все твое — Ее. Нет ничего твоего. Царствуй, если Судьба дала тебе царство. И помни: потому и позволено было тебе жениться на Ханнар, а Ханису взять Атхафанаму, что Судьбе угодно прервать род Солнечных богов. Их больше не будет. Уже пора.

Эртхиа покачался с носка на пятку, поправил отягченный оружием пояс.

— Ну так. Мы что-то задержались на пороге. Я пришел в долину — я войду в Храм. Слышал я, что там можно встретиться лицом к лицу со своей судьбой. Очень я этого хочу…

Встретивший его на пороге печально покачал головой.

— Это тебя не обрадует.

— Я войду.

— Ты об этом пожалеешь.

— Нет! — крикнул Эртхиа и кинулся внутрь, оттолкнув пытавшегося заступить ему дорогу.

Внутри было темно, но все видно. Коридор полого катился вниз, ноги на каждом шагу погружались в синеватый туман. Под ним было твердо, и звоном отдавались шаги. Туман пеленой облепил и стены, из него настороженно глядели каменные лица с самоцветами в глазницах. Самоцветы слабо светились. Пелена колебалась, потревоженная быстрым движением, и казалось, что лица вздрагивают от каждого шага.

Впереди замаячил свет. Эртхиа ускорил шаги, нащупал рукоять меча. Свет двигался, кто-то шел ему навстречу. Кто-то в белом, отливающем радугой, рассыпающем по стенам легкие блики. Туман вскипал у его ног, расходясь кругами. И лицо было то же.

— Я ждал тебя. Не думал, что ты будешь медлить столько времени. Вот и ты. Ты пришел. Я знал.

— Сирин!

— Это я.

— А тот?

Сирин сделал неопределенное движение пальцами.

— Я знаю, зачем ты пришел. И все возможно. Но будет трудно достичь желаемого. Ты оставил Аттан в тяжелое, страшное время. И когда вернешься, многих не застанешь. И тех, кто дорог тебе.

— Я вернусь немедленно, сейчас! И умру с ними.

— Может быть, тебе повезет, и ты даже умрешь первым. И женщины твои оплачут тебя, а потом у них на руках будут умирать твои дети… А ты оставишь их одних. Этого ли ты хочешь, Эртхиа?

— Но как же иначе? Раз я не могу спасти их.

— Здесь — не можешь. Но мир больше, чем Аттан и Хайр, больше, чем земли вокруг долины Аиберджит. Как мост держится на многих опорах, так и мир… Тебе нет дороги в Аттан, тут уж мы с тобой ничего не сделаем. Ты нарушил равновесие, явившись сюда незваным…

— Но ты же сказал, что ждал меня!

— Незваного. Я не сомневался в тебе.

— И за это — кара?

— Так уж все устроено. Ты должен был придти. И должен был придти самовольно. Потому что ты — это ты, а судьба человека соответствует его свойствам. Но то, что сделано против воли Судьбы, хотя бы и с ее попущения…

— Если Судьба — это все, что бы со мной ни случилось, как я

могу сделать что-то против ее воли?

— Ее воля в том, чтобы уступить тебе и покарать твое своеволие. Часто только своеволием и карой за него движется жизнь.

— Ты — кто?

— Я Сирин. Разве я назывался когда-нибудь вестником радости? Я только объясняю, что нужно делать, а выбор — за тобой. Спроси своего брата. Он кое-что знает об этом.

— Я спрошу его. Но ты — объясни мне, что я должен, что я могу сделать, если известно уже, что мои любимые умрут, и дети мои умрут, и царство мое поразит мор, и где я должен быть в это время, и куда мне идти?

— Я объясню, но ты помни: на эту дорогу ты вышел сам, никто не гнал и не манил тебя. А вышел, так иди. Помнишь свой сон об огне и тени?

— Ты знаешь?

— Я сам сочинил его. Он сбудется, не знаю — как. Но это — помощь тебе в дорогу. Судьба не оставит тебя. Иди и помни: пока ты в пути, ничего не совершится окончательно. Где-то очень далеко, отсюда даже я не увижу, стоит другая опора моста.

— Хотя бы скажи, в какую сторону мне идти?

Сирин покачал головой.

— Это мне неведомо. Даже здесь, сейчас, я не могу направить тебя. Это — Храм тысячи врат. Два человека не вошли и не вышли отсюда одной и той же дорогой.

— Благослови меня… — Эртхиа в изнеможении опустился на колени. — Я…

— Да, ты уезжал из дома ненадолго, и не простился со своими так, как надо прощаться навек. Ну, считай это хорошей приметой.

Сирин положил ладони ему на голову.

— Теперь иди.

— Ты совсем другой в этот раз, — прошептал Эртхиа.

— Я совсем другой, — согласился Сирин, убирая руки. — Иди.

Эртхиа поднялся.

— Это важно, каким путем я выйду из Храма?

— Важно.

— Но здесь только один коридор.

Сирин всплеснул рукавами. Туман, взвихрившись, клубами пополз вниз, открывая стены, и Эртхиа увидел между каменных лиц черные провалы.

— Храм ведь не всегда такой, — догадался он.

Сирин кивнул.

— Ну, я пойду, — приказал себе Эртхиа и скользнул в ближайшую к нему щель в стене. Не успел он сделать и нескольких шагов, как стены прянули в стороны, и перед Эртхиа открылся залитый золотым светом многооконный зал. Окна, широкие, от пола до потолка, исходили светом, как будто прямо за ними, за каждым, стояло отдельное солнце.

Эртхиа зажмурился, а когда открыл глаза, увидел радужные сполохи, окружавшие высокую фигуру у дальнего окна. Человек обернулся.

— Сирин?! — вскрикнул Эртхиа.

— Сирин — это я.

И двинулся навстречу, прямой, высокий, непреклонный.

— Не слушай его. Утешитель… Что он наговорил тебе? Что все будет хорошо? Знаю, он всегда говорит одно и то же. То, что ты хочешь услышать.

— Нет, — отверг Эртхиа. — Я не сразу согласился с ним: я не верил ему сначала.

— Только потому, что боялся обмануться в утешении. Ты спорил с ним, чтобы убедиться самому. И ты веришь ему, потому что его слова дают тебе надежду. А мне ты поверишь, потому что я скажу тебе правду. Ты пришел в долину незваным, а навстречу тебе смерть шла в Аттан. Когда встретил ее — почему не остановился, не повернул коня? Надо было вернуться, вернуться… Ты мог повернуть назад еще там, на краю скалы. Даже ступив на тропу, ты мог отказаться от своего намерения.

— Но ты ведь сказал, что я осужден уже за это намерение!

— Я?

— Не знаю, но обликом — такой же, как ты, и именем — Сирин.

— Это неверно. Ты наказан за исполненное. Если бы ты повернул обратно, ничего и не случилось бы. И нечего искать чудес в дальних краях. Что есть в мире такого, чего не было бы в самом человеке? Если ты не можешь отыскать спасения в себе, — не найдешь, обойди хоть вселенную.

Эртхиа тяжело дышал.

— Что же мне делать?

— Никого ты не спасешь. Но ты еще можешь вернуться и умереть с ними. Будь мужчиной, Эртхиа ан-Эртхабадр.

Эртхиа закрыл лицо руками.

— Кто умрет, скажи мне, кто умрет?

Ни звука.

Он открыл глаза. Никого не было рядом с ним. Только окна разгорелись еще ярче. Он обернулся, но не смог разглядеть ни двери, ни щели в стене, через которую он вошел. За его спиной

тоже пылало окно. Оно слепило. Прикрыв глаза рукой, Эртхиа пошел вдоль стен, держась подальше от опаляющего жара, клубившегося в проемах. Он не смог найти никакого выхода. Вернувшись в середину комнаты, он постоял, посмотрел направо, посмотрел налево, щуря обожженные ресницы. И кинулся, не выбирая, к одному из окон, и не остановился перед ним. Огонь всклубился, расступаясь, и темнота приняла Эртхиа.

Он плыл, как сухой листок по воде. Справа и слева от него, над ним и под ним было темно. Он вытягивал руки и шевелил пальцами, но он не увидел своих рук и ничего не нащупал в темноте. И он не чувствовал ни холода, ни тепла, ни верха, ни низа, ни движения времени.

Вспыхнула яркая звезда. Эртхиа не мог бы сказать, далеко она или совсем рядом. Она росла, вытягиваясь, и Эртхиа тогда понял, где верх, потому что звезда тянулась вверх, он сразу догадался. Вот она уже превратилась в узкую щель в темноте. Заколебалась, увеличиваясь. Ее белизна расцветилась текучими бликами. И стало видно: кто-то идет, кто-то в белом, отливающем радугой, кто-то, сияющий во тьме.

— Сирин! — беспомощно позвал Эртхиа, барахтаясь в пустоте. Сирин приблизился, насытив светом пространство вокруг Эртхиа. Теперь они как бы плыли в серебристом пузыре, какие поднимаются из воды. Эртхиа поднялся на ноги. Он мог стоять, опираясь на этот свет. Только граница его была зыбкой, подавалась под ногами, Эртхиа приходилось пружинить, сохраняя равновесие. Он уперся рукой в дымчато-серебристую поверхность за спиной. Она тоже колебалась, но все же стоять было легче. Сирин с тихой улыбкой наблюдал за ним.

— Скажи мне, — вдруг спросил Эртхиа, — что значит твое имя?

— Это имя священное, — объяснил Сирин. — Оно дается только жрецу, который становится супругой бога. Оно означает «кроткая» и «покорная».

— Ты? — опешил Эртхиа.

— Я. Я — Сирин. Я выведу тебя отсюда. Ты вернешься в Аттан к своим женам и все забудешь. Все будет, как было. Царствуй, Эртхиа.

— А мор?

— Его не было.

— И не будет?

— Нет.

— И все, как прежде?

— Да.

— Нет.

— Нет?

— Я пришел — ты знаешь, зачем. Я не могу объяснить тебе, никогда не бывшему мужем и отцом. Но не мочь дать своей жене ребенка, любимой жене, богине, которая, пусть даже на самом деле и не богиня, — богиня все равно…

— Кто никогда не был мужем и отцом? — перебил Сирин. Эртхиа онемел.

— Я понял тебя, — голос Сирина стал глухим. — Тогда надо идти до конца. Тогда отсюда ты должен идти неведомо куда, искать неведомо что, и, может быть, в этом окажется спасение твоего народа и средство соединить кровь солнечных богов с человеческой. Может быть. А может, и нет. И тогда — смерть пройдет по твоему царству, не встречая препятствий. И твои жены, твои дети умрут. И твои подданные — за твою вину. Идешь?

Эртхиа молчал.

— Возвращайся домой, царь, — мягко сказал Сирин. — Довольствуйся тем, что тебе дано. В погоне за большим можешь потерять все.

— А могу и не потерять? — встрепенулся Эртхиа.

— А можешь и потерять, — осадил его Сирин. — Все.

— Я пойду, — угрюмо сказал Эртхиа. — Я пойду. Я хочу не то все, что у меня есть, потому что оно — недостаточно. Я хочу то все, что может быть. Я пойду. Если судьба соответствует свойствам человека, моя — такова. Ты только объясни мне, что значит, что пока я в пути, ничто не совершится окончательно. Значит ли это, что если мое странствие будет удачно, то все поправится и вернется таким, как было, но — лучше?

— Хотел бы я это знать.

— Куда же ты посылаешь меня?

— Я?

Эртхиа опустил глаза.

— Ну скажи что-нибудь. Обнадежь меня.

— Сказать тебе то, что ты хочешь услышать, — или правду?

— Скажи мне то, что ты мне скажешь.

— Иди.

— Но ты говоришь, что я могу потерять все, и не только я, что царство мое погибнет, что любимые умрут и все — безвозвратно…

— Это как тебе придти в долину незваным: что бы ни было, ты не можешь иначе. Это нельзя, но ты сделаешь обязательно, потому что такова твоя душа и твоя судьба. Поступай по себе. По-другому ты и не можешь. У тебя ведь нет выбора. Две дороги, а твоя — одна.

Они опять были в коридоре, полого уходящем вниз, и туман обнимал их до колен, и каменные лица пристально смотрели на них.

— Куда мне? — спросил Эртхиа.

Сирин указал ему вглубь Храма. Эртхиа чуть помедлил, глядя под ноги.

— Прощай.

И зашагал вниз. Он шел долго. Пол то плавно поднимался, то выгибался горбом, начиная новый спуск. Лица на стенах смотрели на Эртхиа без всякого выражения.

Кто-то окликнул его сзади знакомым голосом. Эртхиа обернулся, холодея.

Там стоял Сирин.

— Что ты еще скажешь? — в ярости крикнул царь Аттана.

Сирин укоризненно покачал головой.

— Ничего плохого. Я еле догнал тебя. Знаешь, это все неправда. Конечно, вернешься ты в Аттан, или пойдешь дальше своим путем, для тех, кто остался, ничего не изменится. Ты покинешь их — или для странствия, или в смерти. Но есть еще…

— Что? — взмолился Эртхиа. — Что еще есть?

— Но только для тебя. Ты пойдешь так далеко, в неведомые земли, где и не слышали ничего об Аттане. И там обретешь новое царство и новую любовь. Аттан обречен, солнечные боги обречены. Оставь здесь все, как есть, и начни сначала в другом месте.

— Ничего не хочу. Я уже решил, я иду искать.

— Брось, Эртхиа. Уезжай скорее подальше от Аттана, там будет страшно. И незачем тебе когда-либо возвращаться туда. Все, что было твоего в Аттане, погибнет раньше, чем минет этот год. Уходи.

— Да ты Сирин ли? Такого он не предлагал никогда и никому!

Сирин рассмеялся.

— Сколько угодно, сколько угодно! Каждому. Но не каждый это услышит. А есть такие, что и слышат, да не слушают. Вот и ты. Хорошо. Поступай, как знаешь. Что они тебе насоветовали, наобещали?

— Кто? — насторожился Эртхиа.

Сирин сделал неопределенный жест рукой.

— Да что это здесь такое творится? — возмутился Эртхиа. — Сколько вас?

— Я один и есть. Спроси еще, сколько лиц у Судьбы, сколько голосов, которыми она зовет и запрещает, и какой из них верный, и какой стоит слушать… Не передумаешь, значит?

Эртхиа нахмурился.

— Ну хватит. Я не знаю, кто ты. Но тот, кто обещал вывести меня отсюда, видно, недорого ценит свое слово. Где здесь выход? Мне пора.

— Пора ему! — ухмыльнулся Сирин. — Благодари Судьбу: позволено тебе успеть вовремя.

— Где выход? — зарычал Эртхиа.

— А вот! — Сирин указал за спину Эртхиа. Тот обернулся — в двух шагах от него на ступени падал ровный дневной свет, и волнами ходила трава до самых гор далеко впереди. Эртхиа устремился к выходу. Он опустил ногу на ступень, та мыльной пленкой лопнула под его ногой. Только расслышал озабоченный голос за спиной: «Осторожно!» — и рухнул в черноту.

Солнце стояло высоко. Припекало. Эртхиа открыл глаза. Две конские морды фыркали над его лицом, обдавая липкими брызгами. Он перекатился на бок и огляделся. Рядом терпеливо взмахивали хвостами его кони. С двух сторон поднимались к самому небу крутые склоны. Между ними по высохшему каменистому руслу ручья быстро двигалась высокая фигура, укрытая серым плащом. Эртхиа вскочил, не чуя под собой ног, пробежал несколько шагов.

— Сирин! — закричал он, задыхаясь. — Сирин!

Тот, в сером истрепанном плаще, не останавливаясь, обернулся и погрозил Эртхиа тощим пальцем.

Ноги Эртхиа подкосились, и он повалился на землю, и глаза его закрылись сами собой, и он уснул.

Об абрикосовой флейте

Вскоре после полуночи шагата уже был неподалеку от Кав-Аравана. Устроил ночлег ниже замка, в давно облюбованном уголке, и смотрел, как плывут звезды, слушал гремевших в кустарнике цикад. Мог бы так много сказать, но только сейчас. А некому. Потом, в Аз-Захре, во дворце, так и оставшемся клеткой, ничего не скажет.

Ровно на полпути между замком Кав-Араван и той пещерой, где когда-то укрылись от ночи, грозы и погони беглецы, и Акамие не прятал тогда глаз, и каждое слово было обещанием.

Зачем позвал теперь?

Теперь только звезды были с лазутчиком и невидимая башня Кав-Аравана на востоке и невидимая пещера их ночлега на западе. Дэнеш точно знал, где они, лучше, чем если бы видел. А звездам были видны и он сам, и пещера, и замок, и прошлое, и будущее. Здесь, один, Дэнеш мог сказать Акамие все, чего не говорил, когда был с ним рядом, но не было в этом ни смысла, ни радости. А бросить в лицо упрек — не мог и не хотел.

Но губы ломило от слов, от невысказанной обиды; но дыхание переполняло грудь. И Дэнеш вынул из-за пазухи тяжелый абрикосовый стволок флейты. Здесь рядом, в той черной башне, жил сказавший слова, которых не заменить другими. Назвавший влюбленных пастухами звезд. Пастуху пристало дуть в дудку. Дэнеш вдохнул поглубже и поднес флейту к губам.

Тайная сила жила в полой трубочке абрикосовой дудки: принимая в себя выдох боли, она выпускала его уже голосом, человечьим, но сильнее, глубже, мудрее и — полным любви.

Всегда, всегда, сколько бы ни прошло лет, всегда ты будешь стоять у края, не видя меня и не зная, здесь ли я, только надеясь на это, и ветер будет ловить твой плащ и тянуть тебя в пропасть, а я всегда буду смотреть на тебя и взглядом поддерживать тебя на краю, и не оторву взгляда, и ты не уйдешь от края. Что бы с нами ни случилось, что бы между нами ни встало, здесь, разлученные, мы будем вместе. Так говорила дуу, и Дэнеш слушал ее, и хотел слушать еще, и каждый вдох выдыхал сквозь нее, чтобы узнать и понять, чего еще не знал и не понимал о прошлом и будущем, и сравняться в этом со звездами, и знать больше их, потому что главного звезды не знают, им ведомо только видимое, а дуу — дуу знает о том, что внутри, потому что изнутри человека идет в нее дыхание и с ним — сокровенные тайны.

О пробуждении царя

Тени легли уже на всю ширину дорожки. Полуденный час миновал, и ворота дворца вот-вот должны были распахнуться для ожидающих царской милости.

Царь неохотно приподнялся на ложе. Сон так и не пришел к нему, но навалилась дрема, от которой в голове мутная тяжесть и на душе печаль. Когда дрема истончалась, сдуваемая ветерком, царь подхватывал обрывки мыслей, брошенные перед этим, и принимался думать.

Думать особенно было не о чем, все одно и то же, отчего и ночью не спалось, все давным-давно придуманное, передуманное и решенное, но, словно каждый день жизнь начиналась заново, он заново искал ответы на вопросы, которых никто ему не задавал, он сам бы их задал, да некому.

А теперь они одолели царя, взяли верх, и он понял, что данные им прежде ответы все неверны, но других нет. Он заплакал бы, но некому было его утешить. Хотелось остаться, полежать еще немного, побыть наедине с печалью.

Но, заметив его движение, к беседке уже приблизились слуги с кувшинами и тазами для умывания, с тонкими полотенцами. Царь вышел из беседки, тут же сами собой на ноги наделись расшитые туфли, кувшин наклонился, загремела струя, расплескалась в подставленных ладонях. Согретая на солнце вода не освежила лица. Но услужливые руки уже поднесли полотенце и промокали влагу осторожными прикосновениями. Евнухи, привыкшие беречь красоту порученных их заботам. Царь отнял полотенце, крепко растер лицо и шею, отбросил скомканное, не глядя. Царь не любил евнухов. Но лучше, чтобы слуги в опочивальне и внутренних покоях были только из них. Так надеялся избежать пересудов.

Следующие подошли с одеждами — темно-красными, окуренными благовонным дымом. На подставленные руки натянули рукава, на плечи уложили тяжелое золотое шитье, украшенное камнями, на пальцы привычными движениями надели перстни. Гребни уже осторожно скользили в волосах, собирая пряди к затылку. В косу еще не сплести было на бесчестье обрезанные волосы, но собирали их сзади и обвивали шнуром.

Важный, с поджатыми губами, глядя перед собой в никуда, приблизился Шала ан-Шала, сын того Шалы, что прислуживал еще деду и отцу нынешнего царя. В его руках, покрытых толстым жестким шелком, плыл к царю тяжелый венец, и округлые темно-

красные камни, попадая из тени на свет, неохотно вспыхивали мрачным огнем, и в отместку наливались чернотой, попадая в тень.

И тот, кто смотрел из-за дерева, не особенно прячась, болезненно нахмурился: сейчас он возьмет это руками, сейчас…

Уверенными пальцами подхватив тяжелый обод венца, царь надел его на голову.

— Ворота открыли?

— Нет, повелитель, привратник дожидается знака.

— Идем.

О радостной встрече

Шала вышел на крыльцо и подал знак. Привратник пророкотал важно и неразборчиво, и стражники кинулись отворять ворота. Едва створки разошлись, тут же в проеме как из-под земли вырос всадник. Под седлом у него был золотистый конь, под легким вьюком — мышастый, оба чистых бахаресских кровей. Не придержав коней ни на миг, хмурый всадник, одетый на аттанский манер, направил их прямо в ворота, еще и поторопил золотистого каблуками. Рявкнув на растерявшуюся стражу, привратник обнажил меч и кинулся наперерез.

— Что это ты не узнал меня, Авари? — крикнул ему всадник, придерживая коней, чтобы не стоптать ненароком вельможу.

Привратник задрал голову, пригляделся.

— Неужели я вижу тебя, господин мой…

— Молчи ты! — перебил Эртхиа. — Я передумал.

И спрыгнул с коня.

— Авари, пропусти меня во дворец, как простого просителя. Только позаботься о моих конях.

— Немедленно и наилучшим образом, — пообещал привратник и махнул рукой стремянным. — Чем еще услужить господину?

— Да тише ты, — через силу улыбнулся Эртхиа. — Не выдавай уж. Хочу посмотреть, узнает ли меня брат мой, повелитель Хайра. Погоди, — он обернулся к слуге, уводившему коней. Из переметной сумы достал обернутую в плотную ткань дарну. — Красавицу мою под покрывалом я возьму с собой.

— Э, господин мой, с ней тебя всякий сразу узнает, — заулыбался привратник.

— Тогда присмотри, пока я за ней не пришлю, — кивнул Эртхиа, отдавая ему дарну. — Береги мне ее!

Привратник поклонился как мог низко, принимая от Эртхиа его знаменитую дарну.

— Неужели мы услышим ее здесь, господин? Столько говорят о ней от самого Аттана до наших краев!

Эртхиа кивнул и пошел через просторный двор к крыльцу, пошел впереди слуги, посланного проводить его: он не нуждался здесь в провожатых.

Его, одетого по-аттански, по-аттански стриженого, никто не узнавал, да никто и не вглядывался в его покрытое белесой и розово-рыжей пылью лицо. Только у самого входа в тронный зал распорядитель попытался остановить его:

— Не позволительно в таком виде появляться перед

повелителем!

— Срочное дело, — отрезал Эртхиа, вскинув к глазам распорядителя руку, на которой среди других перстней яростным алым горел его перстень царевича. Распорядитель отступил перед ним, но одернул вслед:

— На колени!

Он еще было кинулся за Эртхиа, намереваясь силой заставить чужеземца склонить колени перед царем Хайра, но царь сам поднялся навстречу.

— Никого больше не впускать! Пусть закроют ворота! — воскликнул царь, сбегая с возвышения. И не заботясь больше ни о чем, обнял брата.

— Эртхиа, сердце, ты ли? Как ты… нет, не вырос, но плечи! А борода! Когда ты успел? Надо же, ты теперь — вылитый Лакхаараа. Но это ты, радость моя, ты приехал! Как щедра ко мне Судьба!

— И правда, щедра, — неохотно согласился Эртхиа. — Счастья тебе и здоровья, живи долго. Может, дождешься от нее милостей.

Акамие отпустил его из объятий, отступил.

— Что с тобой, дорогой мой?

Эртхиа передернул плечами:

— Прости. Зараза уже в Аттане. Я встретил гонца, когда ехал к Аэши. На этот раз ашананшеди опоздали. Рода Черной Лисицы больше нет. А гонца с твоими письмами я встретил… уже поздно было.

— Не успел я, значит…

— Ну а что можно было сделать? Ты не виноват. Это не ты. И не бойся: я не принесу в твое царство смерть. Мы с ней разминулись. Это точно.

— Брат, давай отложим разговоры, — стал уговаривать Акамие. — Ведь ты не сию минуту обратно, правда? Теплая вода, отличная белая глина, благовония, какие пожелаешь, — а потом много еды. Как бы ни велико было горе, ты устал и проголодался с дороги. Поешь и спи. Когда отдохнешь, мы поговорим обо всем.

— Ладно, — махнул рукой Эртхиа. — Во-первых, тебя не переспоришь, мой кроткий брат, а во-вторых, ты прав. Я ночевал… О, вот еще что я должен тебе рассказать!

— Потом? — наморщил лоб Акамие.

— Хорошо, потом, все сразу и по порядку. Здесь ты царь и я повинуюсь. Только спать я не буду!

— Хорошо, — с легкостью согласился Акамие. — Если ты не передумаешь после купания и еды.

Эртхиа окунулся в бассейн, запил вином хороший кус мяса,

приготовленного и приправленного именно так, как он любил всю жизнь, набил рот халвой и тщательно вновь прополоскал его лучшим вином и — не растянулся на коврах, сморенный усталостью, а стал только угрюмее и нетерпеливее, словно не остались за спиной несчитанные парсаны между Аттаном и Аз-Захрой. Акамие сидел с ним за столом, сам только из учтивости отщипывая кусочки пресной лепешки. Так и не привык он есть помногу, особенно днем, он, всю жизнь спавший с утра до вечера и бодрствовавший с вечера до утра.

— Пошли кого-нибудь к привратнику, — сказал ему Эртхиа. — У него моя дарна.

— Та самая? — встрепенулся Акамие.

— Она.

— Как ты зовешь ее?

Эртхиа пожал плечами.

— Жаль, что ан-Араван не записал ее имени. Никакого ей подобрать не могу. Как ни назову — все не то. Прежняя моя, которую в походе разбил, ты же ее помнишь?

Акамие помнил — кивнул.

— Я тебе еще пел, когда из Аттана возвращались, — на всякий случай уточнил Эртхиа.

— Я помню, — сказал Акамие. — Жаль ее.

— Жаль. Ее звали Серебряная. А эта! Никакое имя ей не впору. Пошли за ней. Я тебе спою. Я песню сложил. Не ко времени, да что ж теперь. Плачей я не сочинял никогда, только утешения.

— Я помню.

Пока ходили за дарной, Эртхиа, казалось, не знал, чем занять руки, куда спрятать взгляд. Наконец, освобожденная от покровов, блеснула крутым изгибом дарна, и Эртхиа привлек ее к себе движением уверенным и нежным, так что у Акамие жар опалил щеки, и он оглянулся — так, в никуда кинул просительный взгляд.

— Вот песня, — сказал Эртхиа. — Ехал я через Суву…

— Через Суву? — переспросил Акамие. — Это же в другой стороне.

— Ладно, потом, — мотнул головой Эртхиа, и принялся подкручивать колки костяным ключом. Перебрал лады, подумал.

— Я никогда еще не пел ее.

И вольной рукой ударил по струнам.

Что от тебя осталось,
похитивший мое сердце?
Высокий огонь взвихрился,

как полы плаща путника,
так внезапно повернувшего вспять.
Где я тебя увижу?
Возлюбленный пламени,
где бы оно ни пылало,
в пламени ты пылаешь,
похитивший мое сердце,
напоивший его огнем.
Пламени всплеск,
шелк золотой, сиянье —
вот где тебя я увижу.
Что от тебя осталось,
если так огонь ревнив,
и после его объятий
никто тебя не видел,
и не знают, какой дорогой ушел ты,
и какой вернешься,
так что некому вслед
махнуть рукою.
Где мне искать тебя,
у каких ворот встречать,
в сторону какую посылать гонцов…

В середине песни от стены отделилась тень, и Дэнеш, в сером, неприметно-сером теней и лазутчиков, приблизился и сел позади Эртхиа, не спугнув песни ни движением, ни звуком.

Их стало теперь трое, и все трое жадно и терпеливо дослушали, пока растает последний отголосок, и только потом Эртхиа опустил дарну на колени и обратил к Акамие вопросительный взгляд.

Акамие прерывисто вздохнул.

— Каких слов ты ждешь? — и покачал головой. — Нет таких слов. Если бы он это слышал! Он бы вернулся. С той стороны мира вернулся бы. Спроси Дэнеша, — и указал взглядом за спину Эртхиа.

Дэнеш кивнул. Эртхиа, обернувшись, увидел его и вскочил.

— Ты?!

Они обнялись.

— Что же Акамие тебя прятал? Или ты сам прятался, лазутчик? Почему не показался мне раньше?

— Меня здесь и не было, — улыбнулся Дэнеш. — Я только что приехал. Сразу следом за тобой. Я по твоим следам ехал.

— По следам? Ах, да, Руш ведь!

— И Веселого я узнал.

— Но ты больше года не видел ни их, ни их следов.

— Ты вот меня тоже давно не видел, но ведь узнал же. Никакой разницы.

— Никакой ему разницы! Откуда же ты ехал?

— Через Суву, — уклончиво ответил Дэнеш.

Акамие, сидевший неподвижно, с опущенным взором, вскинулся при этих словах.

— А, — надулся Эртхиа, — лазутчиков не спрашивают, куда и откуда.

— Эртхиа, ты и сам сегодня скрытен, — сказал Акамие. — Что за путь ты выбрал? Аттан от нас к западу, а Сува к востоку.

Эртхиа махнул рукой, уселся на ковер, погладил дарну.

— Да что тебе? Так… захотелось. Я там и песню сложил. Тебе жаль, что я без твоего позволения по Хайру гуляю?

— Эртхиа, — нахмурился Акамие, — ты ведь не для того ехал из Аттана, чтобы песню сложить. И сюда — не для того, чтобы меня обидеть. Ты скажешь, зачем приехал и почему через Суву? Если не хочешь, я не буду спрашивать, но скажи это вслух. Как я могу догадаться?

— Погоди, дай я по порядку. Ехал я… Днем было тепло, а ночью сам знаешь, как оно в горах — да и не спалось мне… Замок так и стоит пустой. Ворота незакрыты. Лисы уже кости растащили. Не хотел я там ночевать, попытался найти пещерку, где мы от грозы прятались, помнишь?

— Помню. Полдня пути от замка.

— Куда там! Заблудился, еле выбрался. Думал уже, пропал. Руш с Веселым вывели. Обратно к замку. Что ж я, ночных духов испугаюсь? Ты ведь там жил.

— Я же не один. Со мной Айели был. И стража.

— Ну а я сам себе стража, а вместо Айели при мне дарна. Чего бояться? Я во дворе костер развел. Хорошо. Звезды с неба глядят, кони дышат, цикада безумная заливается…А на душе черным-черно. Чтобы хоть о чем угодно другом думать, я стал вспоминать твой рассказ об ан-Араване. И цикада эта… Слушал я ее, слушал — и не стерпел. Взял дарну. Только я не играл и не пел — пальцы озябли, да и так как-то… Будто кто-то слушает и только и ждет, чтобы я запел. Да и слова не сразу сложились. Странно… Вот я знаю, что песня есть, точно есть. А она еще не вся. Ну, не знаю, как объяснить. А тут еще — знаешь, там же неподалеку, говорят, ашананшеди селятся, а их селения ночные духи охраняют. И эти духи по ночам поют, а ты не смейся, Дэнеш, мне знающий человек говорил, а если что соврал, так я за чужую ложь не отвечаю…

— Знающий человек? — тихо переспросил Дэнеш.

Эртхиа дернул плечом.

— И они пели. А я уж не стал. Так до утра их и слушал. Голоса у них дивные: то как дудка деревянная, то совсем человеческие. А утром проснулся и знакомой дорогой — в Аз-Захру. И пока ехал, песня во мне все вилась, вилась. И свилась. Вот только я в Аз-Захру, вот только ворота проехал, чувствую — все. Вся она, как есть, во мне, ни словечка не упустил, так не растерять бы! Я Веселого каблуками — и к тебе.

— Эртхиа…

Царь Аттанский дернулся, прижал дарну к животу. Акамие наклонился, дотянулся до него, коснулся колена.

— Ты скажешь, почему ехал через Суву?

Эртхиа поднял на него затравленный взгляд.

— Скажу. Если ты сам еще не понял, я скажу.

— Он понял, — шепотом сказал Дэнеш. Тогда и Акамие понял и испугался.

— Но ведь тебе Сирин предсказал, что ты с ним больше не встретишься? — также шепотом напомнил он.

— А! — стукнул по ковру Эртхиа. — Предсказал! И еще раз предсказал. И пусть предсказывает, если это его дело. А мое дело, если что не по мне, сделать так, чтобы было по мне. На то я и мужчина. По крайней мере, попытаться. Ты пойми…

И тут Эртхиа выложил все что знал и все что случилось с ним — ровно до той минуты, как ступил на висячую тропу.

— Я и не думал туда ехать. Я только к Аэши… А там дым и пепел. Куда же мне еще было? Дэнеш, как ашананшеди узнают про мор?

— Трава по-другому пахнет.

— Не знаю… когда я ехал, мне все дымом пахло.

Эртхиа спрятал лицо за рукавом и оттуда глухо и неровно продолжал:

— Старик, Сирин этот твой, сказал, все умрут. Все. А я еду искать, где у Судьбы в стене лазейка… Он обещал…

— Что обещал? — комкая в пальцах рукава, спросил Акамие.

Эртхиа, как разбуженный, уставился на него пустыми глазами. Кашлянул, держась за горло. Акамие отвернулся.

— Ну, не можешь, не говори. Так бывает.

— Что бывает? — захрипел Эртхиа. — У меня жены умрут, дети умрут! Атхи умрет… Останутся только Ханис и Ханнар. И… — тут Эртхиа прикусил язык. Про Ханиса-маленького, чей он сын, и так трое знают, не считая самого Эртхиа, ну и хватит. — А я еду! — он рубанул воздух рукой. — Сам не знаю, куда и зачем. Не знаю, клянусь моей удачей, не знаю. Не только тебе объяснить

не могу, но и сам не знаю. И поеду, потому что, если останусь, то все решено уже, а если…

Тут ему сдавило горло, и он согнулся, надсадно кашляя. Акамие придвинулся к нему, погладил по спине.

— Хватит, не говори. Все равно не сможешь. Я знаю — помню.

Эртхиа что-то возмущенно мычал, давя кашель и давясь кашлем.

— Я понял, понял, можешь не говорить. Не надо. Хорошо?

Дэнеш охватил ладонью лоб Эртхиа и приподнял ему голову, второй рукой придержал за плечо. Акамие тут же ловко поднес чашу с вином. Эртхиа выпил ее, почти полную, не отрываясь, и тут же повалился на ковер.

— Он спит, — успокоил Дэнеш.

— Что ты ему подсыпал? — растерялся Акамие.

— Когда бы я успел? Я так… пальцами.

О возвращении

Я стоял, прислушиваясь, в темноте. Не более чем один удар сердца разделял это мгновение — и то, эту вечно немую тьму — и звук, еще звенящий тайно и неуловимо где-то там, там, нет — здесь, более здесь, чем я.

Не могло быть между ними более одного удара моего сердца, ибо это и был первый удар моего сердца.

Но едва сердце отозвалось, звук пропал. Не угас, как угасают отголоски, когда струна дрогнет в последний раз, а исчез так просто и необратимо, будто его и не было никогда, но в то же время он и исчезнуть мог, только быв. Он должен был звучать, чтобы отозвалось мое сердце, которого не было, но едва оно стало, он перестал. Я не могу объяснить иначе.

Я знал, что источник звука существует. Здесь, где я не могу его слышать издалека. Когда я был дальше, я слышал его так же ясно, как мать и во сне слышит дыхание своего дитяти. Здесь же я не мог, пока не приближусь. В сердце роза. Я знал, что мне не будет покоя, пока я не найду ее.

Я стоял в темноте, стиснув кулаки. Что-то остро ткнулось мне в левую ладонь. Так, должно быть, клюет скорлупу изнутри птенец. Так толкается в землю упорный росток. Ткнулось и затаилось. И еще, и еще раз — остро, и жадно, и отважно. В такт ударам сердца.

Я раскрыл ладонь, поднеся к глазам. Что-то ужалило меня в самую середину ладони. Осветив вздрагивающие пальцы, заплясал язычок пламени.

Я зажмурился. Я не помнил боли. Я помнил, что она была.

Огонь.

Я знал, что тот костер давно угас, и зола остыла, и ветер развеял ее. Но там, где я был до сих пор, времени нет. И страх был столь же далек от меня, сколь неотступен. Всю вечность.

А здесь я помнил о нем, как о боли, что он был.

Огонь.

Яснее я помнил звук, исчезнувший, едва появился я. Я знал этот голос, как свой, я управлялся с ним едва ли не лучше, чем со своим. Гортань знает усталость, но не дарна, рожденная петь — и ни для чего более.

Где-то она пела — В сердце роза. Я должен был ее найти.

О встрече влюбленных

День ушел, его сменила ночь. Разошлись. Эртхиа, спящего, перенесли в соответствующие его достоинству покои, царь же удалился на ночную половину, пустовавшую с тех пор, как жены Лакхаараа переселились в его прежний дворец, который принадлежал теперь его малолетним сыновьям. Только старший из них, Джуддатара, оставался в царском дворце и воспитывался как наследник нынешнего царя, своего дяди. С ним жила и его бабка, вдова царя Эртхабадра, старшая из его жен.

Дворцу положена ночная половина, ночной половине положены евнухи. И они томились от безделья, обходя пустующие комнаты, покои и купальни, обширные залы с бьющими струйками прохладной воды в широких мраморных чашах, крохотные дворики, мощеные пестрой плиткой, тенистые сады. Или, позевывая, играли в шнурки и камушки на широких ступенях и в тени галерей. Или строили друг другу козни от нечего делать. Обрести хоть какое-то подобие власти при нынешнем правителе они и не надеялись. Ну, кроме тех, кто прислуживал царице Хатнам Дерие и кто надзирал за рабынями на хозяйственных дворах.

Лишь несколько примыкавших к Крайнему покою помещений царь взял под опочивальню и маленькую библиотеку, где находились книги, которыми он пользовался чаще других, и где вечерами, как когда-то отец, он оставался подолгу без сна, приводя в порядок мысли и впечатления прошедшего дня и обдумывая все, чем должно озаботиться завтра.

Здесь же часто сидел с ним рядом Дэнеш, наигрывая на дуу и произнося стихи.

Настало время им узнать друг друга, не так торопливо и жадно, как в дни последней болезни Эртхабадра ан-Кири, но пристальнее и нежнее. Свиток за свитком разворачивал перед Дэнешем нечаянный царь — любимые, доверяя в них самого себя его мнению и суждениям, ибо сказано: выбирая книгу, выбираешь себя, и еще: Судьба заглядывает через плечо, отмеряя удел читающему.

Многие из свитков вместо имени автора несли на себе ссадины от ноздреватого камня, которым счищают с пергамента негодные знаки и слова, чтобы переписать заново. Но имя не заменишь иным, и свитки оставались безымянными, только стертое имя, подобно срезанной косе, роднило и уподобляло их тому, чей торопливый калам вызвал из небытия чудные, опьяняющие слова, которые читать и произносить вслух было

восторгом и счастьем. Приняв царство, Акамие ан-Эртхабадр среди первых распоряжений сделал и такое: отыскать во всех собраниях безымянные списки и доставить во дворец. И сам, едва улучив час-другой среди дел правления, довольствуясь лишь коротким сном, выбирал те, которые живостью слога и сияющим благородством выдавали свое происхождение. И все же, не доверяя себе, звал Дэнеша и советовался с ним. Удостоверившись, своей рукой выводил на прежнем месте: Тахин ан-Араван из Сувы. И хранил эти свитки в особом ларце, вместе с преданием о царе Ашанане и жреце по имени Сирин.

Дэнеш также открывал перед Акамие самые основания, на которых зиждилось его существо. Не в записанных текстах, а в сумрачных и яростных речитативах на гортанном отрывистом языке ашананшеди. Акамие не требовал им перевода, в самих звуках находя недоступный его сознанию, но ознобом, гусиной кожей, гудящей дрожью в самом хребте постигаемый смысл. И так же было, когда Дэнеш показывал то, чего не мог объяснить словами, и это было как танец, а плащ цвета сумерек и грозовых туч взвивался, кружился, то парил, то стремительными струями обтекал со всех сторон гибкое тело лазутчика, так что казалось, что и нет у него другого тела, кроме плаща, и весь он — движение сумрачного воздуха и тени, но вдруг выплескивались из-за спины две мерцающие синевой ослепительные струи, то ли молнии — и начинали плясать вокруг дымного смерча, буревой тучи, и Акамие стонал, оттого что это было прекрасно и неуследимо.

И бывало, под утро они изнемогали от счастья и могли только, соединив руки и глядя друг другу в глаза, засыпать от медово-тяжкой усталости.

И бывало, что Акамие, утомленный делами правления, засыпал, едва вымолвив два ласковых слова, а Дэнеш часами сидел у его ложа, сторожа его сон. Вещее сердце ашананшеди не поднимало тревоги: никакая опасность не грозила царю. И Дэнеш был слишком осторожен, чтобы в воображении рисовать картины бедствий, которые сделали бы его избавителем и защитником, да и не было ему в этом нужды — уже был он и тем и другим.

Но не спал.

Сказано: влюбленные — пастухи звезд в бесконечности ночи.

Умом Дэнеш понимал все, что Акамие беспомощно и страстно пытался ему объяснить. Царство есть царство. Царство есть царь.

Но страсть, но плоть…

А как легко казалось, когда они остались вдвоем в тронном зале, и светильник Дэнеша оставался в руках Акамие. И как

оказалось невозможно.

И бывало, что один сидел Акамие перед наклонным столиком в ночном покое, покрывая пергамент торопливыми заметками для памяти и вопросами, которые назавтра задавал своим советникам, и один выходил на балкон, и один возвращался в покой, и один читал и ложился спать. Потому что отослал Дэнеша, а зачем — они оба знали.

И месяца не прошло. И вот позвал, послал голубя, взмолился: не могу без тебя. Но, не успев налюбоваться, нарадоваться — испугался.

Едва войдя в ночной покой, нетерпеливо огляделся. Дэнеш тут же шагнул к нему, вылился из тени, как струя из потока. Быстро заговорил:

— Ты проснулся и не знал, что я смотрю на тебя, ты встал, и ходил, и двигался, и вокруг тебя ходили и двигались другие, и они были другие, а ты был — ты, и ты один такой в этом мире, на обеих его сторонах, ни прежде не было такого, ни после не будет, и это было видно, как никогда. Ты был в белом, как в прежние дни, и под рубашкой были видны твои лопатки, тонкими крылышками они двигались под рубашкой, и у меня что-то стало с сердцем и с дыханием. А потом на тебя надели красное, твердое, и лопаток твоих не стало видно, и ты ушел. Я остался в саду возле беседки, где ты спал, потому что не хотел видеть тебя царем. Я оставался там и смотрел на тебя, каким ты навсегда остался возле этой беседки. Потом услышал Эртхиа и пошел во дворец.

— Руку… — потянулся к нему Акамие.

Дэнеш протянул обе — царь схватил его запястья, наклонился низко, прижался лицом к его ладоням.

— Прости. Зря я позвал тебя. Нет никакого дела…

— Знаю, знаю.

Акамие вздохнул, выпрямился. Так больно и так хорошо глядеть в глаза другу, не скрываясь, не таясь. Но нельзя долго.

— Когда звал — не было дела. Теперь есть.

— Я служу тебе.

— Да.

Выпустил руки ашананшеди, отошел к окну, оттуда оглянулся. Дэнеш ни шагу не сделал следом. Акамие кивнул. Заговорил, как кидаются с моста в реку, чтобы не выплыть.

— Ты поедешь с Эртхиа. Куда бы он ни ехал — ты с ним. Я никого не знаю надежней. Ты ему будешь нужен.

— А тебе? — с усмешкой перебил Дэнеш. — Уже нет?

Акамие отвернулся.

— Не мучай ты меня.

— Это я — тебя? Ты ничего не путаешь, царь?

Но не сделал к нему ни шагу.

— Хватит, — строго сказал Акамие. — Я не хочу говорить об этом. Мы так давно об этом говорим, что сказали уже все что можно. И что нельзя.

— Да, уже год.

— В самом деле, хватит.

— Ты совсем стал царем.

— Что же делать. Иначе невозможно.

— Значит, я отправляюсь с твоим братом неведомо куда. Туда, куда ты не сможешь послать голубя в минуту слабости.

— Не говори со мной так. Ты во всем прав. Хочешь, я скажу по-другому?

— Ты не отошлешь меня сейчас. Разве тебе неизвестно, что против тебя замышляют? Я знаю, что Кура ан-Джодия из Риды с некоторыми еще составили заговор, и им удалось склонить на свою сторону одного из дворцовых евнухов… ладно, это моя забота. И еще этот северянин ан-Реддиль со своими непотребными песенками. Евнухи во дворце — от них всегда жди беды, если им нечем заняться, а ты оставляешь их в праздности. Им было бы на руку устранить тебя и посадить на престол царевича. Он скоро войдет в возраст и при нем много власти получит тот из них, кто ему угодит. И всадники недовольны. Им нужна война, нужна добыча, а уже два года после Аттана не было походов.

— Так вот, — сказал Акамие, не обращая внимания на его слова. — Ты упрекнул меня, что я стал царем, а тебе ничего не досталось. Но и я потерял все. Где ты видишь меня? Можешь ли ты до меня дотронуться? Можешь ли спросить так, чтобы ответил я, — я, а не повелитель Хайра? Мы с тобой знаем, что закон не нарушен. Но и так, как сейчас, мы преступники. Чтобы Судьба нас не разлучила, разлучимся сами. Подвергнемся пытке, пока не пришел карающий. Я боюсь потерять тебя совсем — отсылаю далеко, чтобы ты вернулся. Тебя дождусь, и каждый час будет отравлен — я знаю, что говорю, яд мне знаком, и смертельный яд. Пока ты не вернешься, я буду умирать. Но ты не спеши обратно. Вместе мы преступники, но разлука и верность — наше оправдание и победа.

— Сказано хорошо. Эртхиа сложил бы из твоих слов песню.

— Мне больно, — ответил Акамие. — Как тебе.

— Не верю, — сказал Дэнеш и повернулся, чтобы уйти.

— Стой, лазутчик, — тихо-тихо сказал Акамие, и Дэнеш замер. Он обернулся и взгляд его был темен.

— Я еще царь Хайра и ты еще служишь мне, — глядя ему в

глаза сказал Акамие. — Когда отпускал твой народ, я не отпустил тебя, ты помнишь? Я не отпустил тебя. И не отпущу. Я посылаю тебя с поручением. Береги моего брата, такова моя воля — твоего царя и повелителя. Иди и не забывай обо мне ни на миг. Иди.

Минуту или дольше они смотрели прямо в глаза друг другу, и ни один не отвел глаз. Потом Дэнеш согнулся, коснулся руками ковра и стремительно вышел.

И больше они не виделись.

О пастухах звезд

Эртхиа очнулся среди ночи и не испугался, как всегда пугался, просыпаясь в новом месте, оттого что не мог понять, где он, что он? Здесь все: мягкость и упругость постели, и вес покрывала, и теплые, душноватые ароматы, и гремящий хор сверчков за окном, и терпеливая нежность неяркого светильника — все было своим, и Эртхиа приснились его детские сны, и он проснулся ребенком. Сбившись, как давно не сбивался, в комок и зажав в кулаке край одеяла, Эртхиа лежал и лежал, а сверчки пилили серебряными напильничками ночь, светильник заботливо рассеивал мрак, и запахи дома и детства окутывали и пеленали, чтобы в странствиях оставалось с Эртхиа хоть немного домашнего тепла.

Но Эртхиа проснулся еще раз — уже взрослым, и без пощады к самому себе заставил себя вспомнить, кто он и где и почему. Он поднялся, потряс головой и сильно растер лицо ладонями. Как это получилось, что он разговаривал с братом и вдруг оказался в спальне, спящий безмятежно, и не помнит как? Не столько он, в самом деле, выпил.

Эртхиа выглянул в окно, посмотрел на небо, прикинул, что до утра еще довольно долго. Интересно, не заблудится он теперь во дворце? Надо пойти пошарить в библиотеке: среди свитков и сшитых книг, которые так рьяно собирал его брат, должны найтись описания земель и путей, дорожники по странам, окружающим Хайр, а может быть, и лежащим дальше. Эртхиа огляделся в поисках одежды: хорошо он уснул, что не чувствовал, как его раздевали. Нет, ну не столько. Ну, чашу-другую… даже на дорожную усталость этого же мало, мало, чтобы вот так.

Одевайся, Эртхиа, сердце, — ласково побранил себя голосом брата. И снова огляделся.

Вот дарна. Правильно, что ее перенесли сюда вместе с ним. Положили на подушках, как было всегда у него заведено. Вот сумки с дорожным припасом, лежат на полу у входа. Колчан с налучем повешены на стену. Все как дома. Дома и есть.

Приоткрыв завесу на двери, заглянул Акамие.

— Не спишь?

— Вот, проснулся. А ты что?

— Беспокоился, как ты…

— Ничего. Лучше не спрашивай. Не знаю, рассказал ли бы я тебе про долину, если бы мог…

— Все равно не сможешь, — согласился Акамие. — Ничем мы друг другу не поможем. Прошли те времена.

— Да, — вздохнул Эртхиа. — Дурак я был, что согласился на царство. Дважды дурак — что тебя уговорил.

— Да нет, Эртхиа. Если бы я не стал царем, кем я мог быть в Хайре?

— Зачем в Хайре? Я бы тебя с собой взял — в Аттан.

— А сейчас хорошо ли в Аттане?

Эртхиа потемнел, вздохнул.

— Нигде не хорошо. Что у тебя здесь?

— Всадники недовольны. Всадников можно занять только войной. Евнухи недовольны. Для них надо бы заселить ночную половину, чтобы и им было чем заняться. Но Хайру не впрок будут новые земли, а я не хочу жениться. До совершеннолетия Джуддатары еще не один год. До сих пор ан-Эриди удавалось убеждением и силой сохранять все как есть. Но теперь он обеспокоен. Да что там… Теперь, когда ты уезжаешь, зачем тебе везти ссобой еще и мои тревоги? Разве своих не хватает?

— Хватает. Но таких, чтобы не спать по ночам…

— Да нет же, я не из-за этого. Просто беспокоился за тебя. Ты так внезапно уснул. И еще я хотел сказать. Ты, пожалуй, возьми с собой Дэнеша. Я пошлю его с тобой. Он знает все земли вокруг Хайра.

— Да нет же, он Шур, он ходил в Аттан. А я думаю сначала к Побережьям, а оттуда за Море.

— Ну что же? Дэнеш бывал и в пустыне. В Бахарес кто из ашананшеди не ходил? Они коней только там берут. И Дэнеш своих мышастых… До Уджа, правда, не доходил, но…

— Ты много о нем знаешь? — спросил Эртхиа.

— Да, — признался Акамие. — Лучшего спутника тебе не найти, а больше я ничего не скажу.

— Не говори. А он согласится пойти со мной?

— Он ашананшеди. Я сказал, и он пойдет. И, он говорил мне, вы ведь побратимы?

— Мы? — Эртхиа задумался.

Не совершали они с Дэнешем обряда. Но если ашананшеди так говорит…

— Мы — да.

— Я сказал ему, что он пойдет с тобой.

— Уже сказал?

Акамие кивнул.

— Ну, — решился тогда Эртхиа, — не годится мне отменять твои приказания.

— Правда. Ты спи теперь, а с утра я прикажу подобрать все книги, какие есть в моей библиотеке о тех местах, через которые вам придется идти.

— Я как раз хотел пойти в библиотеку и заняться тем же.

— Не спится?

Эртхиа пожал плечами:

— Я выспался уже.

— Тогда пойдем, — кивнул Акамие. — Пойдем сейчас. И еще я хотел показать тебе две дарны от лучших мастеров, может быть тебе понравится одна из них или обе — тогда они твои. Я уже давно хотел отослать их тебе, да сомневался, хороши ли.

— Если ты выбирал, хороши.

— Одна черная, вторая отливает серебром. Конечно, им далеко до той красной, которая у тебя от Тахина…

— Черная и серебристая? — придержав за рукав, остановил его Эртхиа. — Око ночи и Сестра луны.

— Вот хорошо! — обрадовался Акамие. — Эти имена им подходят как никакие другие. Вот и заберешь их.

— Куда же мне теперь — в дорогу? Но я посмотрю. А то шел бы ты спать, брат.

Акамие покачал головой.

А по дороге сказал:

— Я часто не сплю по ночам. А там, в библиотеке, сейчас наверняка Хойре — единственный из евнухов, кого я всегда рад видеть. Он банук, ты сразу увидишь. Но ты не подавай виду, что заметил.

— Да, конечно. Гордое племя. Как он оказался в евнухах?

— Я не спрашивал. Но вот что думаю: у матери Айели было девять дочерей старше его, и хозяин ждал большой выгоды для себя. Мог он не продать какую-то из них, а поступить, как поступил с их матерью? Оставить у себя, дать в мужья красивого раба, и получить еще красивых рабов на продажу? Я не знаю, какова разница в возрасте между Айели и его сестрами, и может ли Хойре быть сыном старшей из них… Но почему бы мне не думать так?

— А похож?

— Я не видел Айели до того, как его изуродовали. Не могу сказать. Но цвет его кожи был в точности такой. А историю его матери я слышал от него самого. И я часто о нем вспоминаю. Когда не спится.

— Только ли память не дает тебе спать, брат? — спросил Эртхиа.

— Пастухи звезд? — чуть улыбнулся Акамие. — Все мы, брат, пастухи звезд.

— А кто она?

— Она? — удивился Акамие.

— Она прошла мимо и не сделала мне знака, — с улыбкой

напомнил Эртхиа.

— Кто — она? Какого знака? О чем это ты?

— Такая — слово в слово — была приписка в конце твоего письма ко мне.

— Да? Вот как раз и спросим у Хойре.

О недозволенной любви

Это было прошлым летом.

Девушку звали Юва, и он как виноградину катал ее имя языком по небу, боясь выпустить, обронить.

Рабыня, не носящая браслетов, из тех, что состоят при кухне или кладовых, на хозяйственных дворах. По утрам она выносила подушки и стеганые одеяла, расстилала их в тени обширного навеса, колотила гибкой плетеной выбивалкой, по нескольку раз в день переворачивала. Из-под подола белой рубахи мелькали бронзовые щиколотки и круглые светлые пятки.

Не было на ней никаких украшений, только серьга с именем господина. Но так ярки были смуглые руки из закатанных рукавов, и стройна шея, и тяжела охапка черных кудрей, перехваченная на затылке — каждый завиток как раз с усунскую дымчатую виноградину, будто огромная гроздь перекатывалась у нее за плечами, касаясь стянувшего талию желтого платка. Широкий его угол облегал бедро плотно, как лепестки прилегают в бутоне, а из-под него разбегались складки.

Она сновала туда-сюда, наклонялась, взмахивала руками, и белая рубашка над платком то провисала, то натягивалась, обрисовывая подобные чашам груди, упруго колыхавшиеся в своем, отдельном ритме.

И это было — красиво. Она была — красота.

Ростом мала, в талии тонка, с яркими черными глазами в тени печальных ресниц, с живым румянцем на смуглых скулах.

И он смотрел и смотрел на нее, не помышляя о большем.

То и дело во двор заглядывали стражники, конюшие помоложе, а то и повара, подходили к ней, заводили разговор, воровато озираясь. И, наткнувшись взглядом на неподвижную фигуру в отдалении, спешили убраться восвояси.

Девушка оглядывалась, но никого не замечала: он отступал в темноту дверного проема, и она, ослепленная солнцем, не могла его увидеть.

А потом однажды он не спрятался, остался стоять, где стоял, и она испугалась, согнулась, надломив тонкую талию, и с удвоенным усердием принялась переворачивать и перекладывать подушки.

Он ушел.

На другой день он старался держаться в тени, показываясь лишь самовольным ухажерам. Девушка знала, что он здесь, и не привечала их. Она и так не больно-то их привечала. В царском дворце порядки строгие. Может, на кого она и заглядывалась, да

только тайный соглядатай этого не заметил. И был рад.

Хотя что ему-то?

Смотреть только, как под ветром рубашка льнет и ластится к ногам, и лепит ее тело, неустанно меняя очертания складок, будто подбирая узор ей к лицу.

И он сел на пороге, прислонив голову к косяку. Юва уловила краем глаза движение, потянулась — и отдернула взгляд, как пальцы от горячего.

И еще много дней он следил за нею из тени, так много дней, что приблизилась осень, и стали выносить и распарывать набитые шерстью одеяла, мыть, и сушить, и чесать шерсть, и снова наполнять ею огромные мешки, и простегивать их замысловатыми узорами — прямо во дворе, под навесом. Множество девушек сходилось теперь по утрам во двор, и мелькали смуглые ноги под белыми подолами, и проворные руки переворачивали шерсть и переносили одеяла, и мелькали вверх-вниз с блестящими иглами в пальцах. И, чтобы не случилось недозволенного, пристально надзирали за этим двором евнухи, прохаживаясь между разложенных одеял и перин, между сидящих, снующих, поющих и смеющихся, вздорящих и злословящих девушек. И у каждой калитки, у каждой двери встал страж, и были они между собой так же одинаковы, как одинаковы были девушки, как одинаковы воробьи в стае, как одинаково все, чего много.

Но та, которую звали Юва, безошибочно узнавала его, потому что только он один из всех не смелсмотреть ей в глаза. И он узнавал ее среди всех раньше, чем успеет разглядеть, ведь сердце зорче глаз и безошибочней. И так они едва касались друг друга взглядами, пока не нагрянула зима, и одеяла перестали сушить и проветривать во дворе.

Он долго не мог найти ее, а спросить у старших слуг не смел: ему было стыдно произнести ее имя при постороннем, словно этим он обнажил бы ее саму и, может быть, рядом с нею — себя, в своей ущербности и неполноте.

А она оказалась уже на кухонном дворе и чистила там закопченные котлы, и строгие надсмотрщики не позволяли ей подолгу отогреваться у очага, а может и позволили бы, но ведь не просто так, и один из поваров тоже думал, что сможет с ними договориться сам, если конечно… — о чем он и толковал ей, когда она дышала на покрасневшие руки, все глубже пряча в них лицо. И Хойре с наслаждением вытянул повара плетью вдоль спины.

Она взглянула так, будто ждала его все это время, но, может быть, она ждала не его, а только избавления.

— Иди за мной, — обронил Хойре и пошел прочь, а она, которую звали Юва, — шла за ним.

И он привел ее к надзиравшему за передними покоями дворца и сказал:

— Не нужна ли тебе толковая и расторопная служанка?

— Может быть, может быть! А как то, о чем я говорил тебе?

— Может быть… Но чтобы здесь ее никто не обидел!

— Так как же?

— Да, — твердо сказал Хойре, радуясь, что девушка ни за что не поймет, о чем они. — Только позже, я сейчас занят.

Спустя время открылось, что многие из тех, кому доверено благосостояние царского дома, творят бесчинства и непотребства. Такая неразбериха тогда была во дворце, у которого то и дело менялись хозяева и не было твердого порядка. Новому царю пришлось принять строгие меры к тому, чтобы навести порядок. Среди прочих был смещен и наказан надзиравший за передними покоями. А тот, кто занял освободившуюся должность, принял Юву в числе других рабынь, натирающих полы, растапливающих очаги, чистящих ковры и подушки в залах. Хойре выждал ровно столько, сколько для этого было нужно, прежде чем обратиться со своей жалобой к повелителю.

О признаках любви

Однажды ночью Хойре тайком прошел в библиотеку. Нужная книга отыскалась почти сразу. Он поставил принесенный с собой светильник на окно и устроился под ним со всем удобством, зная, что, кто бы ни заметил сквозь щели в зимних ставнях свет в окне библиотеки, решит, что это царь, по своему обыкновению, засиделся за чтением. За спину Хойре сунул несколько подушек, ноги укутал полами зимнего халата, на колени положил раскрытую книгу и придерживал ее, едва высунув кончики пальцев из рукава.

«О полюбивших с первого взгляда», — прочитал евнух.

«Часто любовь пристает к сердцу с первого взгляда, и такая любовь…»

Любовь? Но он не это ищет, сказал себе Хойре и принялся усердно перелистывать страницы.

«О повелении взглядом»

«Им разрывают и соединяют, и угрожают и устрашают, и отгоняют и радуют, и приказывают и запрещают; взглядом и унижают низких и предупреждают о соглядатае, им смешат и печалят, и спрашивают и отвечают, и отказывают и дают… Строгий взгляд означает запрещение чего-нибудь; опущенные веки — знак согласия; долгий взгляд указывает на печаль и огорчение; взгляд вниз — признак радости; поднятие зрачков к верхнему веку означает угрозу; поворот зрачков в какую-нибудь сторону и затем быстрое движение ими назад предупреждают о том, кого упоминали; незаметный знак быстрым взглядом — просьба; сердитый взгляд свидетельствует об отказе; хмурый и пронзительный взгляд указывает на запрет вообще. Остальное же можно постигнуть, только увидев».

Хойре перелистал несколько страниц назад. Вот то, что нужнотеперь: «О намеке словом». Какие слова он мог сказать бы, чтобы дать ей понять?.. Что понять? Хойре пробежал глазами первые строки.

«Для всего, к чему стремятся люди, необходимо должно быть начало и способ, чтобы достигнуть этого, и первое, чем пользуются ищущие единения и любви, чтобы открыть то, что они чувствуют, своим возлюбленным, — намек словом».

Что же, сказал себе Хойре, здесь написано то, что написано. И я читаю то, что читаю. Я пришел за этим. И некуда бежать от написанного здесь про меня и про нее: она — возлюбленная. А я — ищущий любви. И единения. Какого, о сумасшедшая распорядительница этого мира? Почему это со мной? И что —

это?

— Что это? — прошелестел над ним нежданный голос. — Ночной дух в образе евнуха или просто евнух, читающий о любви? Во что легче поверить?

Похолодев и совершенно растерявшись, Хойре поднял глаза и увидел царя. В теплом стеганом халате, накинутом поверх рубашки, обутый в ночные туфли на меху, он стоял совсем рядом.

— Дай сюда! — царь протянул руку. — Зеленый переплет, уджская кожа с золотым тиснением, в локоть высотой. Готов спорить на что угодно, это «Ожерелье».

Хойре только и мог, что захлопнуть книгу, перед тем как предъявить ее требовательной ладони повелителя. Царь пристально посмотрел на него, прежде чем принять. Хойре знал уже, что царь любит, чтобы ему смотрели в глаза. Царь сам помнил, как много может скрываться под опущенными ресницами принуждаемых. И Хойре заставил себя выдержать взгляд повелителя, как будто и в самом деле нечего было скрывать. Царь сделал тонкое движение бровями, взял книгу из рук евнуха.

— Зачем тебе? — спросил он, подойдя к окну, к светильнику, и придирчиво перелистывая страницы, как будто они могли подсказать, уличить незваного чтеца.

Хойре облизал губы.

— Повелитель, — начал он, чтобы не молчать и молчанием не навлечь худших подозрений. — Я читал эту книгу, чтобы… — и голос его обрел уверенность, — чтобы убедиться… Там есть глава о признаках любви.

— Да, вот она, — подтвердил царь, постучав кончиками пальцев по странице. — И что тебе до признаков любви?

— А как же? Как я смогу воспрепятствовать недозволенному во дворце моего повелителя, если не сумею различить самых начальных признаков? Совсем недавно…

Царь невесело усмехнулся.

— Я вспомнил. Это ведь ты жаловался на домогательства и принуждение? Ты полагаешь, это бывает от любви?

Хойре спокойно ответил:

— Бывают иные причины, их достаточно. Но любовь в числе причин.

Царь долго смотрел на евнуха и взгляд его был непонятен. Хойре ничего хорошего для себя не ждал от этого царя, не любившего евнухов в силу известных всему Хайру обстоятельств. И вот в присутствии этого царя он рассуждал о любви и надзоре за влюбленными!

— Перечисли, — потребовал царь, — признаки любви, которые здесь упомянуты.

Проверяет, понял Хойре: не поверил.

— Первый из них, — немедленно ответил евнух, — долгий взгляд. Это когда следят глазами за возлюбленной, точно хамелеон за солнцем.

— Верно.

— Еще когда начинают разговор, который обращен не к кому иному, как к любимой, хотя говорящий стремится показать, что это не так. Его притворство ясно видно тому, кто наблюдает. Или когда посреди разговора смолкают, прислушиваясь к речам любимой.

— Замечал ты такое? — спросил царь рассеянно, доставая чернильницу, каламы и чистые свитки.

— Нет, повелитель, — честно ответил Хойре.

— Продолжай.

— Есть еще признаки, и они таковы: когда спешат к тому месту, где пребывает любимая, и стремятся сесть вблизи нее и к ней приблизиться. Любящий бросает все занятия, пренебрегает всяким важным делом, заставляющим с ней расстаться, и замедляет шаги, уходя от нее.

— И как? Встречались ли тебе такие признаки в ком-либо из моих слуг? Пренебрегает ли кто-нибудь своими обязанностями, следуя за рабыней из моих рабынь?

— Нет, я не замечал небрежности в твоих слугах, — поспешил ответить Хойре.

— Тогда продолжай и доведи перечисление до конца.

— Эта глава велика, а ночь уже перевалила за середину… Я боюсь утомить повелителя.

— Ничего, пока ты говоришь, я обдумываю свое дело. Итак?

— Еще признак: человек отдает то, в чем раньше отказывал, для того, чтобы проявить хорошие качества и вызвать к себе внимание. Эти признаки бывают в самом начале, раньше, чем любовь овладеет и схватит мертвой хваткой. К признакам любви относятся также нетерпение, овладевающее влюбленным, и его явный испуг, если он внезапно увидит любимую или вдруг услышит ее имя.

— Далеко все это от тебя! Ты что, наизусть выучил?

— Меня учили не для той службы, которую я исполняю в твоем доме, повелитель, — тихо, но без смущения пояснил Хойре.

— Для ночной половины? Старшим? Вот почему ты образован! Хорошо ли ты пишешь? Иди сюда! — позвал царь, указывая на наклонный столик для письма. — Посмотрим, на что ты годишься.

Хойре выпутался из обвернутой вокруг тела одежды, перенес к столику светильник. Развернул тонкий пергамент, заправил

края под планки, перебрал каламы, проверяя пальцем заостренные кончики, взболтал чернила, и с готовностью посмотрел на царя.

— Пиши так…

Завеса на двери откинулась, и на пороге показалась девушка в обнимку с охапкой хвороста. У Хойре сердце остановилось раньше, чем глаза ее узнали. Остановилось, а потом кинулось нагонять упущенные мгновения, так что Хойре показалось, что халат вздрагивает у него на груди.

Девушка под одобрительным взглядом царя прошла к стенной нише, опустилась перед ней на колени и принялась разводить огонь.

— Пиши… — заново начал царь. — Что это с тобой?

— Со мной ничего, — ответил Хойре. — Пишу…

И Хойре под диктовку царя покрыл лист ровными красивыми строчками, и показал себя искусным в разных видах начертания знаков, и царь остался доволен. Только в одном еще испытал евнуха.

— Что ты думаешь о том, что я прежде подчинялся таким как ты, а теперь — правлю Хайром?

Хойре положил калам аккуратно, оперся руками о крышку столика, спокойно поднял глаза:

— Судьба переменчива.

— Но не все довольны переменами. И многие из таких, как ты, хотят, чтобы стало, как было прежде. Многие не хотят забыть то время, когда я подлежал их плети.

— У Судьбы для перемен любимое средство — время, а время, повелитель, многие представляют рекой, но время реке не подобно, и нельзя в нем плыть, хотя бы и с трудом, куда хочешь, и привести изменяющееся к неизменности. Но время, если это поток, то это поток камней, и в нем нет уцелевших.

— Так не уцелею и я?

— Свой час назначен и величайшему из царей, — главное, глаз не отводить, чтобы царь не подумал, будто Хойре, как прочие, ждет этого часа с нетерпением и предвкушая радость.

— Но между тем, что вчера, и тем, что завтра, лежит то, что сегодня, и оно-то имеет силу, — продолжал Хойре. — Ты мой повелитель, данный Судьбой, и твою милость я хочу заслужить, не ожидая милости того, кто придет после. И заслужить не так, как я предполагаю для тебя, а так, как тебе, господин мой и владыка, угодно.

Под утро царь отпустил его, наказав передать начальнику над писцами, чтобы взял его к себе. С тех пор служба Хойре была в передних помещениях дворца, и он занимал свое место в ряду

писцов, когда царь требовал их к себе.

И Юву он видел каждый день. Она носила платья из тонкого полотна с вышивкой, браслеты на руках и на ногах и ожерелья, а маленькое покрывало, накинутое на голову, не прятало ее спокойного лица.

Теперь, когда они встречались, Хойре чуть шевелил губами, а девушка в ответ делала ему знак бровями. Так они приветствовали друг друга незаметно для посторонних. И это вошло у них в привычку и стало обычаем.

О том, как составляли дорожник для Эртхиа

В библиотеке пахло кедром и сандаловым деревом, сухими травами и цветами, горелым маслом. Одинокий светильничек отражался в мелких цветных стеклышках, вставленных в кружевной переплет окон, чтобы защитить собранные во множестве книги от солнечного света, от ветра, несущего пыль и иссушающего пергаменты, от осенней сырости и от насекомых, слетающихся на свет и любящих устраивать гнезда в укромных промежутках между витками рукописей, в переплетах и футлярах. И травы, высушенные пучки которых были заложены в углах полок, и неподвижные, внезапно срывающиеся с места и застывающие опять ящерки на стенах и потолке также должны были защищать хранимые здесь сокровища.

Хойре сидел, скорчившись у столика, и при слабом колеблющемся свете переписывал какую-то книгу.

— Что ты портишь глаза? — рассердился Акамие.

— Масло дорого… — стал оправдываться евнух, проворно распутав ноги и уже стоя перед царем на коленях, но не выпустив из рук калама.

— Хороший писец дороже того кувшина масла, который ты изведешь. Зажги все светильники — сейчас нам придется поработать. Вот государь Эртхиа ан-Эртхабадр, мой старший брат. Выполняй все, что он прикажет. Давай сюда все дорожники, описания земель, сказания о походах и странствиях… Много их у нас.

И правда, Акамие, лишенный и прежде и ныне из-за своего положения возможности путешествовать, с особым тщанием собирал книги о странствиях и дальних землях. А также о лечении болезней, строительстве зданий, устройстве мира, об обязанностях правителя, о соответствии и соразмерности звуков и цветов и о других вещах, неисчислимых, до конца не постижимых и никем не постигнутых, но вновь и вновь объясняемых каждым на свой лад.

Хойре поднялся и стал фитилем переносить огонь от светильника к светильнику. Эртхиа увидел, что он молод, высок, длинноног и длиннорук, как бывают оскопленные в детстве, а кожа у него черная, волнистые волосы собраны в пучок на макушке, как у всех евнухов в Хайре, и одет он так же — в широкие штаны и расшитую безрукавку, только плети нет за поясом. Лицо у евнуха было красивое, как пристало бануку, и

умное. Но Эртхиа не почувствовал к нему доверия.

— И вот, — вспомнил Акамие, — кто писал письма в Аттан моему любезному брату государю аттанскому?

— Многие писали, — ответил Хойре, раскладывая перед царем отобранные свитки. — О каких письмах спрашивает повелитель?

— Последнее я имею в виду — то, где приписано «она прошла мимо и не сделала мне знака».

Хойре выронил книгу и наклонился низко, чтобы подобрать высыпавшиеся из нее листки с пометками.

— Даже не знаю, — задумчиво покачал он головой, не поднимая, однако, лица на свет. — Так сразу не вспомню. Но я узнаю и немедленно доложу повелителю, — торопливо заверил он.

— Наверное, — рассудил Эртхиа, — этот несчастный был так удручен размолвкой со своей возлюбленной, что не смог выбросить свою печаль из головы, даже находясь на царской службе. Накажи-ка его примерно, когда найдешь, а от меня передай: пусть не обращает внимания. Все они таковы, женщины, и баловать их нельзя.

— Ладно, оставь пока. Сейчас у нас дело важнее.

Втроем они просидели, разворачивая карты, вороша книги, отмечая и зачитывая отрывки, подходившие к их целям, споря и советуясь, до рассвета. И евнух очень толково отвечал на вопросы и даже спорил с повелителем. Когда язычки огня потускнели в сиянии утра, Эртхиа потянулся и сказал:

— Я больше уж ничего не пойму и не запомню. Почему бы, брат, не позвать сюда Дэнеша? Он дополнил бы сведения из того, что ему известно.

— Я велю составить сводный дорожник. Вот, Хойре, займись этим. Возьми столько писцов, сколько тебе понадобится, и немедленно усади их за работу по нашим пометкам. Не надо переписывать дословно, а только важное, и пусть излагают кратко и внятно. Потом можешь отдохнуть, но присматривать не забывай. Поручаю это тебе. И пусть перерисуют эти карты и сведут в одну. Дня за два можно с этим управиться. А с Дэнешем, брат, — Акамие покивал головой сам себе, — с Дэнешем вы сможете обсудить уже готовый дорожник. Ему тоже надо собираться в путь. Пусть… Времени у вас хватит, пока вы еще доберетесь до пустыни.

— А там подует жаркий ветер, кости расплавятся и мозг вытечет, — напомнил Эртхиа из только что прочитанного.

— Доброго же пути, Эртхиа! — улыбнулся Акамие.

Так все время, пока Эртхиа гостил в Аз-Захре, прошло в

приготовлениях к дороге и разговорах о ней.

О побратимах

Пять дней пути отделяли Атарика от столицы, от дома, от молодой жены, и смерть была у него за спиной, — но за спиной, а впереди не чаял встретить ее. Но если кому не суждено вернуться домой вовремя — не вернется. Окольными путями идет Судьба.

Как подошло к полуночи, надо было дать отдых коням, и Атарик заночевал прямо у дороги: седло под голову да завернулся в плащ, а наутро поднялся и продолжил путь. Для верности проехал хан, в котором ночевали накануне с государем Эртхиа, и поздно ночью доехал до предыдущего. Поручил коней сонным слугам, на негнущихся ногах проковылял к едва теплившемуся очагу, там ждал, то и дело роняя на грудь тяжелую голову, пока раздуют угли и подогреют оставшуюся бобовую похлебку. Теперь два дневных перегона отделяло его от дымного столба над степью. Атарик все думал, как скажет своей Шуштэ, что нет у нее больше родичей. Степнячка за род держалась крепко и больше всего сокрушалась, что родные теперь знаться с ней не хотят. Обиды не держала: все по справедливости. Но сердцем рвалась к своим. А теперь и не к кому ей… И Джуши не прискачет в город тайком от старших — с приветами от ровесников, комками твердого соленого сыра и мехами в подарок. Не от кого теперь и приветы передавать.

Проглотил похлебку через силу, засыпая над миской. Хозяин, зевая, извинялся, что стоит у него большой караван, идущий на Побережья, все подчистую съели и выпили, ни свежих лепешек не осталось, ни вина. Атарик, тоже зевая, удивился: так ли велик караван, если в одном придорожном хане поместился? Да нет, караван сам небольшой, поправился хозяин, да охраны при нем много, а эти-то, всем известно, едят за двоих, а пьют и вовсе немерено. Здесь-то кого опасаться? Вот дальше в степи… Или, говорят, в пустыне вдоль караванных троп водятся племена хава и зук, так там не зевай. Что ценное везут, спросил Атарик, чей караван, не Асана ли Кривого, и вдруг вспомнил: впереди смерть. Эй, хозяин, сказал Атарик, буди купца, некогда ему теперь спать. Как буди? Зачем буди? Ему ехать спозаранку завтра… Некуда ехать.

Поднялась суматоха. Атарик по-прежнему сидел у очага, бесцельно макая ненадкушенную лепешку в остатки похлебки, а его тормошили со всех сторон, расспрашивали, что за болезнь и откуда, чем лечить и как быстро умирают. Атарик качал головой и в сотый раз объяснял, что не знает, в глаза не видел, только слышал. Да верный ли слух? Куда вернее: от царского гонца. Эка!

будет царский гонец с тобой разговаривать! Разве скажешь, что царь сам там был и уехал один без охраны встепь? А вот поручение у меня царское и перстень царский. А кто не верит, тому доброго пути, проверяй, если жизнь не дорога. Дым над степью издалека видно. Можно до Орота и не доезжать. Только в Ороте язва была вчера, даже позавчера. А где она сейчас, кто знает? Зашумели опять: от кочевников зараза, нельзя было пускать. Полно вам, отмахнулся Атарик. Разве прежде не ходила язва по Аттану? А какая это язва? Та или эта? Да кто знает? Кто видел? Кто видел, уже не расскажет.

— Я расскажу, — выступил из тени молодой парень в куртке мехом внутрь, надетой на голое тело, с узкими глазами на круглом темно-красном отекшем лице.

— Джуши! — вскочил Атарик, еле узнав побратима по шитью на куртке и наборному поясу. Но раньше, чем он успел сделать шаг, вокруг молодого удо образовалась пустота. От него шарахнулись, как от смерти самой. И Атарик замер, вглядываясь. От брата ощутимо палило жаром, а его трясло, он стягивал на груди полы куртки, ежился, сгибался, мучимый ознобом. Наконец привалился к столбу, подпирающему крышу, и сполз на корточки. Поднял к Атарику улыбающееся лицо.

— Как, брат, не передумал? Завтра поедем за невестой. Завтра, завтра… Дай напиться! Не могу.

В комнате пустело. Бесшумно, но очень быстро один за другим все уходили прочь. Даже хозяин. Остался один Атарик. И он, так же как все, стараясь ступать неслышно, пошел к двери, и была она в двух шагах уже.

— Принеси воды, брат, водицы… — прохрипел побратим.

Атарик, не обернувшись, вышел во двор. Там царила суматоха, разжигали факелы, вели коней, вьючили верблюдов, кто-то прыгал на одной ноге, второй не попадая в штанину. Пробежал, прилаживая на боку меч, стражник, толкнул Атарика плечом, даже не заметил.

Все это было уже не с ним. Атарик прошел к колодцу — квадратному водоему, накрытому медью от пыли и животных — зачерпнул воды в круглый сосуд, стоявший на краю, и подумал, что никогда уже не увидит той невесты, строгой, важной Шуштэ с лаковыми блестящими косицами по всей спине. Что ж, весть о заразе теперь и так быстро дойдет до столицы.

Он собрал в комнатах одеяла и подушки, снес вниз. Раздел Джуши, стянул кожаные узкие чулки и уложил его удобно, и слушал его бессвязные речи, то и дело меняя мокрую тряпку у него на лбу. Когда взошло солнце, в хане их оставалось двое. Хозяин и тот куда-то исчез. Джуши уже не бормотал, только

клокочущее дыхание было очень громким в тишине. Тряпка на лбу — оброненный кем-то в спешке бегства головной платок — давно высохла. Атарик Элесчи спал, вытянувшись рядом на одеяле.

Об Арьяне ан-Реддиле

Арьян ан-Реддиль растормошил струны, и они нарочито нестройно, как бы нехотя ответили его настойчивости. Отведя красиво изогнутую правую руку от звучащих струн, окинув присутствующих лукавым взглядом, Арьян запел. Руки, как бы спохватившись, кинулись догонять, и дарна поддержала его голос стройным звоном.

Арьян ан-Реддиль, как пристало хайарду, хоть и уроженцу Ассаниды, вырос в седле с мечом и луком в руках. В Аттанском походе, несмотря на молодость, он покрыл себя немалой славой и мечтал о новых походах, дабы эту славу преумножить. Тем более, что аттанская добыча иссякла, а род Арьяна был знатен, славен, но не богат.

Но Хайр не вел войн с тех пор, как на троне оказался…

В этом месте своих размышлений Арьян тряс головой, как пес. Он был родом с северных окраин Хайра, где подобное сравнение не за оскорбление принималось, а за высшую похвалу: издавна славились северные склоны боевыми псами, огромными свирепыми зверюгами. Воины с севера, из Улима Ассанийского отправляясь в поход, брали с собой двух-трех таких псов. Они участвовали в битвах наравне со всадниками, самостоятельно. Между боями посторонние старались держаться подальше от стана северян. За хозяином эти псы бегали, как ягнята за маткой.

Так вот, не раз видел Арьян, как пес, давно не участвовавший в битве, трясет головой, отгоняя накатившую злобу. И, подражая своим боевым товарищам, тряс головой Арьян, когда думал о сидящем на троне Хайра.

Но он был еще и поэтом, молодой Арьян ан-Реддиль. И дарна откликалась на его ласку так же покорно и пылко, как обе его жены. И когда злоба цеплялась за косу так, что не стряхнуть, он отводил душу в песнях, а на язык он был остер. И был как пес бесстрашен.

Многим, очень многим, нравились песни молодого Арьяна ан-Реддиля, и часто звали, и приглашали, и уговаривали его с настойчивостью и неотступно прийти в тот или другой дом, где собирались молодые всадники, любившие походы и битвы, славу и добычу, а пока, за неимением названного, вино и песни ночь напролет, ведь влюбленные — пастухи звезд, а влюбленные в славу?

И там, где пел Арьян, умножались посетители, и беседы велись до света, пока в курильницах белесыми струйками дыма истекал ладан, и рабы, как в походе, обносили гостей медными

чашечками с дымящейся горечью мурра. Он пел о славе, о битвах, в которых сражался сам со своими псами, звавшимися Злюка и Хумм, и о битвах, которые были еще давно, даже до его рождения, но о которых он, как всякий в Хайре, был наслышан. И подвиги и слава давних бойцов растравляли души молодых, которым негде было славы добыть. И тогда Арьян запевал другие песни. Вот такую, например, как пел сейчас.

Укройте его покрывалом,
сына рабыни укройте,
лицо его — господину,
а нам за что смотреть на это?
Спрячьте его в покое удаленном,
заверните его в узорные ткани,
приставьте к нему стражу
из оскопленных, а нам от него стыдно.
Но раз уж он здесь,
раз он здесь перед нами, открытый,
как дешевый мальчишка у сводника…

И тут слушатели Арьяна, отбивая ладонями ритм, наперебой предлагали, что следует сделать с сыном рабыни (а каждый знал, о ком идет речь), похваляясь друг перед другом смелостью, а заодно и умениями, — и Арьян тут же с легкостью перекладывал их советы удобно для пения, и так они отводили душу.

Когда на рассвете он уходил из этого дома, белые улицы Аз-Захры были еще пусты и тихи. Только птицы звенели в зелени, перекипавшей через высокие каменные заборы. Гости этого дома все задержались отдохнуть у гостеприимного хозяина, Арьян же сослался на срочные дела. На самом деле (а вам-то что?) одна любовь гнала его чуть свет домой: он поклялся своим женам, что не встретит без них рассвета, если только ратные труды не уведут его далеко от Аз-Захры. И он опаздывал, а потому торопился.

Обе его жены были красавицы.

Он женился по выбору своего отца на первой, и по своей воле на второй, и тому было уже три года, но он не хотел брать других жен, и наложниц не было в его доме.

Когда спустя малое время после свадьбы его первая жена загрустила — а с чего бы ей? — Арьян не знал покоя, пока не добился от нее ответа: она-де привыкла всегда быть со своей младшей сестренкой, а теперь словно разлучена сама с собой.

— На много ли младше сестренка? — усмехнулся Арьян.

— На час, — последовал ответ.

— И… похожа?

— По серьгам отличали.

Сначала Арьян испугался: вот-вот кто-то возьмет из родительского дома вторую Уну — все равно, что сама Уна досталась бы другому! А потом еще представил себе, что сидит он в саду при звездах, и по правую руку от него — Уна, и по левую — Уна.

Еще длились пиры и торжества по поводу первой его свадьбы, а уже спешили сваты в дом благородного отца, где тоже пировали, и так, за пиром, чаша за чашей, сговорились; и продлились празднества до того, что сил не осталось ни у гостей, ни у хозяев. А молодой Арьян ан-Реддиль оторвался от своей жены только затем, чтобы как подобает, с честью, принять в дом вторую. А как там и когда закончился праздник, помнил смутно.

И третья была хозяйка у его сердца, та, что сейчас похлопывала по правой лопатке, закинутая за спину книзу грифом. О любви к ней не стыдно было известить весь свет.

Приближаясь к своему дому, рассчитывал Арьян, что еще три поворота, а потом пара сотен шагов до маленькой площади с водоемом — и можно будет оттуда свистнуть, чтобы Злюка и Хумм, собаченьки, — а что им забор? — помчались навстречу. Он видел уже, как их тяжелые туловища, волнообразно скользя в высоких травах сада, вылетят к забору и переметнутся через забор, на миг призадержавшись на самом верху его, окорябывая когтями стену, и рухнут в переулок. И шкура на них будет мотаться толстыми складками, когда огромными скачками они вылетят из-за угла ему навстречу, и он устоит — а вы думали! — когда их толстые лапы со всего разбега толкнут его в грудь и в плечи. А что бы ему делать с такими собаками, если бы он не мог устоять, когда его приветствуют со всей любовью?

И он уже видел эту картину и думал, как бы устоять, чтобы не разбить дарны, висящей за плечами — доверчиво приникшей к спине, вот так! — когда, повернув за первый из поворотов увидел обнаженные мечи и блестящие кольчуги дворцовой стражи.

— Повиновение царю! Отдай твой меч, Арьян ан-Реддиль, и следуй за нами.

Нет, он не испугался. Он просто понял, что пришел тот предполагаемый конец, который мог бы и давно наступить, да что-то не торопился. Однако никогда не допускал мысли молодой Арьян ан-Реддиль, что встретит смерть на плахе или станет дожидаться ее в Башне Заточения. В бою — да, а теперь или позже, уж как Судьба!

Клинки, столкнувшись, зазвенели, хмель слетел, но их, их было больше, и они были в кольчугах, а он нет, и они не лезли под удар, не толпились, а со знанием дела терпеливо изматывали

его, державшегося спиной к стене, но не вплотную, ведь дарна! И Арьян понимал, что своего они добьются, а собаченьки — нет, не услышат отсюда свиста.

Так вот: спасение не пришло, и меч вылетел из ослабевшей руки Арьяна (а он был ранен уже не раз, легко, однако одежда его стала тяжелой от крови). А следующий удар был в лицо — рукой в кольчужной рукавице, сжимавшей меч. И этот удар впечатал его в стену, его, способного устоять, когда два боевых пса ласкались к нему — и дарна вскрикнула под его спиной. Последнее, что он почувствовал — как острые щепы впились в спину. И темнота сомкнулась. О царице Хатнам Дерие

Царица Хатнам Дерие, бабка наследника, лицом была вылитая Атхафанама, но никогда не покидавшая внутренних покоев дворца и состарившаяся нелюбимой, оттого только, что из далекого похода царь привез пленницу, чужую невесту из разгромленного свадебного каравана. Была похищенная почти на голову выше Эртхабадра, на взгляд царицы Хатнам — нескладна, строптива, бела каменной белизной, с пугающе прозрачными глазами. Спасибо похитителю должен сказать тот жених, который ее не дождался. Все жены и наложницы Эртхабадра, задабривая евнухов подношениями, перебывали в ее покоях: поглазеть. А та сидела камень-камнем, нет чтобы приветить, почтить старших жен, поклониться, заговорить ласково, угодить, подольститься — глядишь, и прижилась бы.

Не верила тогда Хатнам, что может надолго привязать к себе ненасытного, но привередливого и переменчивого царя эта каменная кукла. Не было видно в ней женской сытости, довольства, когда царь покидал ее утром, а значит и царь от нее радости не получал. Со дня на день ждала Хатнам, как оно и всегда бывало, что натешившись с диковинкой, вернется к ней повелитель ее сердца и ее лона. Так всегда бывало. Знала она тайные тропки на его теле, которыми пробегали ее пальцы и ее губы, и которые вели прямо к его сердцу — сквозь крепостные стены, которыми он его окружал.

И правда, хоть не так быстро, как она ждала, но вернулся, вернулся к ней Эртхабадр. И целый месяц спал в ее опочивальне. Отходил от каменной холодности той, белоглазой, будто заново снаряжался мужской уверенностью и силой. Тогда и зачал младшенького, Эртхиа-сокола.

Но однажды ночью, пресытившись щедрой и покорной страстью Хатнам, сорвался и убежал.

В ту ночь заплаканная царица караулила под дверью царской опочивальни и видела, кого привели к царю, и слышала впервые вырвавшийся из каменного горла гордячки стон — и крик,

испуганный и счастливый крик женщины, вдруг понявшей, для чего возлегают с мужчиной.

И больше царь с ней не расставался.

Оттого и непоседлив так, и заполошен, и вспыльчив Эртхиа, что многое пришлось перенести его матери, пока носила его. Когда, надеясь хоть этим вернуть расположение царя, послала сказать (слыханное ли дело, старшая царица — и не могла увидеться с мужем!) — сказать, что ожидает дитя и по всем признакам это мальчик, царь ответил, ей передали, царь, осведомившись о сроках, воскликнул радостно: в один месяц родятся!

Жить ли после этого сопернице?

Но успела родить сына. И успела захватить сердце царя так, что не выпустила и уходя на ту сторону мира — унесла с собой. И разум царя унесла. Он больше не видел жен, посещал, чтобы насытить тело, но был не с ними. И больше не рожали ему сыновей, будто кто проклял царя. И дочь только одна родилась — Атхафанама-беглянка, тоже не в радость царскому дому.

Сын рабыни, которого царь и винил в ее смерти, это хоть удачно сошлось, сын рабыни вырос рабом, предназначенным для царского ложа. И тогда, все долгие годы, пока пренебрегал ею царь, Хатнам находила утешение, посещая евнухов-воспитателей и наблюдая, как из сына соперницы растят подстилку для царя. Много таких у него перебывало — где они? Забава на одну ночь. Всерьез царь этим не увлекался. И не чаяла царица беды для себя. И не замечала опасной красоты мальчишки: ослепила ненависть. Видела только сходство с той, каменной, холодной, сходство, ненавистное и ей, и самому царю. Царь месть свою растил, месть Судьбе и тому, кого считал убийцей своего счастья.

А после, когда опомнилась царица, когда очевидной стала гибельная привязанность царя, чего только не делала Хатнам Дерие, каких только зелий не подсылала! Но проклятому рабу словно Судьба на ухо шептала, какого кушанья не вкушать, какого питья не пить.

Кто мог тогда угадать, чем все обернется? Кто мог предсказать царице, что из-за сына рабыни погибнут все ее сыновья, один Эртхиа останется, и тот уйдет так далеко, уступив отцовский трон все ему же, ненавистному сыну рабыни!

Одна радость осталась царице Хатнам Дерие, десятилетний внук, Джуддатара сын Лакхаараа, наследник престола. Ненаглядный мальчик, будь жив его отец, уже был бы отнят у бабки для мужского воспитания. Если бы кто угодно из сыновей Хатнам был сейчас на троне, не задержался бы наследник так надолго в женских покоях. Но неправильный царь, сын рабыни,

раб негодный, приставив к наследнику учителей, забыл о нем — или помнил, но стыдился у него показываться, виновник гибели его отца. И это было на руку царице, умело разжигавшей в мальчике свою старую ненависть. Всех, с кем водился сын рабыни, умел он покорять обманчивой кротостью, ласковым обхождением, разумными речами. Боялась того же царица для несмышленого Джуддатары. Но сын рабыни не посмел накинуть свою лживую сеть на душу наследника. И как при этом его прозвали Акамие Мудрейшим? Бесстыднейшим его прозвали справедливо.

Но нет, не одна радость была у вдовой царицы. Была еще — тайная, преступная.

Пусть молодость ее прошла, и опухали пальцы в узких перстнях, и от тяжелых серег вытянулись мочки ушей, и спину ломило от тяжести сверкающих шитьем и камнями платьев — не оставила наряды царица. Кожа ее была не так свежа и упруга, как прежде, но все еще мягка, все еще благоуханна, и ножку ее, ступавшую только по коврам, все еще не стыдно было открыть игривому взгляду и ласкающей руке, и многие еще женские прелести сохранила царица в сытом и ленивом покое ночной половины.

Пусть ей не хватало свежести, что ж. Зато у нее была власть. Она могла одарить, она могла шепнуть словечко. Многое по-прежнему держалось на евнухах в царском дворце, а дворцовые евнухи издавна были на ее стороне, да, — и нет, не на стороне сына рабыни, назвавшегося царем. И у Хатнам Дерие было чем завлечь и удержать при себе мужчину из настоящих, кто не падок на преходящие прелести луноликих, кому кружит голову единственное, что достойно мужчины: власть и могущество. Это у Хатнам Дерие было. А что касается тайных тропок, которыми пробираются нежные пальцы и губы, то оказалось, что в этом Эртхабадр, да не будет Судьба к нему милостива и на той стороне мира, ничем не отличался от прочих, спасибо ему за уроки. Пригодились.

Разве не тот победитель, кто пережил своих врагов? Не тот, кто насладился местью? И разве не Хатнам Дерие пережила и ненавистную соперницу, и обезумевшего от низкой страсти мужа? А местью она насладится — не спеша, как подобает. Уже наслаждается. Каково там, на другой стороне мира, знать Эртхабадру, как сладки здесь ее ночи, сладки последней спелостью плодов, истекающих ароматом и соком, о!

— Сладкий мой, ты придумал, как устранить ненавистного?

— Ашананшеди, — отвечает мужчина. — Препятствие неустранимое.

— Да, если ты желаешь ему только смерти.

— Чего же еще?

— Растоптать, унизить хуже, чем он был унижен прежде, опозорить таким позором, которого он не знал еще!

— Ашананшеди.

— Но против того, кого он сам введет в свою опочивальню — что сделают ашананшеди? Так опозоренный, он не царь, и ашананшеди ему не защита.

— И — костер?

— Сладкий мой…

О начале пути

В тот час, когда царь принимал утренние приветствия придворных, Ахми ан-Эриди попросил позволения сказать ему что-то, не предназначенное чужим ушам. Акамие указал ему глазами на балкон, и сам не замедлил выйти туда, едва отпустил приближенных.

— Есть человек, осмелившийся складывать и распевать песни, которые оскорбляют достоинство повелителя. Некий Арьян ан-Реддиль из Улима, живущий ныне в Аз-Захре.

— Ему позволяют петь эти песни? — приподнял бровь Акамие.

— Уже нет.

— Чем же он занимается теперь?

— Поправляется после ранений. Я взял на себя смелость распорядиться доставить его во дворец, но он оказал сопротивление.

— Ты сделал хорошо. Тяжелы ли его раны?

— Он скоро сможет предстать перед тобой, повелитель. Если ты того пожелаешь.

— Скажи мне, Ахми, много ли еще таких, распевающих песни?

Ан-Эриди молчал.

Когда-то восшествие на престол именно этого сына Эртхабадра повергло вазирга в ужас. Но теперь он знал уже, что повелитель ему не враг, а, напротив, ставит его очень высоко среди прочих советников. Были у ан-Эриди и другие опасения, но они рассеялись или почти рассеялись за время, которое младший сын Эртхабадра сидел на троне. Царь был далек от того, в чем его обвиняли непристойные песенки, во множестве распространившиеся по всему Хайру.

— Много ли? — настаивал Акамие.

— Как это возможно? — отвел взгляд Ахми. — В Хайре всегда почитали волю Судьбы, избирающей правителя.

— Так оно и было. А теперь — нет.

— Это ложные слухи… — поспешил успокоить царя ан-Эриди. — Этого нет и быть не может!

Акамие не стал больше спорить. Вместо этого распорядился:

— Певцу предстать передо мной, как только сможет. Хорош ли лекарь при нем?

— Своего приставил, — заверил ан-Эриди.

— Он, должно быть, молод?

— Певец?

— Певец.

— Молод.

Акамие вздохнул. Те, кто старше, молчат. Чем-то обернется их молчание?

— Как на ноги встанет — сразу ко мне. В Улиме народ крепкий. Так?

Ахми поклонился.

Акамие отпустил и его. Этот день был днем разлуки: провожали Эртхиа. Через ашананшеди, охранявшего ночные покои, еще два дня назад Акамие передал Дэнешу приказание не показываться ему на глаза, поджидать Эртхиа у городских ворот. И теперь изнывал в нетерпении: уехал бы брат скорее, ничего бы уже нельзя было изменить. И от такой вины перед Эртхиа стыдился смотреть ему в глаза. И в другой раз Эртхиа заметил бы, пристал бы, выспросил бы все. Но теперь и сам был как не в себе, то комкал фразы, торопясь отправиться, то принимался допрашивать отвечавших за сборы и припасы, все ли уложено и в достаточном ли количестве.

И вдруг как ветром повеяло: час пришел. Ни слова больше не говоря, они обнялись, и Эртхиа шагнул с крыльца. Ему придержали стремя, он ловко уладился в седле, разобрал поводья. Один взгляд: прощай — прощай. И мир стал огромен, а дворец Акамие — крохотен. И Эртхиа в нем не умещался, и его понесло ветром далеко-далеко. О погибели

Весть о заразе примчалась в Аттан вместе с несколькими случайными путниками, порознь ехавшими в столицу и заночевавшими в хане, где объявился больной степняк. Караван в город не вернулся — опытный вожатый увел его прочь из Аттана другим путем, пока не поздно, рассчитывая, что, пока будут они ходить за две пустыни и три моря, мор обожрется и уйдет восвояси. По базару известие разнеслось мгновенно, а наутро в Совете об этом узнал и государь Ханис: самые видные люди базара входили в Совет, и первый среди них был Атакир Элесчи.

— Нет у нас больше споров с удо, — сказал глава купцов. — Не с кем будет спорить, да скоро и некому. Дед мой рассказывал о такой заразе, а ему — его дед. Потому степи и лежали пустые. В прошлый раз все перемерли. Это у нас бывает.

— Да, — сказал Ханис. — Я читал об этом в книгах царствований. На языке тех, кто жил в степи до прошлого мора, эта болезнь называлась хасса, что значит «погибель».

— Точно, погибелью и звали, — поддержал другой купец, и кивком подтвердил его правоту предводитель сословия воинов. На два главных сословия издавна делился народ Аттана, и как ни старались, ни одно, ни другое не могло взять верх, а Солнечные

боги следили, чтобы так оно и оставалось. Теперь в Совете появилась третья сила — кочевники, и старые соперники объединились, чтобы удержать влияние в руках коренных аттанцев.

— Ну, если это погибель, — сказал, подумав, воин, — то от нее спасение одно: бежать куда глаза глядят и вернуться года через три, а лучше через пять. Тут войско не защита.

— Всем не разбежаться, — возразил Элесчи. — А базар? Разве можно лавки без присмотра оставить? Полно дураков, кому и смерть не страшна, лишь бы чужое добро в руки. Да и кому нужен нищий в чужих краях? А у кого все имение в товар вложено? Нет, бежать некуда. Если в Хайр — так это прямо через заразу. Все равно не уберечься. А в другую сторону за степью пустыня, а в пустыне поречная страна Авасса, а там любой чужестранец — законная добыча. У меня, положим, там свои люди есть, я там за гостя, мне иначе нельзя, я оттуда пшеницу вожу, и в Удж прежде другой дороги не было, через Авассу ходили. Есть у меня там свои люди. Ну, положим, не у меня одного. Тарс Нурачи охранную грамоту имеет от жрецов храма Обоих Богов. Чем-то он им так угодил… А у кого нет в Авассе связей? В горы уходить? Так не все равно, от заразы умирать или от голода и холода? Нет, Канарчи, где это видано, чтобы вся страна взяла и от заразы убежала?

— А жаль, — сказал Канарчи-воин.

— Жаль, — признал Элесчи. — Кто сможет, тому, конечно, нечего оставаться. А я не побегу. Кто я без базара? Если с добром, то медленно. От погибели не уйдешь. А если без добра… А еще, дед моего деда говорил, отослал он тогда семью в дальнее селение в горах, а оттуда уже никто не вернулся. Зараза и туда добралась. Так что кто один и на подъем легок, пусть бежит. Может и уйдет. Нравится мне, как в Хайре говорят: всяк умрет в свой час.

После Атакира Элесчи говорить решились не многие, да и нечегобыло прибавить. Каждый уже решил себе, побежит или останется. Ханис сказал тем, кто считает нужным уехать, не медлить и отправляться по домам: все равно в Совете от них толку не будет, мыслями они уже не здесь. Повелел разослать гонцов по всем городам. Посылать глашатаев на площади столицы смысла было мало, с базара новость уже распространилась сама собой, но раз так заведено, исполнили и это. И еще Ханис поручил главам сословий созвать всех врачей города и выспросить у них, есть ли такие меры, которые стоит и еще не поздно принять. И предупредить всех врачей строго: им выезд из Аттана запрещен. Им и их ученикам, за исключением

тех, кто по малолетству и неопытности не способен оказывать помощь больным и препятствовать распространению заразы.

А после Совета Ханис пошел к жене.

Атхафанама, конечно, уже знала все. По своему положению царицы здесь, в Аттане, она могла присутствовать в Совете, но не считала нужным. Пусть мужчины все решают, что ей там — для красоты сидеть? Ее красота не для всех. Хоть и не носила она давно покрывала, не любила на людях выставляться.

Но все важные новости из Совета специально посланные слуги ей тут же приносили. Принесли и эту. Так что, оставив строгий надзор за рабами, накрывавшими на стол (мать ее, царица Хатнам Дерие, стала и оставалась любимой женой, может быть, только оттого, что сама любила и умела поесть и приготовить вкусненького, и уж никогда не полагалась на рабов в том, что касается подачи блюд), оторвавшись от уютных забот, Атхафанама кинулась к мужу. Она не стала поджидать его у самой двери, через которую он покидал зал Совета, не годится заставать мужчину врасплох. Она встретила его шагах в ста дальше, в коридоре, и он мог заметить ее издали и приготовиться к встрече с ней. Но в то же время он мог видеть, что она обеспокоена его заботой, и спешит ему навстречу.

— Ты уже знаешь? — спросил Ханис, обняв ее за плечи и увлекая за собой. Атхафанама кивнула, отстранившись, озабоченно заглянула ему в лицо. Она ему и до плеча не доставала.

— Лучше тебе уехать, — прижал ее к себе Ханис. Атхафанаме еле удавалось поспевать за его размашистыми шагами, идти обнявшись им всегда было неудобно. Ханис подхватил ее и посадил к себе на плечо. Так они часто гуляли по Дому Солнца. Атхафанама легонько оперлась ладонью о голову мужа, вплела пальцы в рыжие волосы.

— Я не хочу.

— Я тоже не хотел бы. Но ты не можешь здесь остаться.

— Ты ведь останешься.

— Не сравнивай. Мне ничего не будет и не может быть.

Атхафанама подумала: «И Ханнар». Но ничего такого не сказала, а сказала:

— Как же я поеду, если зараза с той стороны, где Хайр? Говорили ведь об этом на Совете.

— В Хайр не только прямые пути ведут. И кроме Хайра есть земли.

— Страна Авасса? Кто я буду в чужой земле без мужа? Нет, не поеду, — Атхафанама заговорила чуть капризным, «царевниным» голосом.

— Ну, в Хайр.

— Не поеду.

— Почему?

Атхафанама заерзала на плече, закачала ногами. Ханис опустил ее, поставил на ноги. Она посмотрела в глаза любимому и сказала так:

— Если все-таки по дороге заболею и умру, тебе от этого только горше будет. А мне… Я от одной этой мысли уже умираю.

— Погоди, — Ханис положил руки ей на плечи, чуть-чуть опираясь на них. — Я надеялся отправить с тобой и Рутэ, и Джанакияру. И всех детей.

«А Ханнар?» — снова подумала Атхафанама, но не сказала так.

— Ханис, сердце, я не могу с тобой разлучиться. Без тебя я точно умру. Ты и так-то когда в Совет уходишь, я места себе не нахожу.

— Если останешься здесь, почти наверняка умрешь.

— А если уеду — наверняка. Без почти. Сердце мое, жизнь моя!

Так она ему перечила и прекословила, а Ханис так и не завел привычки приказывать жене, и они спорили ласково и настойчиво, пока не пришли к накрытому столу, а там уже спорить нельзя было, за едой спорить, все равно что яд друг другу в пищу сыпать. А после еды спорить стало не о чем. Прибыли срочные гонцы и стало известно, что некуда бежать: по всей степи, по всем окраинам Аттана — погибель.

Ханис сказал:

— Все по-твоему вышло.

Атхафанама заплакала.

О врачах

Слушать врачей, созванных со всей столицы, пришла и Ханнар. Она села по правую руку от Ханиса. По левую уже сидела Атхафанама. Женщины обменялись спокойными неласковыми взглядами. Но придраться было не к чему: Атхафанама никогда не занимала места, по праву принадлежавшего божественной царице Ханнар, сестре бога-царя Ханиса. Оно так же по праву принадлежало и его супруге, и много путаницы вышло оттого, что впервые за все царствования жена царя не была его сестрой. Все же по крови Ханнар имела больше прав на это место.

Теперь пустовало только место Эртхиа по правую руку от его божественной супруги.

Кованые ворота распахнулись и в зал были допущены врачи. Они входили неторопливо, перешагнув не отмеченный ничем порог, степенно кланялись, все одетые в длиннополые одежды, в накрученных на голову повязках с бахромчатыми кистями, седобородые старцы, зрелые мужчины и совсем молодые, едва отпустившие первые усы юноши, все как один с важностью и неколебимой уверенностью на лицах: так предписывал им канон их ремесла. Но брови у всех были более обычного нахмурены, и голоса, когда они обменивались неслышными с трона словами, звучали глухо и потерянно.

Здесь были и придворные врачи царя Эртхиа, три старика, пользовавшие в основном его жен и потомство и проводившие свободное время в ученых спорах между собой и переписке с умудренными людьми во всех доступных частях света; и любимцы купцов, лекари с лекарской улицы, все в возрасте, дородные и осанистые, с ухоженными, окуренными ароматами и умащенными душистыми маслами бородами; и те, кто возился с вывихами, переломами, резаными и колотыми ранами, умел исцелять ожоги и ушибы, отрезать чернеющие конечности и зашивать распоротые мышцы, кто сопровождал войско в походе, разделяя с ним превратности военной удачи; и другие, победнее и попроще, из тех, что сами отправлялись в окрестности столицы заготавливать нужные полезные травы, а на привозное, с базара, не водилось денег ни у них самих, ни у страждущих, обращавшихся к ним за помощью не от хорошей жизни. И был самый молодой из аттанских врачей, Илик Рукчи, ославленный безумцем, семнадцати лет от роду, превзошедший всю письменную премудрость и ради того, чтобы набраться опыта, лечивший всех подряд совершенно бесплатно. На него все косились неодобрительно, ибо в последнее время, презрев

приличия и сословную спесь, многие из видных людей базара, не дождавшиеся исцеления своих недугов, прибегали к искусству Рукчи. А однажды он был призван даже во дворец к дочери государя Эртхиа, когда она мучилась животом, и сумел добиться успеха там, где отступились его более опытные и прославленные товарищи. Но Рукчи не зазнался, а наоборот, сославшись на молодость и недостаток опыта, смиренно отклонил приглашение остаться во дворце, с почтительным одобрением высказался о заслугах придворных врачей, помянул якобы сопутствующую ему свыше обычного удачу и вернулся к своим нищим. И теперь держался скромно и смирно, стоя позади всех, и голоса не возвышал, только внимательно слушал, что говорилось о причинах поветрия и способах защиты от него.

А говорилось, что нередко воздух начинает портиться сам по себе вследствие перемещения в него соседнего испорченного воздуха или же вследствие какой-либо небесной причины, суть которой скрыта от людей. И уж если за холодной сухой зимой приходит теплое влажное лето, а именно таково оно в этом году, то часты повальные болезни и острые лихорадки.

В этих случаях нужно искать убежища в подземельях, в домах, обнесенных со всех сторон оградой, и в домашних кладовых.

Что касается курений, оздоравливающих гнилость воздуха, то для этого годятся клубни сыти, ладан, мирт, роза и сандаловое дерево. Предохраняет от беды и употребление уксуса, лука и чеснока. Трудно сказать, препятствует ли заразе увешивание входных дверей и ворот пучками и связками упомянутых растений, но ясно, что хуже от этого не будет.

Атакир Элесчи сразу послал на базар человека сказать, чтобы приказчики в съестных рядах поднимали покруче цены на упомянутые растения и уксус, да побольше запасли для собственного Элесчи дома. И велел еще сказать, чтобы всякого припаса в дом везли достаточно. Отчего же и не отсидеться в доме, обнесенном со всех сторон оградой? И его примеру последовали все купцы в Совете, а воины слали своих людей скупать чеснок и уксус, пока цены не поднялись. Все было как перед осадой, когда за день раскупали на базаре враз подорожавшие пшеницу, просо, рис, бобы, чечевицу, муку, сушеные плоды, вяленое мясо, соль, а под них мешки, глиняные кувшины для масла и вина. И в харчевнях жир, капавший с жарящегося мяса, собирали в сосуды и не подавали на стол, а припрятывали. Лук и перец перестали подавать.

Только воду не стали запасать, потому что стоял город Аттан на множестве источников, и в изобилии имели его жители

чистую, свежую, прозрачную, живую бегучую воду в желобах вдоль улиц.

Все было как перед осадой, потому что предстояло каждому жителю, запершись в собственном доме, выдержать осаду, и каждый становился врагом каждому.

И скрипели повозки, увозя скарб тех семей, которые решили заблаговременно покинуть город, надеясь пережить мор в местах безлюдных. Уже никого не впускали в город, только выпускали беглецов.

Одно войско, малочисленное и не грозное с виду, было у горожан, чтобы выставить навстречу неприятелю: чванливые (а иначе им и нельзя) врачеватели купцов, суровые костоправы воинов, величественные придворные врачи, лекари для тех, кто победнее, и безумный Илик Рукчи, исцелитель нищих; а с ними их ученики, кроме тех, кто по молодости лет и недостатку опыта должен был либо отсиживаться вместе с родными, либо с ними бежать из города. Но и среди них были такие, кто собирался остаться вопреки строгому наказу наставников. И двум-трем удалось.

Ханнар сказала:

— Что делали дочери Солнца, когда на их подданных обрушивался мор?

— Но ты одна, и что ты сможешь сделать? — возразил Ханис.

— Хоть я и осталась одна, но я дочь Солнца и не могу уклониться от моих обязанностей. Дом Солнца велик и ненаселен теперь, когда нас с тобой всего двое. Пусть тех, кому нужен уход, приносят сюда. Я буду служить моему народу. Никто не может лишить меня этой чести.

— Одна ты много не сделаешь.

— Почему одна? — звонким голосом спросила Атхафанама.

— Потому что больше нет… — начал Ханис и осекся. — Ты что придумала?

— Я тоже царица. И я не буду прятаться в подвалах и кладовых. Если умру, то умру в свой час. Ты сам учил меня, как надлежит себя вести царице Аттана.

И Атхафанама смерила взглядом соперницу. Ханис после недолгого молчания покачал головой:

— Нехорошо ты придумала, Ханнар.

Ханнар тут же взорвалась:

— Если ты боишься за свою… за свою жену, это еще не значит, что я уступлю. Я не откажусь от своего права.

— Так. Ладно. Атхафанама, мы еще поговорим об этом. Ханнар, спустись к врачам и обсуди с ними, как лучше все устроить. Я хотел перевезти во внутренние помещения дворца

Рутэ и Джанакияру с детьми. Но если здесь будет больница, лучше им оставаться на месте. И, Ханнар, что ты собираешься делать с Ханисом-маленьким?

— Как что? — Ханнар вздернула червонного золота бровь. — Он еще мал для битвы, но этого и не требуется. Какой случай подошел бы лучше, чтобы воспитать его слугой и защитником своих подданных? Он будет помогать мне, конечно.

— Это будет страшно, Ханнар.

— Быть правителем всегда страшно. Ты забыл, чей он сын?

Атхафанама побелела. Ханис схватил Ханнар за руку и стиснул.

— Я помню. Хватит. Ты права, но… Пусть будет так.

Так они решили. И Ханис-маленький с этого дня повсюду сопровождал свою мать.

А с Атхафанамой Ханис спорил всю ночь. Даже пригрозил запереть ее во дворце Эртхиа под надежной стражей. Но царица, с пылающим от гнева лицом, напомнила мужу, что в доме отца, повелителя Хайра, стерегли ее строже некуда, но каждую ночь она оказывалась в объятиях узника. И что теперь? Сам Ханис, учивший ее вольности, хочет посадить ее под замок? Она свой долг знает и понимает правильно. Она царица Аттана. Этого у нее никто не отнимет. Разве что Ханис хочет отказаться от жены и вернуть ее с позором в отцовский дом, так Атхафанаме и собираться недолго: без приданого пришла, нет ее доли в имении мужа, хоть сейчас накинет покрывало и уйдет, как из отцовского дома ушла, тайком.

И отвернулась, вроде бы скрыть слезы, а на самом деле — показать, что скрывает слезы. Ханис взял ее клубочком на руки, прижал к груди.

— Ты, маленькая, не понимаешь.

— Я не маленькая.

— Я боюсь тебя потерять. Больше всего боюсь. Ты — вся моя жизнь. Как мне сказать, чтобы ты поняла? Не будет тебя, мне ничего не нужно.

— Зачем тебе я? Такая ни на что не годная жена, которая только и может, что согревать твою постель и кормить тебя, и развлекать тебя, но не может и не сможет никогда родить тебе наследника? Я, когда умру, уже не буду тебе мешать, — и Атхафанама заплакала по-настоящему.

— Ты… ты…

Ханис сгреб ее, сжал сильно в руках.

— Ты маленькая и неразумная и ничего не понимаешь, сердечко мое. Ты мне нужна, никакой не наследник. Дети бывают или не бывают, у кого как, а ты у меня есть, и ничего мне не

нужно, и никакой такой цены нет, за которую я откажусь от тебя.

— Нет, ты послушай, — всхлипывая и накручивая на палец его золотую прядь, причитала Атхафанама. — Эртхиа уехал к удо, и молодой Элесчи с ним, и Элесчи видели с больным кочевником в хане. Старший Элесчи так и сказал, что не ждет уже сына обратно. А про Эртхиа вестей нет никаких совсем. А он такой, мой брат, он, конечно, поехал прямо к Урмджину, он такой. И значит, мы его уже не дождемся. Не вернется он. И я виновата, приставала к нему с разговорами глупыми… И так ему покоя нет с этой… с сестрой твоей.

— Она мне не сестра, ты знаешь.

— Ну и что? Эртхиа не вернется, я умру, и тогда ты сможешь на ней жениться…

Ханис расхохотался до слез.

— Вон ты что надумала! Хватит. Глупости это. Даже если бы осталась одна на свете женщина и была бы это Ханнар, я бы на ней не женился. Нет.

— Женился бы, — зашипела Атхафанама. — Я знаю, она бы тебя уговорила. Вам детей надо народить, чтобы род продолжить, а иначе вам нельзя.

— Можно.

— Нельзя. Ты ведь бог.

— Я тебе говорил, что нет.

— А для меня — да.

— Ну и какое это имеет отношение? Зачем тебе умирать? Я хочу, чтобы ты жила.

— Мор надолго. Я столько без тебя не проживу. И еще… Ханнар решит, что ей надо, и начнет тебя уговаривать… пока я в подвале отсиживаться буду.

— А если ты умрешь?

— Тогда — делай, что хочешь.

— Так ты ревнуешь, Атхафанама? — через силу улыбнулся Ханис. — Как бы ты жила с мужем из своих, из хайардов? Ты ведь не была бы у него единственной.

— То другое дело, — насупила брови Атхафанама. — У нас так заведено и в том нет обиды. А у вас заведено по-другому, а когда делают не по заведенному — обидно.

— Разве у вас заведено, чтобы жена мужу перечила?

— А мы по-вашему живем, не по-нашему. Я царица. Прости меня, Ханис, но я ей ни в чем не уступлю. И если судьба мне умереть — умру, хоть в самое глубокое подземелье меня усади.

Так и не договорились.

А город пустел.

О том, как Арьян ан-Реддиль пел перед повелителем

В зеркале рассматривал свое лицо, пытался увидеть, каково оно на взгляд человека, видящего в первый раз, без привычки: такое гладкое, светлое. Он хмурил брови, сжимал губы, раздувал ноздри, так и так пытался придать лицу выражение строгости, гнева, царственной силы. Злился на себя и на свою слабость — заранее — перед северянином.

Трудно смотреть в глаза от рождения свободным всадникам Хайра. Трудно, зная, каким представал он их глазам. Каждое движение, каждый маленький, легкий, танцующий шажок свидетельствовали против него. Когда ему самому казалось, что он свободен и прям, размашист и небрежен, они видели то что видели, и он читал это по их лицам. Как безнадежно он ломал себя, не позволяя ни одного необдуманного жеста, ни одной самовольно вырвавшейся улыбки. Пеленал, как покойника, свое тело. За каждой косточкой, за каждым суставом учинил неусыпный надзор. Но что он мог, если с первых шагов его ноги были скованы цепочкой, с первых шагов до того шага, который он сделал, впервые переступая порог царской опочивальни? То, что казалось ему вольной, небрежной походкой…

И он знал об этом.

Каждый прямо и открыто встреченный взгляд был победой. Но эти победы считал только он. На самом деле они были не в счет.

И теперь эти песни. По-иному и быть не могло.

Что делать с этим ан-Реддилем? Бросить в темницу? Казнить?

За песни?

Оставить все без последствий, сделать вид, что не слышал, не знает?

Невозможно.

Как говорить с ним?

В первый раз — ради этого ан-Реддиля — приказал сплести в косу отросшие волосы. Нелепая получилась коса и вся спряталась в царский парадный косник.

И он не мог сделать свое лицо смуглее и жестче, плечи — шире и тяжелее. И понимал, что не понравится ан-Реддилю.

Но это свидание было уже назначено.

Арьян ан-Реддиль был приведен и поставлен перед троном: в чистой одежде, умащенный всеми положенными благовониями. Его коса была тщательно заплетена и украшена богатым

косником, а небольшая, подстриженная на ассанийский манер борода обрызгана розовым настоем, он был одет и обут, как подобает воину хорошего рода, и являл собой зрелище, приятное для глаз царя.

Акамие сидел на троне, окруженный стражей, советниками и вельможами царства. В тяжелом красном облачении, в жестком царском оплечье, увенчанный красной короной. Толстая, но короткая его коса едва доставала за спину. Руки, тяжелые от колец, он сложил на коленях. И так застыл.

Когда сердце утихло, ровным голосом предложил Арьяну ан-Реддилю:

— Слава о твоем искусстве дошла до нас. Спой нам.

Арьян дерзко ухмыльнулся, окидывая того, кто на троне, оценивающим взглядом. У Акамие позвоночник зазвенел от муки, но он остался как был: с поднятым подбородком, расправленными плечами, полуопущенными веками и мягким, спокойным ртом — такой, какой есть.

— Дарну мне разбили! — развел руками Арьян, но в подчеркнутой беззаботности его голоса Акамие расслышал непростимую обиду. Не оправдываясь тем, что не знал об этом, повернулся к Шале ан-Шале, всегда стоявшему поблизости от трона.

— Пошли за дарной. Нет. Принеси сам. Ту, что понравилась государю Эртхиа.

И теперь, в независящем уже от него промежутке разговора, обратил свой взгляд к Арьяну, разглядывая его.

Северянин, другая кровь, не был похож на жителей Аз-Захры и окрестных долин. Он был выше их чуть не на целую голову и при этом массивен, даже неуклюж с виду. Как бы избыток силы чувствовался в нем, избыток непосильный, с которым не совладать. Не совладать кому другому, но по тому, как стоял и даже как дышал северянин, было видно, что хозяин своей силе — он, владетель полновластный. Он тоже смотрел на Акамие: чистейшим, без примеси собственной похоти, презрением, как лезвием отделяя его от трона, на котором он сидел, и от короны, которой он был увенчан.

Шала принес дарну и с поклоном подал царю.

Она была черна. От этого длинный гриф казался слишком тонким. Верхний конец его, где натягиваются струны, расцветал тюльпаном. А вокруг ока голубоватым перламутром был выложен узор, ярко сиявший на черноте и контуром напоминавший глаз, так что око казалось в нем круглым расширенным зрачком.

Акамие принял ее на ладони. Легкая, гулкая, она сейчас же что-то неразборчиво бормотнула, как это водится у лучших дарн,

когда их передают из рук в руки. Недаром Эртхиа хвалил ее.

Такую дарну не передают через слуг. Акамие поднялся и сделал три шага по направлению к Арьяну; все сосредоточение его души было теперь на дарне в его руках, и только на третьем шаге он опомнился и понял, как он встал и как пошел. И что ткань, облачающая его, тяжела и мягка, и складки на ней глубоки и отчетливы, и обличают каждое движение, и уличают его. А поздно было что-то менять: он так и дошел до северянина, только оторвал взгляд от дарны и смотрел ему в глаза. И он не мерялся с ним силой, и не упрекал, и не выказывал гнев. Его взгляд был — о дарне. Северянин протянул ей навстречу руки, и она охотно легла в них, и, как водится, что-то ему сказала.

Акамие развернулся — и оказался лицом к лицу со всем советом. И той же походкой, которую вместе с ним беззаконно выпустили с ночной половины, он вернулся на свое место и занял его.

— Спой нам.

Арьян ан-Реддиль сел, поджав под себя ноги, прижал к груди дарну, проверил строй. Гриф в его крупных пальцах казался еще тоньше, былинкой казался сухой, готовой переломиться. Но пальцы его оказались проворны.

Арьян ан-Реддиль принял вызов.

Хочет услышать — услышит. К лицу ли всаднику бояться вот такого, ко всем своим порокам присоединившего бесстыдство, посмевшего сплести волосы в косу, посмевшего сесть на троне, посмевшего перед всем Хайром встать с открытым лицом и требовать повиновения!

И он растормошил струны, а они нарочито нестройно, насмешливо, как бы нехотя, ответили его настойчивости. Отведя красиво изогнутую руку от звучащих струн, Арьян ан-Реддиль окинул присутствующих: советников, придворных, вельмож царства, стражей и слуг — лукавым, дерзким, вызывающим взглядом. И тут плечи его опустились, а рука упала на колено.

— Но песня непристойна, — пожал он плечами.

— Да? — встрепенулся Акамие. И обернулся к придворным. — А вы уже слышали ее?

Все поспешили закачать отрицательно головами, при этом потупляя и отводя глаза. Даже Ахми ан-Эриди.

Тогда Акамие сорвался с места, стремительно перешагнул край помоста, прошел мимо Арьяна, овеяв запахом ладана и галийи, на ходу бросив ему:

— Иди за мной!

И вышел из зала так быстро, что никто не успел толком понять, что произошло. Арьян оставался на месте столько

времени, сколько надо, чтобы вдохнуть и выдохнуть. Потом столь же легко вскочил и решительными шагами последовал за царем.

Он шел затем, кого теперь называли повелителем Хайра, и всей зоркостью воина, всей чуткостью поэта выведывал в нем борьбу и муку, и звенящую решимость, и тугое, его роду присущее упрямство. Хотя не мог видеть, как закушены губы у того, кто принуждает свои ноги шагать широко и твердо.

Арьян догнал его за вдох и выдох, и ему пришлось умерять шаги, чтобы не наступить на край волочившегося за царем облачения.

Акамие привел его в Крайний покой, подхватил по пути подушку, бросил на середину. Сам сел на низкий подоконник, вплел пальцы в резную решетку, другой рукой обнял колени, затылком оперся о стену.

— Пой, — велел. И смотрел спокойно, требовательно. Ждал.

Арьян снова устроился с дарной, перебрал струны, пробежал пальцами по ладам. Не смог поднять глаз.

Тягостная окаменела в покое тишина, и они оба были вдавлены в нее и не шевелились. Арьян чувствовал на себе взгляд царя, его молчание. Оно ложилось слой за слоем, более внятное, чем речь. И требовало ответа.

Арьян еще раз начал вступление и оборвал. При этом — не при том, кого представлял себе Арьян, складывая свои песни, — а вот при этом, который сидел напротив и спокойно, терпеливо, снисходительно так смотрел — невозможно было не то что слов таких произнести, даже звуками струн намекнуть на такое было невозможно.

И тогда Арьян передвинул ремешок на грифе выше, для низкого, сурового звучания, и завел песню об аттанском походе.

Его густой, сильный голос заполнил покой так плотно, что ничему уже в нем места не осталось, он вытеснял собою все, и Акамие был прижат этим голосом к оконной решетке, им и наполнен, как кувшин, по самое горло.

И когда Арьян ан-Реддиль закончил песню, Акамие долго еще ничего не мог сказать от восторга и понимания.

Сказал Арьян:

— Вот отчего мы теряем голову! — и в первый раз назвал его: — Повелитель.

О том, что было дальше с ан-Реддилем

Когда он вернулся домой, сразу за калиткой его встретили Злюка и Хумм, кидались на грудь, влажным пахучим псиным дыханием обдавали лицо, наперебой умывая горячими мокрыми языками. Отбиваясь от них одной рукой, он устремил взгляд на верхние окна и увидел то, чего ждал: из сумрака две луны, два радостных взгляда, две улыбки. И улыбнулся им, отбиваясь от обезумевших от радости псов, в руке высоко поднимая за тонкий гриф царский подарок по имени Око ночи.

Арьян проснулся глубокой ночью, и по правую руку от него была Уна, а по левую — Унана. Как два гладких черных крыла, блестели от луны их волосы. На крыше стояло их ложе — под звездами, под луной.

Тихо.

Арьян осторожно потянулся, повернулся на бок, лег щекой на гладкие душистые волосы Уны. Но сон ушел и не хотел вернуться. Тогда Арьян снова перевернулся на спину, стал смотреть на звезды и вспоминать разговоры, которые вели они с повелителем Хайра после того, как Арьян хотел вернуть ему Око ночи, а царь покачал головой:

— Твоя.

И потом расспрашивал Арьяна о боевых псах северян, о тонкостях их воспитания, и о том, какие мелодии он предпочитает, и какое вино ему по вкусу, и каких коней он считает лучшими, и каковы обычаи гостеприимства в его родном краю. До вечера задержал у себя гостя, был приветлив и ласков, так что совсем легко было Арьяну и вспомнить давно не петые песни Улима и Ассаниды, и спеть их на родном наречии, над которым посмеивались в Аз-Захре, потому что похоже и не похоже оно на здешнюю речь, и здешним кажется смешным; и рассказывать о толстолапых мохнатых комках с тяжелыми головами и черными слюнявыми губами — таковы грозные псы Улима, пока можно удержать их на вытянутой руке, а рассказывать о них — дня не хватит, жизни не хватит; и, разговорившись, пожаловаться царю на скуку и томление необременительной жизни безпоходов и битв. Обо всем легко говорить с царем, пока не взглянешь ему в лицо — а тогда немеет язык и прочь бежит взгляд.

— Хочу спросить, повелитель, — позволишь?

— Спрашивай, — улыбнулся повелитель.

— Дерзкое хочу спросить.

— Спрашивай.

— Дай мне пощаду.

— И после всего, что ты уже натворил, ты просишь пощады — наконец-то!

— Так что же, повелитель? Пощада?

— Твоя.

Арьян понурил голову, кусая ус.

— Лучше бы ты запретил мне говорить. Теперь придется. О том, кем ты был, знает весь Хайр, но это прошло. Теперь ты волен и твоя воля надо всеми. Пока не видел тебя вблизи своими глазами, думал — а! этому ли быть царем?! Теперь думаю иначе. Сила в тебе… есть. Но как ты ходишь, и как ты смотришь, и как говоришь… Зачем тебе оставаться таким? Если глубоко укоренилось это в тебе, если стало недугом, ты — повелитель Хайра, лучшие врачи соберутся, только позови, и Хайр счастлив будет, что царь его — как все цари.

Акамие помял пальцы.

— Вот как ты думаешь обо мне. Знай же, что лучший врач Хайра был моим учителем. И хоть нерадивым был я учеником и учился недолго, и нет его уже на этой стороне мира, но книги его — со мной. И в книгах записано, что для исцеления от такого недуга надобно подвергнуть страждущего голоду, бессоннице, заточению и порке. Вот что есть для меня у врачей. А у судей — огонь.

— И нет иного средства? — озабоченно нахмурился Арьян.

— Нет. Хвала Судьбе, такого средства нет.

— За что ты хвалишь Судьбу, когда ничто не может исцелить тебя?

— А ты дал бы исцелить тебя от тебя самого, от твоей памяти и боли, от твоего стыда и горечи, и от славы твоей, и побед твоих — и от любви? От всего, что и есть ты? От души исцелить? Ан-Реддиль, успокоение моих тревог, похвали Судьбу, за то что милостива ко мне!

— Хвалю, раз ты велишь, хоть не понимаю.

— Достаточно тебе того, что ты понимаешь себя. Понимать меня — моя тягота.

Об оазисе Дари

А царь в эту ночь пришел в библиотеку, и нашел там Хойре, дождался, пока тот совершит все почтительные телодвижения, и присел на окно. Хойре не сводил с царя блестящих глаз и то ли ждал, что скажет повелитель, то ли сам хотел и не решался заговорить.

— Вот что у меня к тебе, — начал, наконец, Акамие. — Я расскажу тебе историю, а ты мне ее истолкуешь. Все же, как случилось, что тебя учили на главного евнуха, а стал ты одним из младших?

— Это просто, мой повелитель. Я выучил все, что мне полагалось знать. Только одного не удалось ни моим учителям, ни мне самому.

— Чего же?

— Ожесточить мне сердце.

— Да уж, — согласился Акамие, — сердце ни к чему ни таким как ты, ни таким как я.

— Царям? — уточнил Хойре.

— И царям тоже.

Хойре смутился. Неловко было рядом с царем, который напомнил, что некогда подлежал надзору таких, как Хойре. Как будто заглянул в его мысли и вызнал все, что Хойре хотел сказать. Вот бы и воспользоваться удачной минутой, вот бы и сказать… Но царь заговорил первым.

— Я тебе расскажу, слушай, я тебе расскажу одну историю, никто из рассказывающих ее не может свидетельствовать ее достоверность, не знаю, откуда и взялась она там, где ее рассказывают, потому что те, кто ее рассказывает, не покидают покоев удаленных и укрытых от посторонних глаз. Еще до того, как меня впервые ввели в опочивальню моего господина, я слышал ее много раз — и считал себя счастливым, что мой удел иной, что никогда нога моя не оставит следа на раскаленном песке близ оазиса Дари.

Хойре закивал, выражая готовность говорить и истолковывать, но Акамие запретил ему нетерпеливым жестом.

— Молчи и дай мне говорить — мне надо. Этот оазис — в самом сердце великой пустыни, что лежит между Хайром и южными побережьями, этот оазис — в стороне от караванных троп, ведущих в город Удж, крылатый парусами, лежащий на коленях моря. Это оазис ненаселенный — только единожды в год, или в три, или в десять лет, кто может точно сказать, чем меряют время там, где оно само замирает в раскаленной тишине, там

собираются воины племен хава и зук, происходящие от одного корня, но враждующие между собой. Оставив черные шатры из козьей шерсти, жен своих, не носящих покрывал, многочисленных детей, верблюдов и коз, приезжают в оазис Дари праздновать странный и страшный праздник Ночи дозволения.

Так считают воины племен хава и зук, что само по себе это недозволено, но раз в году, каков бы ни был их год, бывает Ночь дозволения — от света до света.

И к этому дню готовятся они заранее: приезжают в Удж и ищут на базаре лучших из лучших, воспитанных для ночной половины, наилучшим образом обученных, прекраснейших. И только тех, кто не был еще введен в опочивальню. Купцы и учителя таких как я заранее привозят в Удж лучшее, что могут найти, и получают неслыханные деньги: хава стыдятся покупать дешевле, чем зук, и те тоже, и друг перед другом они поднимают и поднимают цену. А поскольку и те и другие — грабители, останавливающие караваны, им есть чем платить. И увозят с базара таких как я, но лучших. Покупают им украшения и одежды и наряжают, чтобы хвалится друг перед другом, когда соберутся в Ночь дозволения в оазисе Дари.

И в эту ночь, единственный раз в своей жизни, такие как я танцуют и поют перед своими господами при свете костров, а воины хава и зук спорят, чей невольник отличается большей красотой, и у кого из них голос звонче, и кто искусней в игре на дарне или уте, и чья поступь легче, и чьи глаза ярче, и чьи руки гибки как ни у кого. И тот, чьего невольника признают наилучшим, гордится не меньше, чем хозяин верблюда, выигравшего скачку, а такие скачки они устраивают постоянно, чтобы хвалиться друг перед другом.

Перед рассветом они забирают каждый своего невольника и уводят в свои палатки, и делают с ними то, что делают с такими как я.

И с первым лучом солнца они берут свои большие ножи и перерезают горло своим невольникам. Потому что так считают воины хава и зук, что, будучи по природе своей мужчинами и оскверненные подобным образом, эти несчастные не достойны больше ни ходить по раскаленному песку, который есть родина воинов хава и зук, ни пребывать перед лицом гневного солнца пустыни и оскорблять его взор своим видом. И это есть правда воинов хава и зук.

Но есть еще правда их невольников, воспитанных как сокровище красоты и покорности. Когда такого покупает кто-то из хава или зук, а об их обычаях все осведомлены, и нет для невольника неожиданного в том, что случится, — он принимает

сердцем своего господина и свою судьбу, и служит так, как его учили, потому что в этом его достоинство, единственное, которое ему дозволено. И в одну ночь он проживает жизнь, и проживает так, как должно. И в этом правда таких как я.

Они сидели и молчали, пока Хойре не зашевелился и не произнес:

— Ты уже не такой, повелитель. Но если хочешь, я скажу тебе, для чего вам рассказывают эту историю, и кто придумал и рассказал ее первым, после чего такие, каким был ты, сами стали рассказывать ее друг другу… И что все это значит, и какова цель этих рассказов…

— И не смей, и не вздумай истолковать мне это! Пусть твоя правда правдивее моей — но с моей я выжил, а твоя убьет меня даже сейчас, я знаю. Не хочу — мне не по силам — узнать, что все неправда, что это рассказывали нам, чтобы мы рассказывали друг другу, самим себе, чтобы это стало нашей правдой, нашим счастьем и везеньем, что не мы, а другие упадут мертвыми на раскаленный песок при первых лучах солнца — вблизи оазиса Дари… И чтобы то, что выпало нам, казалось нестрашным. Не хочу знать, что их нет и не было, потому что столько придумали уже мы сами, ваши ученики, чтобы стало жалко не себя — их, чтобы оплакивать их как братьев, которым пришлось много хуже, чем нам, но они нас выкупили у Судьбы, потому что если бы не они, то мы… И не хочу знать, что тех, кого мы придумывали, передавая друг другу эти истории, не было никогда, — ибо они прекрасны. Не знаю я отваги большей, чем их отвага. Пусть лучше бы не было меня, чем не было их.

— Ты сам все себе сказал, — заметил Хойре.

— Нет! — засмеялся Акамие. — То, что я сам себе говорю, может быть правдой, а может не быть, как эти истории об оазисе Дари. Но если бы это сказал ты, а ты, я думаю, знаешь точно…

— А если я скажу, что это было?

— Как же я могу тебе поверить?

И Хойре так и не сказал того, что давно собирался сказать.

О друзьях ан-Реддиля

С утра в доме ан-Реддиля собрались все, кого он называл друзьями. Все. Не страшась того, что могут навлечь на себя немилость и опалу. И радовался Арьян, успокаивая их: ничто не грозит ни ему самому, ни его друзьям. А они перемигивались и подзадоривали друг друга и хозяина:

— Спой нам, Арьян!

— Спой ту, помнишь…

— Или ты робок стал, ан-Реддиль?

— Устрашил тебя повелитель Хайра?

— Или так он принял тебя, что теперь неудобно о нем говорить с друзьями?

— Кто о своем наложнике с друзьями говорит?

— Ты показал ему, что такое мужчина, Арьян?

— Что такое настоящий?

— Не ты ли теперь станешь править Хайром?

— Арьян у нас такой…

И он не знал, что ответить. Казалось — еще вчера был с ними одно. Песни одни пели, вино одно пили, разговоры вели одни.

И Арьян пел с ними?

Буйное дружество мечтающих о славе — роднее братьев.

А царь?

Что — царь! Кто меняет друзей на царскую милость, тот не всадник.

А кто смеется над беззащитным? Ведь беззащитен перед ними повелитель Хайра. Ведь не отправит на плаху бесчестящих его мальчишек. И потому беззащитен перед их похвальбой: вот мы какие, царя не боимся, и так скажем про него, и вот так еще. Всю правду.

Отца его так же не боялись?

И молчал Арьян, не смея предать ни того, ни этих. И вступиться за него не смея. Вот кто беззащитен: за кого и вступиться — бесчестье. И молчал Арьян.

— Что это у тебя, Арьян, — новая дарна?

— Ворчунью разбили.

— Покажи. Хороша! Сыграй нам, Арьян, — и спой!

— Да, ту: «Кто похитил мужество Хайра…»

— Лучше — «Укройте его покрывалом…»

— Что же ты, Арьян?!

И Арьян поднял к груди Око ночи, высоко сдвинул шнурок на грифе.

— Хотите, чтобы я спел?

— Хотим, хотим.
— Дайте вина.
И десять рук протянулись.
— Эй, не плесните, не облейте мне дарну!
Глоток, другой — отшвырнуть чашу.

Укройте его покрывалом,
как лучшего из коней укрывают от сглаза,
как укрывают в футляре свиток,
или как меч укрывают в ножны,
ибо злы глаза непонимающих,
и грязные души грязноевидят
и причинят ему зло и беду и бесчестье…

— Эй, Арьян, ты о ком это?
— Откуда такие слова, Арьян, о ком?
— Об этом?
— Ты не болен?
Арьян рванул струны — дарна закричала.
— А вы не больны? Перебить песню!
И всех прогнал.

И больше не ходил в дома своих друзей, и они его сторонились. Заперся в своем доме с Уной и Унаной.

О тамариске

После зноя вечерняя прохлада радовала недолго: Эртхиа уже несколько раз разгребал под собой песок, закапываясь глубже, где еще сохранялось тепло. Всегда есть чему порадоваться в пустыне: днем — тому, что вечером отдохнешь от жары, ночью — тому, что утром согреешься.

— Холодно.

— Разведем костер. Тамариск — спасение. Он и сырой мгновенно разгорается, и его здесь много.

Дэнеш взял меч и мигом нарезал гибких ветвей на склонах песчаных холмов, с трех сторон окружавших их стоянку.

Разведя огонь, он обернулся к Эртхиа.

— Лучше идти ночью, днем спать. Мне легче будет определить направление по звездам.

И присвистнул тихо, и послушал, как откликнулся Ут-Шами, и следом окликнул хозяина Руш. Эртхиа крикнул ему в ответ. Веселый ревниво всхрапнул.

— А если львы? — озабоченно спросил Эртхиа Дэнеша. — Тут они уже водятся или дальше в пустыне?

— Могут появиться. Но они чаще промышляют вдоль караванных троп, как и племена хава и зук. Грабители держатся тех мест, где есть кого грабить. Поблизости нет оазисов и селений, и только самые отчаянные караванщики выбирают этот путь.

— Вроде нас? — усмехнулся Эртхиа.

— Вроде нас. И коней здесь провести трудно, сам видишь.

— Без тебя мне бы здесь ни за что не пройти.

— Без меня тебе пришлось бы идти с караваном. Это и надежнее и опасней. Опытные караванщики знают дорогу, колодцы, ханы, расположенные вдоль караванных дорог. Но на караваны нападают разбойники. Если не удается отбиться, мало кто уцелеет, а уцелевшие будут проданы на базаре в Удже. Побережья, конечно, принадлежат Хайру, но между Аз-Захрой и Уджем лежит пустыня, которую войску пройти нелегко. Войску сколько воды надо! Так что на базаре в Удже никто не спросит, откуда у детей пустыни, живущих в черных палатках из козьей шерсти, рабы хайрской крови. Спросят только о цене. Зук продают всех пленников: зачем им лишние рты? Их жизнь сурова, воды и пищи хватает только своим.

— Хорошо, что я пошел с тобой, — согласился Эртхиа. — Только, если все же случайно нам встретятся зук, как мы отобьемся?

— Если это будут братья серого ящера, с ними у меня есть договор. А если кто другой, не знаю. Отобьемся как-нибудь. Может, кони унесут.

— У них ведь тоже кони. Здесь, кроме бахаресай, о других конях и не слыхали?

— Зук ездят только на верблюдах, коней не признают. Бахаресай разводят глубже в пустыне, в оазисах. Мы там будем через одиннадцать дней.

— А как же мы с Рушем и Ут-Шами туда пойдем? Неужели там не узнают своих коней?

— Мы не в те оазисы пойдем, где я коней беру. Те нам не по пути.

Эртхиа кивнул, успокоенный, расстелил плащ поближе к костру.

Костер разгорелся, и, согреваясь, царь-странник обретал обычное расположение духа. Тяжесть, лежавшая на душе, стала легче еще в Хайре, под ясным взглядом Акамие. А когда тронулись в путь, каждый парсан, отделявший Эртхиа от долины Аиберджит, казалось, вдвое облегчал его ношу. В конце концов, если до его возвращения ничего не решено, о чем горевать? Не может Эртхиа ан-Эртхабадр жить скорчившись. Или петь в полный голос, или ножом по горлу. Пока до ножа не дошло, будем смеяться, песни петь. Дэнеш понимал жизнь так же, только смеялся реже. А песен от лазутчика Эртхиа и вовсе не слыхал. Но на свой лад, как казалось Эртхиа, Дэнеш тоже праздновал волю.

— Эй, что там? Нора? — спросил Эртхиа.

Дэнеш зачем-то рылся в песке, что-то тащил из склона.

— Посмотри, Эртхиа.

Эртхиа подошел, наклонился. Дэнешу удалось выдернуть длинную плеть, облепленную песком, — корень тамариска.

— Видишь? Это была ветка. А вот здесь она переходит в корень. Рассказать тебе о ней? Она зеленела и цвела, и давала сладкий сок, высыхающий в крупу, так же как те, которые ты видишь перед собой. Ветер, переносящий пески, засыпал ее, придавил тяжестью. Намного вглубь ты найдешь такие же ветки, превратившиеся в корни, и тамариск не умер, но пророс. Вот что я знаю о тамариске. Он согревает, кормит и учит: прорасти свою беду насквозь. Взойди над ней неистребимой надеждой. А снова навалится, подомнет под себя — снова прорасти. Пусть побеги станут корнями, и пусть другие пробьются наверх. Тамариск не знает отчаяния — и он победитель. Видел ты песчаные холмы, поросшие тамариском? Он связал песок, многократно прорастая из тьмы и тяготы.

Эртхиа потянулся руками, дотронулся до ветви-

победительницы, подержался за нее, как за руку. Потом бережно присыпал песком.

— Будем спать? — напомнил неохотно.

— Разве? — согласился с его нежеланием Дэнеш.

Эртхиа с готовностью уселся рядом.

— Расскажи еще что-нибудь. Вот, например, это правда, что к вашим селениям нельзя подобраться, потому что их стерегут горные духи? Мне говорили сведущие люди…

— Сведущие люди? — переспросил Дэнеш, качая головой.

Эртхиа пожал плечами:

— Я же сам слышал, уж не знаю, что это было.

— А хочешь услышать сейчас?

Дэнеш вынул из-за пазухи дуу, поднес к губам. Всего несколько звуков разной высоты, следовавших друг за другом так естественно, что это не было даже мелодией, а просто — дыханием и сутью, выплыли в темноту и повторились несколько раз, не утомляя однообразием, но успокаивая постоянством. Дэнеш отнял флейту от губ и сказал, для Эртхиа, на языке хайардов:

Ты во мне так спокоен:
не зовешь, не толкаешь в спину,
за руку не тянешь,
не просишь вернуться.
Только вижу все твоими глазами
и слышу лишь то, что ты бы услышал.

Помолчал, прикрыв глаза, снова поднес флейту к губам и продолжал наигрывать те же несколько звуков, пока Эртхиа не потерял ощущение времени и не растворился в сдержанной скорби добровольной разлуки. А когда Дэнеш положил дуу за пазуху, руки Эртхиа сами потянулись к дарне, он только просительно взглянул на Дэнеша и подхватил еще томившийся в одиночестве последний звук, и продолжил, не совсем так, но все же верно, и дарна пела по-своему, и звуки были отделеннее, и резче проступила тоска, ведь дарна поет не дыханием, а дрожью, но песня была та же. И Дэнеш кивнул и отвернулся.

О вернувшемся

Я боялся приблизиться.

С той стороны, где ночь пронзали ветви тамариска, я мог бы подойти незамеченным, и даже ашананшеди не услышал бы моих шагов. Но кусты могли вспыхнуть: я едва владел собой, и пламя грозило вырваться при малейшей оплошности.

В сердце роза.

Я шел на голос.

Она докликалась до меня, дозвалась. Я пришел. И увидел ее в объятиях другого, но не было ревности. Разве я мог прикоснуться к ней? И разве могла она не петь? И тот, кто вернул ей голос и жизнь, был достоин ее, — я не мог сомневаться. Разве не с этим я доверил ее Судьбе?

Сидевший рядом с ним ашананшеди был старше и имел, как все они, каменное лицо, но из камня драгоценного и прекрасно вырезанное. И эти складки по сторонам рта, про которые говорят, что они выдают коварство и жестокость, а мне всегда казались знаком сосредоточенности и твердости духа, были очень заметны при свете костра. И этот ашананшеди текучим движением поднялся, положив руку на грудь, там, где они носят свои метательные ножи.

Он просто давал мне знать, что я замечен, и я улыбнулся про себя: как я надеялся провести лазутчика!

Тогда и его спутник бережно отложил дарну — не на песок, а на расстеленный плащ. И вскочил на ноги. Я только теперь и рассмотрел его. Пока дарна была в его руках, он был с нею как бы одним целым, и для меня — безлик.

А теперь он отложил ее и стал самим собой, и только. Был он невысок, коренаст, но с осанкой и повадкой благородного всадника, а его черты я узнал даже в темноте: он принадлежал к царскому дому Хайра. Но косы у него не было и волосы свободно падали на плечи и спину, на красный бархат кафтана. Косы у него не было. Как у меня.

И я вышел на свет, держа перед собой раскрытые ладони.

Заговорил младший.

— Мир тебе. Подойди к костру.

Подходя, я должен был назвать свое имя. Что ж, никто уже не мог помнить его в Хайре. И я поклонился, как гость хозяевам, и сказал без опаски:

— Тахин ан-Араван из Сувы.

Младший дернулся, сжав кулаки.

— Ты лжешь!

Ашананшеди не шелохнулся, но сузил глаза. Значит, тоже не поверил и показывал мне это. Значит, тоже слышал мое преданное позору и забвению имя.

— Это я, — сказал я больше для ашананшеди, чем для его пылкого спутника и, конечно, господина.

— Как это может быть, если тот, кто носил это имя, был предан огню за сто лет до моего рождения? — нахмурился молодой.

— Это я. И могу тебе сказать, что дарна, которую ты только что выпустил из рук — моя.

Я не смог сказать «была моей». Может быть, именно это и убедило их. Юноша задумался.

— Вот что: если она… — а он не смог сказать «твоя» и начал заново:

— Вот что: если ты — Тахин ан-Араван из Сувы, то покажи нам свое искусство.

И поднял ее, и протянул мне, шагнув близко. Я отшатнулся.

— Дай мне вон ту ветку.

Озадаченный, он оглянулся на ашананшеди. Тот, по-прежнему не произнося ни слова, скользнул к куче приготовленного хвороста и подал мне прут. Я взял его в руку.

Молодой сильно вздрогнул и замер с раскрытым ртом, глядя, как в ярком пламени обугливается тамариск — от стиснувшего его кулака до самого кончика.

Стремительный прыжок — и вот его молчаливый спутник стоит передо мной, и в обеих его руках призывно вспыхивают, отражая мой огонь, изогнутые клинки. Ветка упала, руки взлетели вверх — и мои мечи, выпорхнув из-за спины, ответили сияющей улыбкой.

Если бы хотел, ашананшеди обезоружил бы меня в тот же миг, но он удивил меня тем, что с ходу принялся проверять, знакомы ли мне «стрижи».

И не более того.

Мои «стрижи», мной самим сложенный танец для парных изогнутых мечей… Было мне, чем удивить лазутчика. Мы чертили воздух клинками, пока один из его мечей не метнулся прочь, вылетев из освещенного круга. И молодой в это же время закричал:

— Смотри, смотри, смотри!

Он показывал на мои мечи, а сказать ничего не мог.

Мечи светились, но не отраженным светом костра, а красноватым мерцанием — так, как светится накалившаяся сталь.

И молодой подошел ближе и поклонился, приложив руки к груди.

— Честь и уважение тебе, и милость Судьбы. Я — Эртхиа ан-Эртхабадр, царь и соправитель в Аттане. А это…

Ашананшеди уже подобрал свой меч и приветствовал меня невозмутимым кивком.

— Это ашананшеди из рода Шур, мой спутник и друг.

— Тебе, — с достоинством заметил ашананшеди, — тебе я назову свое имя, всадник из Сувы. Я — Дэнеш, шагата. Пусть наши встречи будут мирными.

Эртхиа, царь аттанский, предложил мне пищу и воду, но я с улыбкой отказался. Он понимающе кивнул, и детская радость от близости удивительного заставляла вздрагивать его губы. Видно было, что вопросы щекочут ему небо и кончик языка, но учтивость не позволяла задать их путнику, не разделив с ним трапезы. Наконец он нашел достойный выход.

— Мы направляемся к Южному побережью, чтобы там сесть на корабль и плыть на запад. Какой удачей и честью я счел бы, если бы тебе, почтенный, оказалось с нами по пути!

Дэнеш, шагата ашананшеди, кивнул, соглашаясь с его словами. Я украдкой бросил взгляд на дарну. Эртхиа все же заметил и смутился.

— Нет, — я понимал его и поторопился успокоить. — Тебе нечего опасаться. Я не могу прикоснуться к ней, так же как не могу пить и есть. Если вы примете меня спутником, мне не понадобится ни вода, ни пища, и я с радостью последую вашим путем, потому что мой мне неведом.

— Мы идем к северному краю земли, — сказал Эртхиа, — туда, где холодные волны Последнего моря разбиваются о скалы, покрытые льдом. От пристаней Южного побережья мы хотим доплыть до великой реки запада и подняться по ней туда, где начинаются непроходимые леса. Брат мой, повелитель Хайра, нашел в книгах описание этого пути и необходимые карты, но они неполны и точность их — неудовлетворительна. Так считает Дэнеш, и я полагаюсь на его суждения. Однако это единственное, что удалось найти, других нет. Не хочешь ли взглянуть?

Он достал и развернул передо мной свитки. Я наклонился, не приближаясь.

— Что ж, в мое время они не были полнее! Мне не приходилось бывать западнее пределов Хайра, я пойду с вами и буду считать честью возможность разделить все превратности судьбы с такими спутниками.

— Что ты, что ты! Это для нас честь… — искренне возмутился Эртхиа, и ашананшеди кивнул, не отводя от меня внимательного взгляда.

Об араванах

Много позже, совсем под утро, мы укладывались спать, обсудив уже все, что можно было обсудить, и вдоволь наговорившись о предстоящей неведомой дороге. Я услышал, как Эртхиа, зарываясь поглубже в песок, шепотом сказал ашананшеди:

— Я и не думал, что он такой…

— Какой? — озадаченно переспросил Дэнеш. Я замер, прикусив губы. Эртхиа смущенно повозился и ответил еще тише:

— Рыжий…

С тех пор, как мой прапрадед взял в жены княжескую дочь из племени немирного, за непокорство и сведенного с лица Сувинских гор, в нашем роду в каждом поколении появляются рыжие. И поскольку кроме ан-Араванов в Хайре рыжего днем с фонарем не сыщешь, думаю, не сохранилось больше крови и семени народа араванов. А княжна, хоть и взята была не наложницей, а первой женой, осталась дикаркой и вскоре прапрадеда моего зарезала, неблагодарная. Тесть пощадил ее ради ребенка, которого она носила. Прапрадед мой единственным сыном был.

А княжна рожденного ребенка кормить не стала и на руки не взяла. Гордые они были, араваны. Тогда ее удавили. А ребенок выжил, вырос, только прозвище Араван прилепилось к нему вместо имени. И старшего сына своего Араваном назвал. Так появилось в Хайре новое имя, память о племени непокорном. Всех старших сыновей у нас в роду звали Араван ан-Араван. Я не был старшим, просто болезнь в считанные дни опустошила детские дворики и люльки в нашем доме, а меня не тронула.

О коне золотистом, созданном из ветра и огня

На рассвете Дэнеш указал на видневшиеся у самого горизонта каменные глыбы.

— В их тени мы проведем день. Но надо поторопиться. Сможешь ли ты поспевать за нашими конями, или солнце и зной не доставляют тебе неудобства? — обратился он к ан-Аравану.

Тахин покачал головой.

Ветер шевелил складки его одежды, подобные текучим языкам пламени. Быстрым движением сдернув плащ, Тахин взмахнул им, как бы набрасывая на спину коню. Словно сам воздух вспыхнул, пламя загудело, закрутилось смерчем, пойманный ветер наполнил полотнище, заметался в нем. Тахин прыгнул, повис на поводе вставшего на дыбы коня. Тот храпел и рвался, взрывал копытами песок, клочья пламени летели от его гривы и хвоста. Но Тахин изловчился, сумел — вспрыгнул ему на спину и погнал вперед.

Эртхиа схватил Дэнеша за плечи и тряс его, сам не замечая, и вскрикивал, подбадривая всадника. Дэнеш и сам от восторга вертел головой.

— Созданный из южного ветра! — кричал Эртхиа. — Из пламени! Из пламени! Конь золотистый!

Когда, усмирив жеребца, Тахин возвращался, по широкой дуге обходя заросли тамариска, Эртхиа кинулся ему навстречу и, поклонившись, воскликнул:

— Ты — первый, кто воистину оседлал ветер!

О колодце

На одиннадцатый день под вечер, когда уже поднялись со стоянки и тронулись в путь, вдруг задул горячий ветер, сильный, резкий. С ним налетел песок, так что казалось, что вся толща песка из-под ног просто поднялась и смешалась с воздухом, и мчится неведомо куда, как ошалевший табун.

Тучи летящего песка скрыли небо и землю. Как искры огня, песчинки обжигали кожу, пробиваясь сквозь одежду и платки, которыми путники закрывали лица. Мелкая жгучая пыль забила ноздри, залепила рот. На зубах скрипело, отплевываться не стало слюны. Глаза, набитые песком, саднили. Коней вели в поводу, обмотав и им головы платками, и старались держаться поближе друг к другу, чтобы не потеряться. А ветру того и надо было: он набрасывался, сбивал с ног, хлестал по глазам, пригибал к земле, выпивал последнюю влагу из иссушенных тел, с каждым вдохом вонзался в гортань. Лечь бы, накрывшись плащом, но кто улежит под одним плащом с пламенем, затаившимся в Тахине? А кинуть его одного добычей буре невозможно. Эртхиа решил: пропадать, так всем. Судьба, значит. И Дэнеш сказал, что погибнуть они могут равно и укрывшись лежа под плащом, и продолжая путь. И повел всех вперед.

Дэнеш шел и шел, а Эртхиа за ним, не решаясь спросить, знает ли еще Дэнеш, куда им идти и сколько. Только покорность Судьбе и доверие к другу заставляли его из последних сил переставлять ноги. Последним шел Тахин, то и дело поглядывая сквозь опухшие веки на переметную суму на спине Руша. Там, замотанная в шелк и укрытая в футляре из толстой промасленной кожи, спасалась от непогоды дарна. Каждое движение зрачков отзывалось резью, и Тахин в конце концов уже только на дарну и смотрел и шел за нею.

Селение выросло перед ними прямо из песчаного вихря, когда надежда уже оставила Эртхиа. Они прошли между домами, не встретив никого, и вышли на длинную площадку посреди селения. Дэнеш вдруг пропал, как сквозь землю провалился. Ут-Шами остался стоять, опустив морду к земле. Эртхиа выпустил повод и подошел посмотреть. У самых его ног зияло круглое отверстие в земле, и вниз вели осыпавшиеся ступени. Края были приподняты, так что песок, разогнавшись от ветра, перелетал через отверстие, не засыпая его. На дне, на глубине в три человеческих роста, едва видно было какое-то смутное движение. Пахло водой.

— Спускайтесь! — раздалось оттуда. — Здесь прохладно.

— Колодец! — обрадовался Эртхиа. И полез в суму доставать кожаное ведро. Бросил его Дэнешу, оставив в руке конец веревки.

Лишь напоив коней, Эртхиа спустился вниз, окликнув стоявшего в нерешительности Тахина. Всадник из Сувы двинулся к колодцу так неуверенно, что в любом на его месте, кроме него самого, Эртхиа заподозрил бы страх.

Внизу была площадка с отверстием посередине. Опустив в него руку по плечо, можно было намочить кончики пальцев. Эртхиа подавил разочарованный вздох. Но Дэнеш уже влез по пояс в окошко в стене, и стоял, упираясь носками в каменную кладку. Он поманил Эртхиа и, быстро перевалившись через край, исчез. Раздался плеск воды, радостное фырканье. Эртхиа бросился к окошку и заглянул в него. Там был подземный коридор, по дну которого бежал поток, и вдоль одной стены лепилась узкая дорожка. В потолке на равном расстоянии были проделаны отверстия, под ними на бегущей воде дрожали круги тусклого света. Дэнеш полулежал на дне неглубокой речушки, выставив только голову над водой. Он подмигнул Эртхиа, набрал в грудь воздуха и откинулся навзничь. Эртхиа тут же подтянулся на руках и пролез в окошко. Опустившись в воде на колени, он раскинул руки и упал ничком.

Сначала они просто лежали, позволяя воде течь по их разгоряченным телам, впитывавшим влагу, как песок пустыни, — мгновенно, не насыщаясь ею. Время от времени приподнимая голову, сделав несколько быстрых вдохов, они припадали губами в кровоточащих трещинах к бегущей, прохладной, катящейся, гладкой, текучей воде и хватали ее ртами, и лакали, и глотали, и, застонав, снова падали в воду.

И Дэнеш немногим отставал от Эртхиа.

Лишь спустя изрядное время они сели прямо в воде и, оглядевшись, обнаружили Тахина стоящим на узкой каменной дорожке. Он наклонился, придерживаясь рукой за стену, и не отрываясь смотрел в поток. Его отражение вздрагивало и поеживалось на блестящей поверхности воды.

— Хорошо тебе! — сказал Эртхиа, почувствовав неловкость за свои неумеренные восторги. — Тебя ведь не мучает жажда.

— Кто же тебе это сказал? — рассеянно улыбнулся Тахин, не отрывая взгляда от бегущей воды. Потом выпрямился и пошел по дорожке вглубь коридора, навстречу течению. Эртхиа оглянулся на Дэнеша и виновато пожал плечами.

— Тебя ведь не мучает жажда…

— Кто же тебе это сказал?

Слава тебе, огонь, хвала твоей щедрости, всепожирающий пламень! Ты дал мне сердце и всю мою плоть, и, нагого, одел в

пылающие шелка, и ты дал мне огненные клинки и коня, какой еще не ступал по земле. Слава и хвала тебе, моя жажда и вечно саднящий ожог в моей груди!

Ни напиться воды, ни коснуться струн, ни любить…

Радуйся, Эртхиа, что тебе не узнать этой жажды.

О родине бирюзы

— Пора выбираться, — прислушавшись, определил Дэнеш, — не годится, чтобы нас застали в колодце…

Эртхиа кивнул, заторопился выбраться из воды на дорожку, побежал за Тахином. С его одежды вода лилась ручьями.

Они вернулись быстро, и Дэнеш смотрел из-под ресниц, как Тахин осторожно ступает по намоченной дорожке, выпрямив спину, затаив дыхание. Как от боли. За журчанием и плеском не было слышно, но Дэнеш разглядел белесый парок там, где ступал Тахин.

Они выбрались наверх. Ветер высушил их одежды мгновенно, одним порывом унес влагу. Теперь решились просить гостеприимства у жителей деревни. Все равно, утверждал Дэнеш, до ночи буря не утихнет, а то и до утра. Вслушиваясь в ее голос, он пока не мог определить точнее.

— Надеюсь, ты не у здешних добыл наших коней? — прокричал ему на ухо оживший от воды Эртхиа. — А то узнают своих…

— Нет, — мотнул головой Дэнеш. — Как раз у врагов здешних. А это, дорогие, оазис Зауаталлаз, родина бирюзы.

— Что это значит? — удивился Эртхиа.

— Здесь тебе все расскажут, погоди, — пообещал Дэнеш и пошел к еле различимым в клубах песка теснившимся друг другу темно-коричневым стенам.

На стук им отворили довольно скоро высокую узкую калитку в глинобитной стене: только-только провести коня. Дэнеш безошибочно выбрал дом: одежда на выбежавших обиходить коней слугах была крепкой, добротной. Коней тут же увели под навес. Эртхиа увидел, что их только двое, и растерянно оглянулся на Тахина. Тахин коснулся рукой свернутого плаща на плече.

Им подали воды умыться и вымыли им ноги в больших медных тазах, начищенных так, что и вода в них сверкала особенным блеском. Слуги в доме были молчаливы, смуглы, поджары, и невозможно было разобрать, сколько их: то ли многие делали все слаженно, без суеты, отчего казались числом меньше, то ли немногие успевали сделать все за многих, опять-таки без суеты и спешки.

С Тахином вышла заминка, но Дэнеш нашелся, отговорился обетом, якобы данным их спутником. Если и удивились, то не вслух. Но было ясно, что каждое их движение и каждое слово станет известно хозяину прежде, чем они перед ним предстанут.

Итак, дав гостям время привести себя в пристойный, не

зазорный для них вид и выслушав короткий доклад управителя, хозяин вышел к ним, приветствовал сердечно и, конечно, предложил насладиться трапезой в возмещение тех усилий, которые дорогие гости потратили, чтобы добраться сюда и почтить дом своим посещением. Эртхиа отвечал искусно, и за трапезу сели в полном взаимном удовлетворении, хотя хозяин и косился на Тахина, не прикоснувшегося ни к еде, ни к вину.

— По обету… — развел теперь руками Эртхиа и пустился сочинять прекрасную и невероятную историю о любви и разлуке и о данном их товарищем обете не прикасаться к еде и питью, пока не найдет свою потерянную любовь. Поверить было невозможно, но и не поверить невозможно: оскорбительно для гостя.

Складно говорил Эртхиа. Я заслушался. Начало он, несомненно, взял из моих записок, где Аренджа рассказывает, как увидел незнакомца в воротах покоренной Ассаниды. А вот дальше… все было так, как не бывает ни за что, как не может сбыться, но в то же время было правдой, как будто он в душу мою заглянул, а заглянув, тут же и услышал все, что я себе не договаривал. И я понял, заслушавшись, что он поэт, каких мало. Не хуже меня.

И, заслушавшись, задумался: что, если и ищу я на этой стороне мира то, чего не нашел до смерти, любовь такую же невозможную, как та, о которой говорил теперь Эртхиа. Не бывает ведь такого, чтобы подобные мне находили счастье, никогда не читал и не слышал я о таком. И верность, которую мне приписывал Эртхиа, тоже невозможна. Но так обернулось, что как раз все и было теперь невозможно для меня, все другое, все, кроме этой невозможной верности — неведомо кому — к которой я приговорен.

И дивясь тому, как Эртхиа, ничего-то не зная, понял больше меня, я уверился: он поэт.

Хозяин покачал головой, вежливо поцокал, почтил героя рассказа внимательными без навязчивости взглядами, и все не чрезмерно, все в меру. По нему видно было, что так и во всем он всему воздает должное, не переберет и не недодаст.

— В нашем племени многие умирали от любви, — признал он правдивым рассказ Эртхиа. — Но такого я не видел и не слышал о таком, чтобы жили без пищи и воды.

— А вот! — горделиво Эртхиа. — Такова его любовь, что она одна поддерживает в нем жизнь, и живет он только любовью, ничем больше, и не утратил при этом ни силы, ни ясности ума. Однако если бы ты рассказал нам о тех славных влюбленных, о которых ты упомянул, как признательны мы были бы! Такие рассказы полезны и поучительны и приучают сердце к

благородному. Может быть, наш друг, вспомнив, что не одному ему надолю выпало разлучиться со счастьем, будет утешен.

Слуги убрали со стола наполовину и более опустошенные блюда, внесли новые, с новыми угощениями, подали сосуды с водой для омовения рук, принесли сушеные фрукты и напитки.

— Не откажу вам, — согласился хозяин. — Но прежде вы расскажите, что знаете: караваны здесь не ходят, путники редки на этой тропе, новости — откуда узнать?

Дэнеш переглянулся с Эртхиа и начал рассказ об их пути сюда из Аз-Захры, о том, каковы в Аз-Захре новости и в каком состоянии колодцы на боковых тропах, по которым не ходят караваны. Сообщение о заразе в Аттане не нарушило спокойствия хозяина: где Аттан — и где пустыня, где мы — и где зараза. Ей, конечно, преграды нет, но если б вот эти путники несли ее с собой, не зашли бы так далеко. Через пустыню, да еще теми тропами, что они, не всякий здоровый пройдет.

— Известно ли вам, — в ответ повел свою речь хозяин, — что здешние места на языке Побережий называются родиной бирюзы?

Дэнеш коротко кивнул, Эртхиа сцепил пальцы в нетерпении, а Тахин сказал:

— Мне не приходилось бывать здесь прежде, но я читал об этом. Не расскажешь ли ты нам, отчего это так?

— Шесть дней пути отсюда до берега моря, до города Удж, столицы мореплавателей и купцов. Раз в месяц приходит оттуда караван выменивать гордость и горечь моего племени на соль, просо, оружие, медную посуду, ткани и все, чего не могут дать финиковые пальмы, матери и кормилицы наши.

— В чем же гордость и горечь твоего племени? — безошибочно подхватил Эртхиа.

— В силе страсти. Сильны, отважны и стойки в битве юноши моего племени, и соседи их боятся, лишь одного врага им не одолеть. Любовь губит их. Оттого так много бирюзы в этих безводных песках, ведь это — окаменевшие кости умерших от любви. И ценится здешняя бирюза выше всякой другой, ибо имеет она тон чистый, без примеси. Губит сыновей моего рода любовь к девушкам из кочевого племени фар. Между нами и фаритами — кровь, и этого не избыть.

Эртхиа стиснул ладони, приготовившись внимать и не упустить ни слова. Хозяин говорил и говорил, и все истории были как одна, прекрасны и печальны, и все заканчивались одинаково.

Об умирающих от любви

Рассказывают, что первым из влюбленных был Хутуни.

Однажды он поехал на охоту к гельту. А туда пришли купаться девушки из племени фар. Хутуни оставил верблюдицу, сам укрылся в траве и смотрел. Одна из девушек распустила косы. А он любовался белизной ее тела сквозь черноту волос, потом сошел с горы и хотел оседлать верблюдицу, но не смог и целый час просидел на земле. А раньше ему ставили рядом трех верблюдиц и он их перепрыгивал.

А еще говорят, он подъехал к гельту, когда Урава с другими девушками пришла за водой. Он увидел ее и лишился чувств. Она подошла и побрызгала ему в лицо водой. Он очнулся и сказал:

— Разве за убитым ухаживает убийца?

— Это уж слишком, — сказала она и улыбнулась.

Тут любовь и вошла в их сердца.

Хутуни вернулся домой и все повторял:

— Я отправился на охоту и сам оказался добычей.

Говорят и по-другому: что он ехал по своим делам мимо тех мест, где жило ее племя, и остановился возле палатки ее отца. Она вынесла ему воды и предложила отдохнуть в тени. Пришел ее отец, приветствовал гостя, для него закололи верблюда, и Хутуни весь день пробыл у них.

Он уехал и скрывал свои чувства, пока мог с ними совладать. А когда это стало ему не под силу, он стал воспевать ее в стихах, и все об этом узнали.

Он еще раз приехал к ней и увидел, что ей известно о его любви и что она любит его.

Тогда Хутуни пошел к своему отцу, но тот строго сказал:

— Оставь ее. Ты должен жениться на одной из дочерей твоего дяди.

Опечаленный, он пошел к своей матери, но она сказала:

— Не будет в наших стенах фаритки.

Рассказывают также, что он болел и был при смерти, а его мать нашла Ураву и умоляла ее прийти и утешить ее сына. Но Урава только дала ей прядь своих волос, и аромат их исцелил Хутуни.

Но родственники ее догадались, в чем дело, и решили его убить. Она прибежала к Хутуни и умолила его уехать в Удж, где он будет в безопасности: в Удже место торговли, и там прекращается всякая вражда, и даже кровные враги в Удже просто не смотрят друг на друга. И Хутуни послушался ее.

Всякий раз, думая о ней, Хутуни доставал ее прядь, подносил

ее к лицу и наслаждался ароматом. А однажды он вышел куда-то по своим делам и обронил по дороге эту прядь.

Хутуни очень огорчился и решил вернуться домой. Там ему сказали, что девушку выдали замуж за одного мужчину из племени фар. Когда он узнал об этом, то так разволновался, что лишился чувств. Его хотели поднять, смотрят — а он мертв.

Услышав о его смерти, она плакала несколько дней, и муж не мог успокоить ее. Однажды ночью она вышла к гельту и бросилась в воду. Муж успел вытащить ее, но утром она умерла.

Но многие утверждают, что у них вышло по-другому.

Когда ему сказали, что Ураву отдали замуж, он сказал: «Видно, пришел мой час», — сел на верблюдицу и поехал домой. Но братья Уравы искали его, чтобы убить, и ему пришлось вернуться в Удж, так и не повидав ее.

А ее муж привел в Удж верблюдиц продавать. Он поил их, а Урава сидела у водоема. Хутуни увидел ее и вскрикнул. Она вскочила, они бросились друг к другу, обнялись и упали. Муж подошел, а они мертвые.

А еще так говорят: Хутуни уговорил человека, почитаемого всеми, просить за него отца Уравы. Все согласились, но отец Уравы сказал, что без согласия отца жениха не о чем и говорить, так принято у детей песка. «Горе мне!» — признался Хутуни. — «Мой отец никогда не примет в дом фаритку». Тогда почитаемый всеми пришел в селение Хутуни, увидел его отца, разулся и пошел к нему босиком по горячему песку. «Что я могу сделать для тебя?» — вскричал отец Хутуни. Так и сговорились.

И рассказывают, что мать Хутуни была недовольна, потому что ее сын всегда был при ней, а теперь стал бывать у нее редко, и жил с Уравой в палатке, как фарит. И Урава пять лет не рожала детей. И мать говорила отцу: «Если бы ты женил его на такой, которая могла стать матерью, у тебя уже был бы внук, он продолжил бы твой род и хранил бы твой дом и имущество».

С этим они явились к сыну и предложили ему оставить Ураву, но он наотрез отказался. Так он им противился, и шло время. Однажды отец сказал: «Хватит позора мне и нашему роду», вышел из дому и сел на песок под полуденным солнцем и сказал, что не уйдет в тень, пока Хутуни не разведется с Уравой. Хутуни услышал об этом, пришел туда, накрыл отца своим плащом и стал возле него и стоял, пока солнце не село. Потом пошел к Ураве. Они говорили всю ночь, обнимали друг друга и плакали.

— Не разводись со мной, ты погибнешь, — повторяла она. Но делать было нечего. Когда он уходил, она пыталась его удержать, а рука у нее была в шафране, и от шафрана на его рубахе остались пятна.

Когда Хутуни вернулся в свой дом, Урава собралась и отправилась к своему племени. Он вышел утром из селения, увидел пустое место там, где стоял их шатер, и упал без чувств.

Он заболел, едва не лишился рассудка. Отец испугался, что он совсем умрет, и в скором времени женил его на девушке из другого селения, но Хутуни даже не разговаривал с ней.

А может быть, это был не Хутуни, а другой человек.

Дальше говорят, что родители женили его на девушке из их племени, и когда Урава услышала об этом, сказала: «Я из-за него отказывала всем, а теперь не стану». И вышла замуж. А он к той девушке и не прикоснулся.

Как-то Хутуни привел верблюдицу в Удж на продажу. Ее купил человек и сказал: «Приди за деньгами завтра в дом такого-то». Хутуни пришел, а там Урава. Тогда Хутуни воскликнул: «Зачем тебе две мои верблюдицы?» — и убежал. А еще говорят, он повернулся и ушел, ничего не сказав. А Урава сказала мужу: «Что ты наделал? Это ведь Хутуни». Муж догнал его и предложил, чтобы сама Урава выбрала между ними, и поклялся, что даст ей развод. Он был уверен, что она ненавидит Хутуни и не выберет его. А она все-таки выбрала Хутуни.

Пока они пережидали время очищения, Урава умерла. Он пришел на ее могилу и вскоре там же умер.

А еще говорят, что он умер, потому что увидел мужа Уравы в рубахе, на которой был точно такой же след от ее ладони, как у него, когда Урава пыталась его удержать. Оттого и умер.

Вот их история, рассказанная в точности так, как я сам ее слышал от надежных людей, заслуживающих доверия.

О ночном разговоре

Постель им приготовили в той же просторной комнате, поверх ковров настелили гладкой ткани, пахнущей курениями, нанесли подушек разной толщины и размера, и длинных, и круглых, и так ловко скроенных и набитых, что их длинные углы выступали тугими рожками. У постелей поставили знаменитые здешние кувшины, в которых сохраняется вода свежей и прохладной. Стенки их были покрыты бисерными каплями воды.

— Сможешь ты тут спать? — спросил Тахина Дэнеш.

— Я боялся, что ты и совсем в дом войти не сможешь… — сказал Эртхиа. — Что вспыхнет все, как тот тамариск.

— Я и сам не всегда знаю, смогу ли, — ответил, озабоченно хмурясь, Тахин. — Неживых вещей я могу касаться, им ведь не больно. Только должен быть спокойным, очень спокойным. И ты меня сейчас не спрашивай, почему я к дарне не прикоснусь.

— Не спрошу, — пообещал Эртхиа.

— Здесь стены глиняные, гореть, кроме ковров и подушек, нечему. Если что, водой залить можно. Зальете? — не подымая глаз, уточнил Тахин. Эртхиа потянулся прикоснуться к нему рукой, но над плечом задержал руку и, почувствовав жар, в растерянности руку убрал. Тахин улыбнулся ему.

— Лучше будем спать, — и сам первым осторожно вытянулся на простыне, поближе к стене, подальше от кувшина.

Слышно было только, как песок бросается на стену и метет по крыше, как гудит ветер.

Эртхиа заснуть не мог.

Стоило ему закрыть глаза, виделась золотая от солнца гладь воды и девушки на берегу.

— А почему это, — приподнялся он на локте, — все истории начинаются у воды?

— Не все, — заметил Дэнеш.

— Она ему пить вынесла, — напомнил Тахин, отворачиваясь от стены.

— Очень ясно все: умирают от любви, как от жажды. Пустыня, — сказал Дэнеш.

Эртхиа зажмурился, и на этот раз ему привиделся дворик с фонтанами, мокрые колечки детских волос, Джана и Рутэ в тени веранды и хмурая Ханнар, богиня, качающая веснушчатыми пальцами в голубоватой воде. И невидимая, но ощутимая тень беды и гибели колыхнулась и встала над ними. Он задержал дыхание, чтобы пережить этот миг смертельной тоски и ужаса.

— Наверное, это не самое страшное — умереть от любви, —

сказал он, когда отдышался.

— Я им всегда завидовал, — согласился Тахин. — Не знаю большей удачи, чем умереть, когда жить невозможно.

— Как им это удавалось?

— Это можно, — задумчиво сказал ашананшеди. — Это умеют… Но, по-моему, здесь совсем другое: они умерли не нарочно.

— Не счастье ли — умереть обнявшись, на краю разлуки, не видя и не чувствуя ничего в мире, кроме любви, и так мгновенно и легко? Сколько раз я сокрушался более всего о том, что не могу прямо сейчас умереть и не жить дальше эту жизнь, которой я ни у кого не просил…

— В каких книгах рассказывается о них? — спросил Дэнеш.

— Это «Украшение рынков подробными рассказами о влюбленных» и прекрасная книга «Достаточность сострадания в описании дней влюбленных», — сказал Тахин. — Разве что имена не всегда те же самые. Может быть, такое случалось со многими. В те времена. Знаменитое «Ожерелье» написано позже, и там умирают уже по-другому: в длительной тоске, изнемогая от скорби. Нынче же от любви не умирает никто.

— Ну, — смутился Эртхиа, — ты разве знаешь, как оно нынче?

— В мое время уже не умирали.

Не знаю, в самом деле, умер бы Аренджа, если бы я не открылся ему? Но после он не умер, и выходит, что я сам лишил его высокой участи умереть от любви, взамен оставив ему возможность предать? О силки Судьбы!.. И вот этим мы платим за любовь?

О том, как евнух позаботился о царе

Дождь нагрянул в середине дня. Ветер выпрыгнул из-за гор, налетел на долину, сбил набок листву, поднял, закрутил столбами пыль между белых стен Аз-Захры, пригнал тучи. Издали было видно, как они идут, а под ними густеет сизоватая мгла, заволакивая простор. И вот дошли, и быстрые капли застучали по крышам, по мощеным улицам. Ненадолго поднялся запах смоченной пыли, но дождь прибил его, густея и убыстряясь, стук и звон слились в один сплошной гул, все нараставший.

Кинулись закрывать окна ставнями. Акамие отозвал рабов от любимого балкона, стал в дверях. Капли летели перед самым лицом — белые, наискось. Он вытянул руку. Вдруг, сам не слыша и не понимая, громко и ясно сказал:

— Хочу отсюда!

Хойре, поднявшись из-за наклонного столика, бегом подбежал, поклонился.

— Прости, повелитель, не расслышал.

— А? — вздрогнул Акамие.

— Не расслышал, — повторил Хойре, еще ниже кланяясь.

Акамие сделал ему знак молчать и отвернулся к дождю. Тот же странный морок, что и всегда (с тех пор как царь Аттанский и его спутник покинули Аз-Захру), стоял перед глазами, ослепляя. Вот что это было: как будто смотришь на картинку в книге, яркую, подробную, а в ней одна фигура вырезана, и взгляду пусто в этом месте. На что бы ни смотрел Акамие, везде ему виделась эта вырезанная фигура, пустота от нее. Ничто не могло ее заполнить: ничто не подходило, не совпадало, между краями зияло отсутствие. И вся картина, все прекрасные и занимательные, искусно и тщательно выписанные ее подробности от этого лишались смысла.

Так и сейчас, глядя на дождь, видел в нем вырванный лоскут, на месте которого должен быть тот, кто стоял бы сейчас между ним и дождем, между ним и всем.

Слух так же не берег покоя. Шороха ждал, скрипа, легких шагов. Знал ведь: если бы в самом деле — ни звука, ни предчувствия звука не услышал бы! Но на каждый шорох оборачивался. А ведь сам шорох говорил: нет, это не он, нет.

Оставаясь один в покоях, то и дело поднимал голову от книги, смотрел на дверь: не вошел ли? Забываясь, много раз за ночь так взглядывал на дверь.

Устал.

И некого спросить, откуда взялось то, что обездолило его, то,

что он ощутил впервые, оставшись наедине с Дэнешем в пустой тронной зале, когда губы еще выговаривали слова любви и покорности, а в сердце неодолимо росло иное. Но не раньше, чем его рука потянулась к руке возлюбленного, он смог понять, что ей никогда не дотянуться. И он ужаснулся ловушке, в которую попал, но сделатьуже ничего не мог. И первую ночь, которую они с Дэнешем провели вдвоем, наедине, они провели в царской опочивальне, сидя на разных концах ложа и глядя друг на друга глазами обманутых детей. Только утром они догадались, что соединить руки нет запрета, и поверили, что тонкую ниточку счастья и им уделила Судьба.

Тонкая-то нить и режет пальцы.

Я отказался от любви, сказал себе Акамие и повторил это трижды, силясь понять, что он такое говорит, и не смог. И наморщил лоб, и жалко улыбнулся. Я отказался от любви, а кому это нужно?

Еще оставалось время до часа царской милости, время свободы, когда он мог остаться сам с собой — и с Дэнешем, где бы он ни был.

Перелистывать нечувствительными пальцами листки с выписками и заметками, и скользить по ним невидящим взглядом, и предаваться своей любви, зная, что это, хоть и преступно, все же ему позволено. Хоть это.

Устал.

Хойре очень тихо, так что еле слышно было из-за дождя, но настойчиво покашлял. Акамие теперь и рад был отогнать печаль. Обернулся, посмотрел благосклонным взглядом.

— По моему разумению, повелитель пребывает в мрачном расположении духа, потому что… — Хойре помолчал, осторожно взглянул на повелителя.

— Ну? — Акамие поощрил его продолжать.

— Потому что давно ни с кем не делил ложа, — продолжил Хойре. — Это приводит к угрюмости, убивает аппетит, порождает ядовитые пары в сердце и в голове…

— Ты сведущ во врачевании?

— Только этого недуга, повелитель.

Акамие усмехнулся.

— И ты мог бы устроить так, чтобы я был исцелен?

Хойре кивнул.

— Ты мог бы найти и привести сюда мужчину, который…

Хойре кивнул.

— Мне, царю и твоему господину?

Хойре никак не ответил.

— Ну, положим. А что потом с ним делать? Убить? Вырезать

язык? Или стать рабом его честолюбия, или алчности, или жажды власти — или просто жертвой его болтливости?

— Повелитель не подумал, что это может быть кто-нибудь из его рабов, — заторопился Хойре. — Уроженцы Ассаниды славятся своим ростом и силой, жители Побережий очень красивы, а черные невольники известны своей похотливостью, так что многих из них приходится оскоплять, лишь бы они не нарушали спокойствия в доме.

Тут Хойре, чтобы показать искренность своей заботы, поднял взгляд на повелителя, и тут Хойре увидел, что руки повелителя дрожат. Повелитель перехватил его взгляд и сжал кулаки. Голос его стал резок.

— Я не нуждаюсь в твоих советах и помощи… в этом деле. Не смей говорить об этом. Никогда. Забудь. Это…

— Это не мое дело, повелитель, я понял. Но, может быть, повелителю угодно, чтобы к нему привели девушку? Осмелюсь заметить, что повелителю для первого опыта следовало бы прибегнуть к женщине, сведущей в этом деле, и такая у меня есть.

— О! Где же ты ее держишь, так чтобы это сохранилось в тайне?

— Если повелитель простит своего недостойного раба…

— А если и не простит? — Акамие покусывал губы. — Говори уж!

— Если не простит, моей голове недолго осталось украшать мои плечи. Я взял некоторые ценности, не в казне, нет, а в тех покоях, которые повелитель не посещает… И я поручил одному из незначительных слуг повелителя, который по долгу службы часто покидает дворец, присмотреть на рынке невольницу, выращенную для ночной половины, молодую и красивую, но уже служившую прежнему хозяину. Я передал ему это поручение якобы от имени повелителя. Я полагал, что, если повелителю понадобится невольница такая, как я приобрел, то он будет доволен моей расторопностью, и я легко смогу отчитаться в издержанных средствах. А если невольница не понадобится, ее можно продать.

— Ах вот как! — покачал головой Акамие. — Значит, эта женщина содержится в доме моего незначительного слуги, и может быть доставлена сюда сию минуту?

— Он живет неподалеку от дворца. Послать за невольницей?

— Погоди. И, конечно, у тебя есть список ценностей, которыми ты расплатился за купленный товар?

— Есть, повелитель. Так послать за девушкой? Когда повелитель ее увидит, это будет не то, что теперь. Слова есть слова, а плоть есть плоть.

— Полно, Хойре! — махнул рукой Акамие. — Если тебя хоть

чему-нибудь учили, ты должен знать, что мне уже не изменить моих вкусов. Воспитатели занялись мною, когда мне и двух лет не было. И воспитатели были лучшие, каких только можно найти на этой стороне мира. Оставим все как есть.

— Я надеялся, — сказал Хойре, упрямо опустив голову. И за это Акамие простил ему много — на прошлое и на будущее. — И потом, трон Хайра…

— У трона Хайра есть наследник.

Акамие, отряхивая промокшие от брызг мягкие туфли из желтой кожи, отошел от балкона. Хойре за его спиной сделал знак рабам закрыть дверь.

Акамие присел на лежанку, его переобули, принесли новую одежду. Хойре, почтительно сложив на животе руки, стоял поблизости.

— Все же я доволен, — наконец обратился к нему Акамие. — Ты позаботился обо мне, как мог, — и даже более того. Я награжу тебя.

— Слуге не положена награда, когда он только выполняет свой долг, — поспешил сказать Хойре. Но Акамие, шевельнув рукой, заставил его молчать.

— И ты позабавил меня. За это я тоже тебя награжу. И моего незначительного слугу… Скажи ему, пусть продаст девушку. Цену невольницы пусть оставит себе. Или саму невольницу. И — не пора ли открыть ворота для ожидающих царской справедливости? Если кто-то остался ждать в такой ливень…

— Позволит ли повелитель распорядиться, чтобы об этом разузнали и доложили?

Акамие махнул рукой.

О том, для чего он это сделал

В затененном внутреннем коридоре из бокового прохода навстречу Хойре шагнул человек. Хойре вздрогнул и остановился, остановившись поклонился низко и спросил:

— Не будет ли неосторожным разговаривать здесь?

— Хватит! — резко перебил придворный. — Который уже день ты откладываешь разговор. Хитришь, евнух. Отвечай прямо: ты предлагал ему?

— Да, господин, — вздохнул Хойре. — Да, но он отказался.

— Достаточно ли ты был настойчив?

— Настойчив я и не мог быть, иначе он заподозрил бы неладное. Но я предлагал ему всяких — и из Ассаниды, и с юга из Уджа, и…

— Мне это не интересно, — брезгливо оборвал его тайный собеседник. — Так он отказался?

— Однако особого гнева я в нем не заметил. Только удивление. Я полагаю, господин, что нам стоит подождать еще. Хоть он и стал царем, но сам признает, что остался прежним. Только одного мы еще не предусмотрели, и надо позаботиться об этом заранее. Что делать, если задуманное совершится? Раб — не свидетель.

— В делах ночной половины евнух — свидетель.

— Но что тогда ожидает меня?

— С ним будет покончено. И ты — в безопасности. Твое дело — знать все о нем и сообщать мне своевременно. Доверяет ли он тебе?

— Как никому из дворцовых евнухов. Если вообще он может доверять нам. Но точно: ни к кому кроме меня он с этим не обратится. Можешь быть уверен, господин.

— Значит, ты должен склонить его к этому, евнух. Разве ты не знаешь средств, возбуждающих похоть?

— О, их достаточно! Семена кассии и зерна чуфы, особенно сваренные в меду и высушенные. Или например ла`ба барбарийи, она возбуждает все тело, или пупок пустынной ящерицы, или сушеный хамелеон, или просто медовая вода с небольшим количеством шафрана. А из сложных лекарств — семя свежего дикого индау с коровьим топленым маслом или петушьи яички с солью ящерицы, а такая соль приготавливается следующим образом…

— Когда у меня будет нужда в этих средствах, я обращусь к лекарю. А ты ищи возможность накормить этой пищей сына рабыни.

— Но за пищей его — надзор.

— Все равно. Рано или поздно привычка и натура должны возобладать над осторожностью. Недаром государь Лакхаараа отправил его в заточение — знал его сущность.

— Да, его сущность такова… — подтвердил Хойре. — Кто рано попал на ночную половину, кто был воспитан, как он, и так долго делил ложе с господином — не изменится, таким и умрет. Ему не устоять. Но мне кажется, он не удовлетворится малым, и впустить в свою опочивальню раба — не его поступок. Ведь он делил ложе с царем.

— И с наследником Лакхаараа.

— Так говорят.

— И с царевичем Эртхааной.

— Так говорят.

— И с Шаутарой, не говоря уже о близости его с молодым Эртхиа!

— Об этом трудно судить…

— Это всем известно! — отрезал говоривший.

— Все так говорят, — согласился Хойре.

— Это всем известно, евнух.

— Если всем известно, что же еще нужно?

— Нет, этого мало. Этому нет доказательств. И он не был тогда царем. Надо, чтобы сейчас, вот сейчас он пренебрег честью и тем нанес оскорбление всему Хайру, и чтобы это стало всем известно, и нашелся свидетель. Тогда ему конец. Если же теперь переворошить старые сплетни, мы только Хайру прибавим позора. Надо, чтобы сын рабыни сам опозорил себя, и тогда мы покончим с ним. А когда он будет предан огню, как велит закон, честь Хайра очистится в этом огне. Но все должно произойти быстро. Поэтому ты, евнух, склони его к запретному, немедленно сообщи мне, но ничего больше не предпринимай, пока я не дам тебе знака. Как только мы будем готовы действовать — тогда и должен открыться его позор. Не раньше.

— Я понял все, господин, — поклонился Хойре. В темном коридоре лица были едва различимы, только неживым блеском отсвечивали кое-где краешки золотого шитья на одежде, улавливая слабый свет дальних окон. — Но постарайся найти среди свободных всадников того, кто мог бы его увлечь.

— Кто на это согласится?

— Он все еще прекрасен. Только год назад царевич Эртхаана домогался близости с ним…

— А казнь?

— Обмани, — пожал плечами евнух. — Может быть, кто-то и поверит, что сможет остаться безнаказанным после такого…

— Хотел бы я знать, отчего все-таки он доверяет тебе?

— Хочешь, я скажу тебе, господин?

— Скажи.

— Он сам был дерзким рабом — и я таков. Он был с рождения обречен незавидной судьбе — и я таков. Ему не изменить своей сущности — и я таков. Но это не все, господин, потому что дворец полон невольников, и многие из них — евнухи, а некоторые дерзки, но он отличает из всех только меня.

— В чем же причина?

— У него был невольник, подаренный ему отцом. Тот, что ныне сопровождает государя Лакхаараа на той стороне мира. Их связывала дружба и общность судьбы. Этот невольник был родом из племени… из того же племени, что и я. Вот и все, господин. Поэтому он верит мне.

— Но это всё основания, чтобы я тебе не доверял!

— Напротив, господин! Царь забывает: никогда страж не станет на сторону узника, особенно такого, который отнял у стражей тюрьму и оставил их без дела и без того, пусть малого, почета, который им положен. Наша жизнь теперь лишена всякого смысла, и мы лишены всякой ценности. Все, что нам оставалось — власть над порученными нашей заботе и бдительности, возможность возвыситься, угодив повелителю. Теперь не осталось и этого. Что же остается? Только желать другого повелителя, который будет использовать нас — и награждать.

— Ты корыстен.

— Чего же ты ожидал, господин, от человека моего положения? Разве я всадник, чтобы иметь благородные помыслы? Но, господин, у каждого — своя корысть. Кто-то жаждет править царством, кто-то ночной половиной. Судьба каждого ставит на свое место. Большего мне не надо. Но и меньшим я не удовлетворюсь.

О том, что из этого вышло

Много позже, когда царь, отужинав с сотрапезниками, пришел в ночной покой, он позвал к себе Хойре. Тот, как всегда, оказался поблизости.

— Что угодно повелителю?

Царь сказал:

— Ты обещал сегодня, что приведешь сюда мужчину, если я того пожелаю. Ты можешь это сделать незаметно?

— Я обучен предотвращать подобное, я знаю все хитрости и уловки, которые способствуют достижению этой цели.

— Ты смог бы и сегодня?

— Одно слово повелителя…

— Сделай это.

И сказал, кого он ждет.

И Хойре вышел из дворца и искал в городе, и нашел дом Арьяна ан-Реддиля, и передал повеление царя явиться во дворец, пройдя путями тайными, каковыми проведет его посланный от царя.

Арьян ан-Реддиль, хмурясь, завернулся в плащ и отправился с Хойре. Ночь уже перевалила за половину, когда евнух оставил тайного гостя в крайнем покое, а сам поспешил доложить царю. Не сразу нашел его — в библиотеке.

— Что же ты, — упрекнул Акамие. — Обещал сделать тайно, а оставил его ждать там, где его могут увидеть.

— Все спят, повелитель, — успокоил Хойре.

— Все равно. Надо было вести его сразу сюда.

— Уже веду, — поклонился Хойре. — Но разве повелитель не распорядился приготовить для себя наряды и умащение?..

— Я жду! — оборвал его царь. И, когда Хойре вышел, прижал ладони ко рту и сидел так, а потом принялся торопливо вытирать глаза и щеки, сначала пальцами, а после краями рукавов. Как раз успел.

Встал навстречу Арьяну, радушно улыбаясь, пряча в пальцах мокрые края рукавов, торопливо сказал:

— Нет нужды кланяться, сейчас не сидение в совете, и нет никого, перед кем надо… — сбился, перевел дыхание. — Перед кем надо соблюдать видимость…

Опять остановился, покачал головой. Посмотрел в напряженное лицо Арьяна.

— Ты знаешь, зачем я позвал тебя?

— Да, я знаю, — с тяжелой усмешкой ответил ан-Реддиль. — И я пришел, чтобы сказать тебе… Не хотел идти, решил: не

пойду, — но этого мало. Я скажу тебе: не надейся, что можешь склонить меня… А я тебе поверил, что ты — царь. Я тебе поверил…

Арьян с отвращением махнул рукой.

— Я сказал, а теперь ухожу.

— Постой, — потянулся к нему Акамие.

Арьян отшатнулся брезгливо.

— Ты одним можешь удержать меня, сын рабыни: зови стражу. Но никто не заставит меня прикоснуться к тебе.

— Стой! — срывая голос, крикнул Акамие ему в спину, когда он уже откинул завесу на двери.

— Стой же, — получилосьхрипло и зло, так он и продолжил. — И слушай теперь меня, ради справедливости. Ведь я выслушал тебя, не перебивая.

Арьян обернулся через плечо, смерил его надменным взглядом. Акамие улыбнулся, ответил таким же.

— Да, ты храбрец из храбрецов, ан-Реддиль. Но твоя храбрость настолько же больше твоей мудрости, насколько ты сам больше меня. Зачем, ты говоришь, я позвал тебя? Ничего забавнее ты не придумал? Поверил, говоришь, что я — царь? А при первом случае придумал гадость, как все вокруг? Только этого и ждете. Я проводил тебя как друга — и встретил как друга. А ты… Иди, я не стану тебя удерживать. К дружбе не принуждают. Ну! Уходи!

— Отчего же ты не послал за мной днем, открыто? — возмутился ан-Реддиль, забыв о том, что с царем говорит.

— О разумнейший ан-Реддиль! — засмеялся Акамие. — И что бы тогда о тебе сказали? Разве ты вельможа или царедворец, чтобы царь мог послать за тобой, и никто бы не удивился? Да на всех базарах Хайра стали бы распевать о тебе песенки ничуть не хуже, чем ты сам умеешь сочинять. Как это?

Но раз уж он здесь,
раз он здесь перед нами,
открытый, как дешевый
мальчишка у сводника,
нечего делать, давайте…

— И что дальше, ан-Реддиль?

Темная краска залила лицо ан-Реддиля.

— Прогони меня скорее. Скажешь идти в Башню заточения — я сам туда пойду, там мне и место…

— Ан-Реддиль, утешение мое, не узником ты мне нужен — другом. Разве мы не говорили весь день и не расстались, довольные? Ты напомнил мне брата моего Эртхиа, хоть велика

между вами разница. Так ли я страшен, что ты ни за что ко мне не прикоснешься? Так велико твое отвращение? — и протянул ему обе руки.

Арьян стоял, набычившись, пряча глаза.

— Не дашь рук?

— Стыдно мне теперь.

— Тогда я сам тебя за руки возьму — не убежишь?

Тут пришлось Арьяну подать царю руки.

— Друзья?

— Друзья, — вздохнул Арьян.

— Ну вот и все, — улыбнулся Акамие. — Можешь идти. Мой евнух тебя проводит.

— Это и все, для чего ты позвал меня? — опешил Арьян ан-Реддиль.

— Если пребывание здесь так тебе невыносимо…

— Нет, повелитель, нет.

— Я хотел поговорить с тобой. С кем же мне еще? Сам подумай… Думал, ты мне еще расскажешь про твою Ассаниду, а она дорога моему сердцу из-за упоминания ее в одном свитке, который не сохранился от времени, но каждое слово его записано лучшим почерком в свитке моей памяти… Присядь здесь. Разве не видишь: я ждал тебя в библиотеке, не в опочивальне. Так всегда со мной: что перед глазами — того не видят, но уж измыслят такое, что и мне вчуже стыдно.

— Прости меня, — снова помрачнел ан-Реддиль. Акамие вскинулся, замотал головой:

— Уже простил и забыл. Знаешь, о чем я больше всего жалею?

— О чем же?

— Что нельзя мне послушать твоих песен.

— Отчего же нельзя, повелитель? Сейчас же я пойду и принесу Око ночи, и буду петь тебе хоть до утра. Честь для меня какая, что ты хочешь слушать меня, после того, как для тебя пел сам Эртхиа Сладкоголосый!

— Утешение мое, ан-Реддиль! Лучше было бы послать к тебе в дом драгоценные одежды и всадников с факелами, чтобы проводили тебя во дворец с почетом. Что скажут, если среди ночи услышат твой голос из моих покоев?

— Клянусь, ты узник здесь! Как же ты живешь, повелитель?

— Как повелитель, — Акамие передернул плечами. — Но и то радость, что ты здесь, и мы можем поговорить. Не будешь ли ты против, если я приглашу к нам третьего? Он давний и верный свидетель моей бессонницы и моих трудов, весьма разумен и на зависть образован.

— Как тебе угодно.

— Хойре, иди к нам, — позвал Акамие, и Хойре тотчас приблизился. — Давайте перенесем сюда светильники.

Оказалось, что в тени скрывался круглый столик. Между грудами белой халвы, между бугристыми гроздьями винограда, между редкостными красночревыми дынями нашелся и кувшин вина, и колотый лед подтаивал в глубокой толстостенной вазе. Пока переносили светильники, Арьян хмурился и неодобрительно косился на евнуха, с которым предстояло сидеть за столом как с равным. Акамие вроде бы не замечал, только вдруг, потянувшись за светильником, сказал ан-Реддилю почти в самое ухо:

— О моих друзьях суди по себе.

И тот смутился.

И вот они стали есть и пить, и Акамие, как заботливый хозяин, предлагал им то одно, то другое, а Хойре подливал в чаши вино. Но никак не рассеивалась неловкость, и все трое от нее страдали. Тогда Акамие сказал:

— Если мы не можем сегодня послушать песен, пусть тогда Хойре расскажет нам что-нибудь из тех историй, которые он знает.

— С радостью повинуюсь, — отставил чашу Хойре. — Не желает ли повелитель услышать историю о рыбках?

— Ты знаешь ее, Арьян? — спросил Акамие.

— Нет, повелитель.

— Тогда рассказывай, Хойре.

И они уселись удобнее и приготовились слушать, а Хойре начал так:

— В давние времена один купец увидел на базаре девушку. Ее продавали за очень низкую цену, притом что она была красива до крайности. Но из-за цены все думали, что в ней есть тайный изъян, и не брали ее. А купец, когда увидел ее, лишился сердца, и подошел, и заплатил сколько просили, и увел ее, не осведомившись, отчего так мала за нее плата.

И когда привел ее домой, возлег с нею и весьма обрадовался, найдя, что она — жемчужина несверленая. А после стал расспрашивать ее и говорить с ней, но не услышал в ответ ни единого слова. И он удивился и огорчился от этого, потому что был ласков с девушкой и окружил ее заботливыми служанками. И не прекращал навещать ее каждый день и одаривал ее подарками. Но ни слова от нее не услышал за все время.

И поручил служанкам следить за девушкой и, если заметят необычное и странное, немедленно доложить купцу. И вот ночью служанки прибежали и сказали, что девушка сидит на постели и плачет. Купец поднялся, взял одежду и побежал к девушке.

Она сидела на постели и открывала рот, как бы для того, чтобы говорить, но ни звука не вылетало из ее уст. И по щекам катились слезы.

— Так ты немая! — обрадовался купец. — А я боялся, что противен тебе. Отчего же ты раньше не дала мне этого понять? Может быть, можно помочь твоей беде? Есть у нас искусные врачи, и если их искусство может помочь тебе, считай, ты исцелена.

Но девушка заплакала еще горше, и била себя в грудь, и тряслась от плача, но ни единого звука из ее уст не услышал купец.

— А может быть, ты околдована? — спросил купец, и девушка знаками дала понять, что так и есть.

— Есть ли средство помочь тебе? — спросил купец, и получил тот же ответ.

И тогда купец пошел на базар и нанял людей, чтобы кричали весь день, что такой-то, сын такого-то, заплатит сколько запросят тому, кто откроет, как исцелить его невольницу и избавить ее от чар.

И многие приходили и говорили разное, но девушка все отрицала, и купец прогонял их.

И пришел один человек и сказал:

— Радуйся, слава купцов, есть исцеление и помощь от чар. Знай, что твоя невольница — дочь заморского царя, которую полюбил чернокнижник из самых вредоносных, ипосватался к ней, но отец девушки отказал ему и пренебрег его угрозами. Тогда чернокнижник вызвал ночных духов, чтобы те похитили ее, и они похитили девушку и перенесли на далекий остров. А на том острове есть озеро, и в озере живут маленькие блестящие рыбки. И чернокнижник вынул из девушки голос и вложил в рыбку, и отпустил рыбку в озеро. Кто найдет остров, а на острове озеро, а в озере рыбку, тот пусть приготовит ее и даст девушке поесть. И голос к ней вернется. Но если ошибешься, поймаешь рыбку с чужим голосом, она станет для девушки как отрава и убьет ее.

А теперь, мой повелитель, позволь мне остановиться на этом, потому что приблизилось к нам утро, и при дневном свете не будет средства вывести отсюда твоего гостя тайно, и здесь его не укрыть от чужих глаз.

Акамие и ан-Реддиль еще какое-то время сидели тихо и неподвижно, как ожидающие продолжения, и не сразу очнулись.

Тогда Акамие попрощался с гостем ласково, спросил, не придет ли еще ан-Реддиль навестить царя в его заточении, и ан-Реддиль ответил: «Если позволишь — непременно». И царь поручил евнуху проводить ан-Реддиля незаметно из его покоев и

из дворца, пока не рассвело.

Когда же Хойре вернулся, Акамие спросил:

— Что за история? Никогда такой не слышал. И чем же кончается она? Найдет ли купец остров? Поймает ли рыбку?

— Ах, господин, не спрашивай меня. Знать не знаю в этой истории ни словом больше, чем рассказал тебе.

— Как это? — удивился Акамие. — Взялся рассказывать историю, которой не знаешь до конца?

— Нет у нее конца и не было никогда. А взялся я ее рассказывать, чтобы удержать здесь твоего гостя, чтобы пришел еще: видел ли ты, господин, как горели его глаза, пока я рассказывал?

— Нет, Хойре, я так заслушался, что не видел вокруг ничего.

— Вот и он так. Для того я и затеял…

— Вот придет он в другой раз, и что ты скажешь? Как продолжишь?

— Пока не знаю, господин. Придется признаться ему…

И Акамие рассмеялся и отпустил его спать.

О строящих козни

И вельможа сквозь дрему, не разнимая ресниц:

— Евнух, который мне обо всем доносит, говорит, не в чем уличить этих.

И царица, лениво ласкаясь, сквозь сытую, сонную, блаженную, усталую улыбку:

— А что же нам делать? Ай-яй, что же делать? А я знаю, сладкий мой, сладкий, Хатнам Дерие знает, что теперь делать, слушай…

И, обхватив руками его голову, прижав между грудей, говорит быстрее:

— А нужно сделать вот что: пусть евнухи соберутся возле его покоев в час, когда ан-Реддиль будет там, и пусть все разом кричат: горе нам! горе Хайру! царь позволил надругаться над собой! — и пусть ворвутся и схватят их, и совлекут с них одежду. И пусть их держат крепко и выведут из внутренних покоев, чтобы все их видели. Большего и не понадобится.

— И ашананшеди? — отстранившись, он.

— Что — ашананшеди? — прильнув к нему снова, она. — Что тебе, сладкий, до ашананшеди?

— Ашананшеди позволят это сделать?

— Разве не было ашананшеди-отступников? — воркуя.

— Говорят, были у Эртхааны…

— Да, у моего Эртхааны они были. И с ними он добился бы царства, если бы не сын рабыни… Они ему были молочные братья, и я им — как мать. Так надо устроить, чтобы они охраняли сына рабыни в ту ночь, когда мы это сделаем.

— И ты можешь это устроить, женщина? Отчего же тогда жив сын рабыни до сих пор? — недоверчиво, чуть усмехаясь, потискивая гладкое плечо.

— Если бы его убили в черед моих лазутчиков, им не жить, свои же расправятся с ними, а мне они нужны еще надолго. А тут выйдет так, что не в чем их заподозрить: может, и в самом деле было то, что было, и ашананшеди подтвердят это своим, как евнухи — всем прочим. Понимаешь, мой сладкий?

— Много же ты знаешь такого, что скрываешь от меня, — отстранился, неласково щурясь.

— Зачем тебе знать все сразу? Успеешь забыть. Твоя жизнь беспокойна и полна тревог. До того ли тебе? А женская память — долгая. В тишине и покое думы глубоко корни пускают.

О Доме Солнца

Ханнар, насмотревшаяся на смерть больше, чем могла перенести, шатаясь, вошла в купальню. Она знала, что одежда ее, пропитанная смертным потом, и кровавыми испражнениями, и резко пахнущей рвотой, для нее неопасна, но торопилась снять ее и смыть с тела въевшуюся смертную грязь. Ханнар день напролет, и два, и три порой не замечала ее, но потом наставал миг, когда все тело содрогалось от отвращения и ее выворачивало прямо на пол между уложенными в тесные ряды тюфяками больных. Тогда ее рвота смешивалась с их рвотой, и Ханнар подолгу застывала и смотрела на лужи нечистот, не в силах осознать свое родство с умирающими и не в силах отстранить это осознание, накатывавшее подобно приступам тошноты. Стряхнув оцепенение — чаще всего просто оттого, что кто-нибудь из врачей окликал ее — и управившись со срочной работой, Ханнар шла ненадолго в купальню. Ей приносили туда в кувшинах горячей воды, которую постоянно грели для больных, и она сначала обливалась ею, потом скоро и жестоко терла и скребла тело грубой тканью, еще раз обливалась горячей водой и наконец ныряла в бассейн.

Она погрузилась в огромную каменную чашу, наполненную ледяной проточной водой. Холод сейчас же взял ее тело как тисками, сдавил, собрал воедино, изгнал усталось и муть из души. Дав ему проникнуть до костей и до глубины чрева, Ханнар выпрыгнула из воды как прыгучая рыба горных ручьев, гладкая, тугая, сильная. Купальные простыни и свежее платье для нее было приготовлено и разложено на каменной лавке. Сапоги — высокие сапоги для всадников, к каким она привыкла в степи, стояли тут же. В них было удобнее шагать через ряды тюфяков, лужи и грязь. Волосы она обмотала мягкой тканью и скрутила в жгут, обвязала вокруг головы, на плечи накинула чистую белую рубаху из лина, туго опоясалась. Она была готова вернуться к своим подданным. Но присела на скамью и оставалась в купальне еще немного времени, просто сидя в тишине и глядя в неподвижную воду. В конце концов, умиравшие там умирали так же споро и без ее помощи. Один за другим. Сначала еще имело смысл окатывать водой испачканные подстилки и выносить их сушиться на крышу, потом на это просто не было времени. Мертвого уносили, на его место клали живого, которого вскоре — порой в тот же день — уносили следом. Ханнар знала, что не поданная кому-то из них за время ее отсутствия кружка воды все равно не утолила бы жажду, сжигавшую больных, не утишила бы их мучений, не прекратила бы стонов, сливавшихся в огромном

помещении в один пульсирующий гул.

Все об этом знали. Врачи, ходившие вместе с ней между тюфяками, их ученики, несколько женщин, уже потерявших мужей и детей и пришедших ухаживать за умирающими в Доме Солнца, Атхафанама, трое ослушников, вопреки запрету явившихся сюда же, — из тех учеников, которых по малолетству отослали к семьям. Одному из них было одиннадцать, он был старшим. Ханнар, беспощадная к другим как к себе, сказала: «Пусть остаются. Их право». Даже Ханис-маленький, старавшийся изо всех сил, знал, что никто здесь не может ни спасти, ни хотя бы облегчить страдания. Дурманящие травы, сколько их было, все кончились. Он знал, что даже Илик Рукчи, почитаемый царевичем за чудотворца после чудесного исцеления сестренки Ирттэ, ничего не может сделать. Но как Илик Рукчи день за днем и ночь за ночью оставался здесь, как мать, всегда суровая, а теперь строго и доверительно обращавшаяся к Ханису как к равному, оставалась здесь, как тетка Атхи оставалась здесь, как оставались здесь ослушники-ученики, так оставался здесь Ханис. Он только поскуливал во сне, и Ханнар кутала его теплее и баюкала на руках, чего не делала уже с тех пор, как сын пошел сам.

Ханнар не плакала над ним. Она не умела. Она видела, что сын подружился с мальчишками и боялась для него, что смерть оборвет эту дружбу. Но этому он тоже должен научиться: терпеливо сносить все, что ни возложит ему на плечи жизнь. Она оказалась права, один из новых друзей Ханиса вскоре заболел и, как все, умер. Его учитель постоял над ним и сказал никому:

— Какой врач был бы.

— Он и был, — ответил оказавшийся рядом Рукчи. А рядом с ним важно, как взрослый, стоял Ханис-маленький и был согласен с его словами.

— Мы тут все умрем, — сказал учитель. — Кто после нас будет? Потому их и отослали. Какой от них здесь толк?

— А от нас? — сказал Рукчи. — Он делал не больше и не меньше чем мы. Его семья разве убереглась?

Учитель отвернулся, а Рукчи поскорее увел Ханиса, чтобы не видел, как взрослый мужчина плачет.

Ханнар прерывисто вздохнула, поднялась. Надо было идти. И не хотелось. А надо. И она пошла.

В коридоре ее догнал Ханис-царь. На нем тоже была свежая одежда и он на ходу вытирал мягкой тканью влажные волосы.

— Что нового? — спросила Ханнар.

Ханис даже остановился.

— Ты о чем?

— У меня нет времени ходить в Совет. И нежелательно мое

присутствие там. Так что нового?

— Ну хотя бы то, что Совет давно не собирается. Когда все приходит в такой беспорядок, самое разумное — не препятствовать ему. Главное устроено, трупы на улицах сжигают, больных сносят сюда, многие, кстати, приходят сами, как только заметят признаки болезни: здесь, по крайней мере, есть кому подать воды. В пустых домах… Да… Я был в городе.

Ханис посмотрел в сторону, сощурив глаза.

— Ну ладно, — сказала Ханнар. — Мне пора.

— Идем, — согласился Ханис.

— А ты куда?

— Да туда же. Ты не заметила?

— А что?

— Я там уже третий день.

У Ханнар дрогнули брови, но она молча повернулась и пошла впереди Ханиса.

Поздно ночью Атхафанама, всхлипывая, прижалась к мужу, обвила его руками. Ханис обнял ее поверх ее усталых, отчаянно цепляющихся рук. Ни так, ни по-другому он не мог ее защитить и не мог даже разделить с ней на равных ее страх и опасность, неминуемо ей грозившую. Рано или поздно заболевал каждый, кто ходил за больными. Из заболевших не выживал никто. И Атхафанама боялась, как только можно бояться. У нее стучали зубы и отнимались ноги, когда надо было идти туда. И Ханис так же боялся за нее. Но она была царицей — он видел, что это правда. И она была царицей Аттана, и они с Ханнар ревниво следили одна за другой, чтобы ни одной не удалось сделать больше или сильнее отличиться в этой безнадежной и слишком долгой битве. И Ханис, когда-то с великим трудом растолковавший жене вольность и достоинство аттанской царицы, теперь не смел отнять у нее то, что сам ей вручил. Она владела и была достойна владения. И ее подвиг был больше подвига Ханнар, которая трудилась, может быть, больше Атхафанамы (да ведь и была сильнее, воительница), но опасности не подвергалась.

Ханис ничего не мог изменить. Он бился в отчаянии и неприятии неизбежного. Но однажды утром он проснулся с пониманием того, что его жена уже все равно что мертва, уже мертва. И с того утра радовался каждому часу, что еще мог видеть ее, слышать ее охрипший от усталости и слез голос и помогать ей в ее трудах.

О няньке

— Доченька, госпожа, — шептала нянька и гладила ее отчужденные, безразличные пальцы. — Я травку знаю…

Зачем говорят: нянька — старая. Пятнадцати лет приставили рабыню к хозяйской доченьке. Пятнадцати лет, красавицей. А мужа ей так и не дали: чтобы нянькина невинность была охраной и порукой невинности госпожи. Доченьке теперь семнадцать. А нянька… не невеста уже, но и не старуха. Но знает много чего такого.

— Я знаю травку, госпожа, я тебе приготовлю питье. Выпьешь — и все пройдет. Никто и не узнает.

Атарика-нана повернула к ней заплаканное лицо, против воли оторвавшись от окна.

— Что ты говоришь? Он вернется. Как я встану перед ним? Как я посмею ему в лицо посмотреть?

С того дня, как уехал Эртхиа, три раза уже луна сокращалась и вырастала вновь. Теперь, когда нянька по-прежнему туго стягивала пояс, Атарика жаловалась: давит, больно.

— Терпи, доченька, солнышко мое, отец ведь убьет! А вот я травку знаю…

Атарика спорить уже не могла, исходила слезами. Но все мотала упрямо кудрявой головой.

— На беду ты себе такой красавицей выросла, доченька. Ты вот не знаешь, а бывает, что и не возвращается такой. Зачем ему? У них ведь полны опочивальни, да и в чужих садах полакомиться кто такому воспрепятствует? Сами ему двери открывают, взглядами, улыбками его приманивают. Мужчине что одна, что другая — все едино. Лишь бы… ах, доченька, сама уже знаешь, чего им нужно. А после спят они и ни лица, ни голоса уже не помнят.

— Что ты бормочешь, старая? Ты про кого это? Про царя аттанского? Прекрати! — топнула на нее Атарика. И охнула, обхватив живот руками.

— Вот видишь! — подхватила, не смущаясь, нянька. — А ему и горя мало. Приляг, доченька, вот так, отдохни тут. А я сейчас, сейчас.

У себя в комнатке открыла нянька сундучок, вынула заветный мешочек. В первый раз, когда с ней такое приключилось, она долго металась, не зная, что делать. Старая рабыня с кухни научила. В первый раз было больно. Потому что поздно: уже было почти заметно, как сейчас у доченьки. Потом-то нянька до такого не допускала, сразу делала, что нужно. А в первый раз… Ну да

ладно, потерпит доченька, нянька скатает потуже жгут из девичьей головной повязки, даст доченьке, чтобы зажала зубами. И никто ничего не узнает. А повару скажет, что для себя готовит отвар. Повару что? Он разве считает, сколько раз она пила уже эту горечь? Ему лишь бы…

— Вот доченька, попей, тебе легче станет.

— Спасибо, нянюшка. Ты смотри, смотри в окно. А я полежу. Как же так, обещал за одну луну обернуться. Глупая я, что ему не сказала. Он бы не задержался. Зачем ты про него плохо говоришь, няня, — он просто не знает!

— Попей, попей, доченька.

— Что это питье так пахнет? Няня, а не случилось ли с ним по дороге беды? Он ведь в кочевья поехал, а оттуда все и началось! Няня! Что ты молчишь? А если он не вернется? Никогда не вернется? Если он уже умер, няня, а я не знаю?

— Выпей же, госпожа, будь умницей. Ну, еще глоточек!

Атарика вскочила, отбежала он няньки на другой конец комнаты. Пригладила растрепавшиеся волосы, одернула на себе одежду.

— Я не буду это пить. Ты что-то подмешала. Почему ты отводишь глаза?

— Доченька, госпожа, для тебя же стараюсь! Ведь господин отец твой убьет тебя. И меня, конечно, убьет. Но…

— Какая же ты, няня. А говоришь, что любишь меня. Он же там, у меня, живой. Я его слышу, как он пальчиками перебирает. Ты не бойся ничего. Я скажу отцу, что зернышко проглотила…

Нянька зарыдала в голос.

— Маленькая моя! Сказки эти отец твой все в детстве слушал, тогда же и забыл. Не бывает так, доченька, Атарика-нана, не бывает никогда. Выпей, послушай меня, глупую старуху. А вернется твой царь — оглянуться не успеешь, как заново тебя начинит. Глаза у него такие, и носит он всегда красное, а кто носит цвет граната, тот и плодовит, как гранат.

— Как же можно, няня, он там живой, я знаю, я чую его!

— Можно, можно, доченька. Он пока еще не настоящий, понарошку. Он пока не будет, а потом снова станет.

— А если он на меня обидится?

— Что ты, доченька! Он не понимает ничего. Он и не заметит.

— Нет, няня, я не буду это пить. Я боюсь.

Глупая, глупая девочка. Но нянька знает, как надо, знает, что делать, нянька перехитрит свою малышку — и все будет хорошо.

И нянька пошла к повару и сказала:

— Сладостный мой, халвяной, медовый, не могу я пить это. Горько. Хоть что, не могу себя заставить и глотка сделать.

— Глупая ты, — испугался повар. — Выйдет все наружу, насмерть запорют. Мне-то что, — слукавил он, — без моих кушаний господин дня не мыслит. А вот тебе совсем не жить.

— Глупый ты, — надулась нянька. — За меня госпожа заступится. Сам знаешь, отец ей ни в чем не откажет.

— Все равно, глупые мы оба: даром нам это не пройдет. Выпей, имбирная моя, шафрановая. Ты как зернышко перца: дыхания лишаешь, а сладко. Ну, выпей еще разок.

— Глупый ты, гордость поваров! Разве не можешь приготовить мне такое кушанье, чтобы вкуса этого зелья вовсе не чувствовалось?

— Глупая, приходи сегодня ночью, я дам тебе такое кушанье.

И на следующий день, попробовав от кушанья, нянька удивилась: ни вкуса, ни запаха противной травки и следа не осталось.

— Да есть ли она там?

— Не сомневайся. Видишь теперь, как я люблю тебя.

— Пусти, пора мне.

И подали Атарике к завтраку лепешек румяных, легких, пышных, и молока кислого с шалфеем и мятой, и мягкого сыра, и сотового меда, и пряников, и сладкой воды. А еще рассыпчатого печенья с пряностями, политого розовой глазурью. Нянька хлопотала над скатертью, переставляла тарелочки, то одно, то другое придвигала поближе к доченьке. Атарика рассеянно улыбалась. Вовсе ей кушать не хотелось. А вроде и голодна, как никогда?

— Что ты, няня, хлопочешь? Я и так поем.

Взяла чашечку с кислым молоком, поднесла к губам.

— Пей, пей, доченька, — вырвалось у няньки. Сама и пожалела: вовсе не в молоке было зелье, просто от заботливости, от жалости к исхудавшей, истомленной тревогой и печалью госпоже, вырвалось привычное слово. Если б не вчерашнее!

Атарика стала бела, как молоко в отставленной чашке. Поднялась, не глянув на няньку, вышла.

О подруге

Степнячка Шуштэ ни минуты не стеснялась того, что она степнячка. В дом своего мужа вошла, как подобает женщине-удо — хозяйкой. Что бы там ни думал отец мужа, но в покоях, отведенных Атарику, она — царила. И, не как удочеренная сирота, не как из жалости взятая в дом, не торопилась переодеться в одежды Аттана. Плела свои косицы, мыла их сывороткой, шуршала широкими платьями, звенела монистами, топтала ковры узорчатыми носками. И не считала зазорным самой войти в кухню, приготовить настоящей еды. Раз уж здешний повар не знает, как она готовится. А что котлы здесь рабы чистят, ну хорошо. Ну и очень хорошо. А вот поесть по-своему человек должен обязательно. Не своя еда — баловство. Ни силы в ней нет, ни вкуса, ни смысла.

Поначалу только свое ела. Потом заметила, что за одним столом едят они с Атариком каждый свое. Испугалась, ведь и в постели так может стать. Но придумали они угощать друг друга, хорошо вышло. И радостно, и смешно.

Да уехал Атарик — и нет его, все нет. И вести одна чернее другой прилетели из степи, и осталась Шуштэ одна на свете. Только Атарик. А его отец сказал: был у меня сын. И не ждет уже сына обратно. Но Шуштэ знает, с кем поехал любимый муж, и не боится. Эртхиа-хайард уже ходил в Небесную степь, или на ту сторону мира, или куда еще, откуда никто не возвращается, и вернулся. И спутника своего в беде не оставит ни за что, это все удо знают. О чем Шуштэ волноваться? Она здесь за высокой стеной в большей опасности, чем ее муж в пораженной смертью степи, но поехавший с самим Эртхиа.

Шуштэ время от времени посылает к столу старшего в доме мужчины одно-другое блюдо из своих. И сама принимает присланные лакомства. Аттанская еда острее, Шуштэ полюбила ее в последнее время. Возвращался бы скорее муж — у Шуштэ есть, чем его обрадовать.

А пока Шуштэ завтракает в одиночестве, потому что не любит здешних болтливых, угодливых служанок. Еще может и сама дотянуться до миски с жирной подливой.

Служанка постучалась, поскребла ногтями косяк. Шуштэ издала набитым ртом недовольный звук, даже не обернулась.

— Молодая госпожа Атарика-нана просит разрешения войти, — громким шепотом объявила служанка.

Шуштэ удивилась — с чего бы вдруг? Из-за странного положения ее в доме — жены, не признанной отцом мужа, они с

Атарикой не виделись. И вот…

Закивала головой, вытерла косицами пальцы, судорожно проглотила недожеванный кусок.

— Проси войти. И бегом на кухню, принеси что-нибудь ваше, здешнее!

Поднялась навстречу гостье.

— Входи, сестра моего мужа, раздели со мной пищу, да будет между нами мир и любовь, как должно.

И не удержалась, всплеснула руками, едва не ахнула. У них в кочевье и пятилетний ребенок заметил бы это: лицом худа, в талии полна, губы припухли, да и так видно, что беременна.

Тут вот что важно: если бы просто стало известно про девушку, что она нечестна, это одно. Но уже заключившая в себе новую жизнь, уже мать, она была вне осуждения. Так для удо. И Шуштэ, понимая, что грозит сестре мужа здесь, где совсем другие обычаи и законы, тут же, ни о чем не спрашивая, приняла Атарику под свое покровительство.

— Сядь сюда, — ласково велела она, подвинула гостье лепешки и подливку. — Поешь. Не плачь. Он твой плач слышит, а вступиться за тебя не может. Горько ему.

— Откуда ты знаешь? — задрожала Атарика.

— Что сын? Вижу. Смотри, — Шуштэ обтянула на животе просторное степняцкое платье. — А у меня дочь. Надо тебе переодеться. Кто еще знает?

— Няня моя, — и Атарика заплакала и рассказала Шуштэ, как горько ее предали.

— Не бойся ее. Перебирайся ко мне. Будешь только мое есть. Платья мои наденешь. Как будто мы такие подруги, что все вместе — понимаешь? Как будто весело тебе наряжаться и играть.

Атарика кивала, радуясь, что не одна теперь несет свою мучительную тайну. Не туда, куда хотела унести ее нянька, не к смерти.

— Так бывает, — вздохнула умудренная чужим опытом Шуштэ. — Прокляни его небо, что обидел такую хорошую девушку.

— Нет-нет! — вскрикнула перепуганная Атарика. — Не надо. Он и не знает ничего. Он знаешь кто? Он… он уехал с моим братом.

Шуштэ прижала пальцы ко рту. Глаза ее заблестели. Переведя дух и уже не опасаясь, что заговорит слишком громко, она зашептала на ухо подруге:

— Ты береги дитя. Он великой наградой наградит. Он вернется. Он всегда возвращается.

— Не умер ли он?

— И что? Все равно вернется. Ты послушай, я расскажу. Я знаю!

О городе Удж

Город Удж выплеснулся в море всеми своими мощеными камнем улицами, пристанями, обнесенными каменной оградой набережными. В тех улицах, что сбегали с высокого склона к морю, свободно носился соленый ветер, дразня обоняние и обдувая потное лицо. Эртхиа и забыл, когда в последний раз чувствовал, что рубашка на нем влажна: так сух был воздух пустыни, что всякую влагу истреблял мгновенно. Теперь же то и дело приходилось отирать пот с лица и шеи, а лучше — гулять вдоль каменной ограды и смотреть как недалеку внизу море бьется грудью о берег, разбивается в брызги, откатывается с непонятным гулом и кидается снова. И подставлять ветру лицо, и вдыхать этот ветер, старательно наполняя им грудь, пропускать через ноздри, приучая себя к новому, странному, будоражащему запаху. Он понимал удо, которые ни за что не могли променять на каменные норы и огороженные тесные сады свой простор, войлочный уют юрты и запах степной травы. Так же, наверно, морской народ никогда не отказался бы от вечно качающихся своих белокрылых узкотелых дау, от волнуемого ветром сизого простора вокруг и от ветра, наполнявшего паруса и мироздание одним дыханием.

А дау качались на волнах, напоминая чаек белоснежными остроугольными парусами, и Эртхиа переводил взгляд с одного легонького кораблика на другой, с возраставшим ужасом понимая, что первое и, как он уже надеялся, последнее морское путешествие в своей жизни ему предстоит совершить именно на такой вот посудинке, издали похожей на щепочку с лоскутком. А море перед его глазами лежало в огромности своей, исчерченное белыми полосками волн. Зная уже, как огромны расстояния в степи и пустыне, где такой же гладью до самого края небес лежит простор, Эртхиа боялся моря. Ему казалось страшнее кануть в эту глубину, которой он даже не мог себе представить, чем умереть от жажды на раскаленном песке. Там еще можно было ожидать милости от Судьбы — чудесного спасения, потому что даже грабители из племени зук, встретив одинокого путника, поделились бы с ним водой и проводили бы до ближайшего колодца, а то и к оазису, населенному более миролюбивым племенем. Гибель в морской пучине представлялась Эртхиа мгновенной и от этого неотвратимой.

Эртхиа далеко забрел, туда где прямо в серебристый песок обрывались плиты мостовой, а на песке в пальмовых плетенках и плоских как подносы корзинах билась рыба, только что из моря, и

каждая сверкала диковинной денежкой, осколком переливчатой раковины. Здесь морской запах дразнил по-другому и был также резок и почти неприятен, как крики продавцов рыбы, нахваливавших свой товар, и все же дразнил, приманивал непонятностью, непривычностью. Дальше начинались красильни, оттуда во все края шел знаменитый уджский пурпур. Но запах там был таков, что, едва ветер донес его с красилен, Эртхиа повернул и заторопился в город. Недаром ведь носящие пурпур умащиваются благовониями сверх всякой меры.

— Айе, господин! — издалека позвал Дэнеш. Они с Тахином с утра отправились на пристань поискать подходящий корабль, и теперь разыскивали Эртхиа, чтобы вместе с ним пообедать в одной из харчевен на базаре.

Только этой шутки не хватало Эртхиа для того чтобы плохое его настроение и дурные предчувствия вырвались:

— Какой я тебе господин, сам ты господин. Или мы братья, или отправляйся обратно в Хайр, а я и без слуг управлюсь, не маленький.

— Не могу, — серьезно ответил Дэнеш. — Меня послал повелитель Хайра. Теперь я с тобой до самого конца, хочешь ты этого или не хочешь… — и, подумав, добавил с ласковой, но чуть все-таки лукавой улыбкой:

— Брат.

Тахин стоял чуть поодаль, молча переводя взгляд с одного на другого, что-то для себя уясняя.

— Вот, — сказал ему Эртхиа, щедрым взмахом очертив весь видимый отсюда простор. — Туда нам путь лежит. Как ты? — и чтобы не подумал Тахин, что Эртхиа хочет уличить его в недостатке отваги, сам признался: — Меня заранее мутит.

Тахин пожал плечами.

— Не знаю, зачем я живу эту жизнь. Нет ни цели, ни пути к ней. Ваш путь — мой путь.

И добавил, щуря на синий простор черные глаза в золотых ресницах:

— Чего мне бояться? Разве я живой?

Дэнеш потянул Эртхиа за рукав и они пошли вверх по улице, к базару. Тахин вскоре догнал их.

О бане

Бани в Удже, городе приезжих, многочисленны и издавна соперничают между собой. Одна украшена рисунками, так что мысли смущаются у смотрящего и разум улетает от восторга. В другой такие составы добавляют в воду купальни, что после омовения у человека расправляется грудь и возвышаются мысли. В третьей искуснее прочих мастера удаляют тестом из мышьяка и извести волосы с тела. Четвертая славна своими банщиками, которые моют, и мнут, и растирают так, что человек выходит от них как заново рожденный. А в пятой невольники, не достигшие зрелости, подобные лунам, подают напитки и легкие угощения, обмахивают опахалами, играют лукавыми взглядами и прочие услуги оказывают посетителям с усердием и безотказно.

И так соперничают между собой уджские бани, и в каждой есть то, и другое, и третье, и все, чему быть надлежит, но в одной лучше одно, а в другой другое.

А лучшая из всех бань — баня Камара, потому что из всего лучшее всех видов — у него.

Эртхиа бросил установленную плату за троих в раскрытый сундук у входа, они с Дэнешем оставили на лавке одежду, сняли с веревки полотенца, обмотали бедра и пошли к купальне. Тахин сказал: подожду вас там, — и вышел во внутренний двор, окруженный галереей, обсаженный кустами роз, вымощенный цветной плиткой. Огляделся вокруг, опустил глаза, сел на мраморные ступени и укрыл лицо в ладонях. Уйти, не предупредив, было нельзя. Так и сидел, и звонкие, и томные, и задорные голоса невольников перелетали над ним дерзкими шутками, нежными зазывными песенками.

Как же его звали? Если я даже не могу вспомнить его имени, даже не могу вспомнить, спросил ли я о его имени у продавшего мне его. Как его звали? И зачем мне это сейчас? Мало мне бед, что новую нашел: не могу вспомнить имени его. Надо, а не могу. Надо? Зачем?

— У меня баня, конечно, поменьше этой будет. Но лучше.

Эртхиа, взмотнув мокрыми кудрями, опустился на ступени слева от Тахина, не возле, а так, чтобы не задеть его случайно брызгами. Дэнеш присел рядом. Банщики подошли к ним и стали разминать им спины и плечи.

— А чем тебе эта нехороша?

— Хороша. А у меня лучше, — заупрямился Эртхиа.

— И купальня лучше?

— И купальня.

— И вода горячее?

— И вода.

— Да уж… — протянул Дэнеш. — И все лучше?

— Ну, ты мне не веришь! — запальчиво упрекнул Эртхиа. — Я говорю: лучше.

— И ароматы лучше?

— И ароматы.

— И невольники? — сощурился Дэнеш, обводя рукой дворик.

Эртхиа деловито огляделся, губы поползли в снисходительной усмешке. Да как фыркнет, засмеется, мотая головой. Хлопнул Дэнеша между лопаток, Дэнеш ответил тем же.

— На что мне? Этих мне не надо. А банщики у меня будут искуснее.

— Будут? — усмехнулся Дэнеш. — Будут?

— Ну, — не смутился Эртхиа, — я баню достраиваю, немного и осталось. Но можешь не сомневаться: это будет лучшая баня в семи частях света. Но раз ты завел речь о невольниках, то вот у моего отца видел я и получше.

— У твоего отца, — буркнул Дэнеш, — ты мог видеть только одного.

— О нем и говорить нечего! Эти вот и серьги ему подавать не годятся.

— Это верно, — сокрушенно вздохнул рядом некто с бородой до середины живота, весь облепленный мокрыми завитками, даже на лопатках у него кудрявился черный мех. — Был здесь один, а теперь и посмотреть не на что. Незачем стало к Камару ходить. Разум есть у человека? Иметь красавца, ради которого весь город к нему собирался, подобного хрусталю! — и продать. Да ни за какие деньги! Эх… Пока этот Бали здесь не появился, казалось: во всем мире нет красавцев, подобных камаровым. А теперь, как он был здесь и не стало его, нечего и ходить расстраиваться. Лучше к Заману пойти. Были уже у него? Нет? У него внутри бани особый дворик устроен и купальня в нем, а в стене потайные окошки сделаны. Туда лучшие красавицы приходят, и можно смотреть, сколько золотых не жалко.

— Смотреть? — переспросил Эртхиа. — И что с того?

— Не рабыни замановы, — понизил голос волосатый, — а вольные девушки из города. Мыться приходят.

— Это что же за паскудство? Они мыться приходят, а за ними подглядывают? Ну и мерзавец твой Заман.

— Мой не мой, мерзавец не мерзавец, а только все об этом знают, и девушки знают, походит такая с месяц в заманову баню, глядишь, и на приданое себе соберет.

— Так они продажные? А шуму-то…

— Ты сам, сын достойного отца, прости, ни его, ни твоего имени не знаю, ты сам и только ты сам поднял шум. Все об этом давно знают, и порядок у Замана строгий: смотри, сколько душа вынесет, а за стену — ни-ни. Где же видано, чтобы мужчины и женщины вместе мылись? У Замана баня, а не дом утех. Смотри, пока спину разминают, а не вынесет душа — иди, куда вздумается, места всем известны, да и у самого Замана поблизости заведение имеется, далеко идти не придется. А совсем невтерпеж — красавцы у Замана не хуже камаровых. Вот раньше, когда Бали был здесь, даже к Заману меньше ходили. А посмотри, сын достойного отца, раз уж ты не желаешь имени своего открыть, посмотри, какой малыш на тебя заглядывается. Хоть и не Бали, нет, не Бали…

— Что это за Бали такой? — поторопился Эртхиа, делая невольнику знак уйти подальше с глаз, потому что у Тахина побелели ноздри и рот вытянулся в нитку. Мальчик, оттого что на него обратили внимание, расцвел улыбкой и с готовностью взялся за узкое полотенце на бедрах, как бы собираясь распустить его. Дэнеш с тряхнул с плеч руки банщика, взял мальчишку за плечо и повел его, и скрылся в темноте проема.

— Что за Бали? — обрадовался волосатый. — О, это хрусталь несравненный, и описывать его не хватит слов. А приключилось с ним следующее. Он был учеником у сапожника, и как-то ходил по его поручению, и возвращался поздно, уже стемнело, и встретил двух человек из соседей сапожника. А те его и задержали, набросились, как осы на сладкое, не отпускали, пока ночная стража с фонарями их не спугнула. Насильников и след простыл, а мальчишку ноги не держали, — вздохнул волосатый. — Привели его к начальнику стражи, а там известное дело: заклеймили особым клеймом, а имечко его золотое внесли в список, и после этого ему одна дорога была. Сапожник его обратно не принял бы, да он и сам знал, не просился. Так не на улице же пропадать такой красоте, не на пристанях же! Кроме красоты невыносимой, ум у него был, хоть редко это совмещается. И пошел к Камару, потому что его баня лучшая в городе. Камар его осмотрел и остался доволен, выучил всему, что знать надлежало и выпустил в этот дворик. Остальным камаровым мальчишкам только и оставалось, что утопиться всем в купальне. Люди до темноты сидели, очереди дожидаясь. Ах, — махнул рукой волосатый. — Разве другой такой найдется?!

— И что же Камар его продал? — сквозь зубы выдавил Тахин.

— Раз уж не заткнуть тебя, — пробормотал Эртхиа.

— Это я спрашиваю: что же Камар его продал? Этому нет объяснения! А только тот купец, что его увез, оставил здесь всю

поклажу своего каравана, а она была велика, — все оставил Камару. Увез Бали. А на что он ему в дом, если весь Удж с ним перебыл и все приезжие и проезжие? Выгоды с его красоты уже не получишь: такую цену, как за него заплатил, только за жемчуг несверленый платят, так что и не перепродаст никому. Уже больше года тому, а я все голову ломаю: что за выгода ему?

Тут Дэнеш вернулся.

— Вы все уже? — спросил Тахин. — Пойдем отсюда?

— Ты все уже? — сердито переспросил Эртхиа у Дэнеша.

— Я?

— Ну не я же! Пойдем отсюда.

И пока переодевались в чистое, выстиранное и высушенное на горячем ветру белье, жаловался тихо:

— Баня называется. Всю душу измарали. А ты… Да этому крашеному и девяти нет. Как ты мог? — спросил, передернувшись от отвращения.

Дэнеш, одну руку просунув в безрукавку, повернулся к нему, посмотрел. Потом сунул и вторую руку и стал очень тщательно затягивать шнуровку.

Об аттанском купце

Они расположились в опрятной харчевне на краю базара и только успели заказать свой обед, как перед ними, вместо столика с кушаньями, словно бы из воздуха возник грузный мужчина в купеческой одежде, какую носят купцы в Аттане: длинном синем кафтане, опоясанном кушаком с кистями почти до земли и уборе из множества разноцветных платков, обмотанных и оплетенных вокруг головы.

— Государь мой, да что же? Да как же? — шепотом причитал он по-аттански, стараясь не привлекать ничьего внимания. — Зачем же тебе и твоим спутникам вкушать пищу в этой жалкой харчевне? Ай, окажи мне великую милость, позволь проводить тебя в такое место, где и пища, и обстановка соответствуют твоему величию пусть и не совсем, ибо это невозможно и недостижимо, но хоть отчасти и уж точно более, нежели здесь…

Эртхиа переглянулся со спутниками, из которых понимать речь купца мог только Дэнеш, и пожал плечами:

— Ты ошибся, любезный, я не…

— Ай, государь мой, — замахал руками и с еще большей страстью зачастил купец. — Нет нужды тебе скрываться от меня. Я видел тебя на аттанском базаре, и глаза мои радовались смотреть на моего царя. Я теперь прямо оттуда и держу путь на ту сторону мира.

— Как?! — вздрогнул Эртхиа.

— За море, — улыбаясь, пояснил купец, — на ту сторону. Так у нас говорят.

— Да, — вспомнил и Эртхиа, с облегчением отирая ладонью вспотевший лоб. — А ты все же потише! Хоть здесь и не Аттан, вокруг — купцы, владеющие многими наречиями. Называй меня просто господином, как делал это прежде.

— Как тебе угодно, господин. Так предоставь мне, ничтожному, взять на себя заботу о твоей трапезе, умоляю тебя, для меня это почетно.

— Не хватало! — нахмурился Эртхиа. — И так вон сколько шума ты поднял вокруг нас, а мне это не на руку.

— Уйдем же отсюда! Позволь провести тебя в сад, устроенный здесь неподалеку, тенистый и благоуханный, с источниками, водой текучей, прохладным ветерком, с певчими куропатками, горлицами и другими птицами…

— Э, ты продавать мне его собираешься? — отмахнулся Эртхиа. — Веди и ни слова больше. Я голоден и мои спутники тоже — скоро ли ты управишься?

— Если ты позволишь, чтобы тебя с твоими достойными спутниками сопровождал мой доверенный слуга, то сам я поспешу позаботиться о пище и напитках и немедленно вслед за вами явлюсь в сад.

— Как зовут тебя, почтенный?

— Где уж государю запомнить мое ничтожное имя! Тарс я. Тарс Нурачи.

О саде тенистом и благоуханном

Сад был точно таков, каким описал его купец. Над лазоревыми сводчатыми воротами громоздились виноградные лозы, и ягоды на них были всякого вида: и красные, подобно кораллам, и черные, точно агат, и белые, как голубиные яйца. А за воротами толпились вокруг уютных лужаек грушевые, и гранатовые, и абрикосовые деревья, и сливы, и яблони с ароматными яблоками, и смоквы с красными и зелеными ягодами на ветвях, и персики, желтые как светлый янтарь и красные, и множество других видов деревьев.

Спутники расположились в беседке на одной из лужаек, и слуга, сопровождавший их, пошел разыскивать садовника, чтобы тот принес роз украсить беседку.

— Отчего ты так решил? — спросил Дэнеш, когда они, омыв руки и лица в бегущем мимо беседки ручье, уселись на покрытый восьмиугольным ковром пол беседки.

— Что решил? — повернулся к нему Эртхиа.

— Принять его приглашение.

Эртхиа пошевелил губами и бровями, издал неопределенный звук, а потом махнул рукой и заявил:

— Может быть, это последняя царская трапеза, которой мне суждено насладиться. Отчего же я буду отказываться? Знаешь ли ты аттанских купцов, Дэнеш? Сейчас ты пообедаешь так, как в жизни не обедал. Мне жаль только, что Тахин не может разделить с нами это удовольствие.

— Мне тоже жаль, — улыбнулся Тахин. — Но вот чем ты мог бы меня утешить: после трапезы в таком месте прилично было бы насладиться музыкой и стихами за чашей вина.

— Как я осмелюсь играть на этой дарне и петь в твоем присутствии? — возразил Эртхиа.

— Отчего ты превозносишь мой талант выше всякой меры? Разве ты знаешь? Это всего лишь слухи, и они преувеличены, как водится.

— У ашананшеди не бывает слухов, — сказал тогда Дэнеш. — Я точно знаю, что тебе не было равных.

— Когда это было! Теперь все иначе, и я ведь уже слышал однажды, как играет Эртхиа. Когда я подошел к вашему костру. Дарна хороша — ты ее достоин. И, как сам ты сказал, может быть, мы сидим так и празднуем в последний раз — отчего бы и ее голосу не звучать?

— Тебе не жаль, что мы берем ее с собой в опасный путь?

— Осторожность не предохранит от Судьбы.

— Хорошо, — сказал Эртхиа, опуская глаза оттого что по всему его лицу от кудрявой бороды до самых корней волос разлилась краска. — Я буду играть сегодня.

Тут явился купец, а следом за ним шли слуги, над головами несшие столики с угощениями, и так плавны были их движения, что ни из одного сосуда не выплеснулось ни капли. Купец доставил самые изысканные кушанья, какие только смог найти за столь короткое время: маринованные луковицы, грибы в уксусе, ягнячьи глаза в студне, барашка, фаршированного орехами и миндалем, рыб, жареных в оливковом масле, теперь уже не серебряных, а золотых, яблоки с сыром. Золотые длинные уджские дыни, горячие от солнца, распространяли вокруг сладостный теплый аромат, сильнее даже, чем аромат роз. Их укладывали прямо в ручей — охладиться. Эртхиа не удержался: погладил круглый бочок в серебристой короткой щетинке. После трапезы, когда не спеша пригубили сладкое темное вино из сушеного винограда, дыни вынули из ручья и обтерли мягкой тканью. Они были теперь прохладные, гладкие, как атлас, и не так щедро источали аромат, но когда их взрезали, из серебряного белого зеленоватого нутра он снова хлынул, уже иной, тонкий, влекущий.

— Нелегко нам будет с ним, — шепнул Эртхиа, кивнув в сторону Тахина, который сидел чуть поодаль от стола, положив голову на резные ярко разрисованные перила беседки, и, казалось, дремал.

— Когда человек лишен столького, ему непременно должно быть что-то дано взамен, — подумав, ответил Дэнеш. — Не представляю, что это может быть, но чем-то же он живет? Кто должен завидовать кому? Пока это нам неизвестно, изгоним и зависть и жалость из души. Он сам вызвался идти с нами. Для нас это честь.

— Правда твоя. Но мне, знаешь, ни кусок в горло, ни глоток…

— Хороши мы будем, если позволим ему это заметить.

— Что же делать?

— Привыкай.

Эртхиа передернул плечами.

— И, слушай, — еще тише сказал, — извини.

Дэнеш подумал и кивнул.

— Ты просто увел его, да?

Дэнеш не стал отвечать. Эртхиа вздохнул.

— Послушай, слава купцов, — заговорил он по-аттански, — удача своего отца, скажи, не сможешь ли ты найти нам корабль, который перевез бы нас на другой берег моря?

— Как же не могу? — с готовностью встрепенулся купец. — Как раз могу, как раз я сам нашел такой корабль, и корабельщики на нем чрезвычайно опытны, и хозяин сведущ в том, как ходят корабли по соленому морю, и знает все ветры и их перемены и знает все пути по морю, и я не в первый раз подряжаю его перевезти мой товар на ту сторону, и каждый раз все сходит благополучно.

— Погоди, — нахмурился Эртхиа, — не хвали корабельщиков, хвали Судьбу. Она ревнива, когда другим в заслугу ставят ее милости.

Тахин проснулся, поводил плечами, незаметно потягиваясь, обрадовался, что трапеза идет к концу.

— Настало время питать душу! Как сказал сказавший…

— Не ты ли? — ласково поддел Эртхиа.

— Не помню, — шуткой ответил Тахин. — Как сказал тот, кто сказал, пища нашей души — музыка и нежные стихи.

— И для некоторых, — подхватил Эртхиа, — музыка — пища, для некоторых — лекарство, а для некоторых — опахало.

Дэнеш вежливо перевел их утонченную беседу на аттанский, а купец, вслед за благодарностью, пояснил, что, поскольку часто ходит и через Хайр, то понимает хайри и говорит на нем свободно.

— Но царь-то наш, аттанский, — понизив голос, добавил он, — и пока не велит отдельно, говорить с ним пристало по-нашему.

Дэнеш согласно кивнул. Своя гордость и у купцов.

— Когда твой корабль отплывает? — спросил он, пока Эртхиа с почтением вынимал дарну из футляра и с помощью ключа подкручивал колки, потихоньку тинькая струнами, и купец подробно ему отвечал, сколько товара еще осталось погрузить и сколько места еще на корабле, и что непременно надо им запастись своей водой в крепких бочонках и своим припасом в путь, но если они решат плыть с ним вместе, то уже могут об этом не заботиться, купец сам все приготовит и обеспечит, и запасет, и расплатится с хозяином судна, а вот если бы любезный собеседник шепнул царю аттанскому, чтобы тот уменьшил взимаемую при продаже царскую долю, когда купец вновь вернется в Аттан, да еще в несказанной своей милости и снисхождении дал бы ему в том бумагу со своей печатью, тогда…

— Я скажу, — кивнул Дэнеш, — если ты, любезный, найдешь нам хорошую конюшню, в которой мы без сомнений и беспокойства могли бы оставить наших благородных коней до нашего возвращения — хоть на год, хоть на десять.

На том и поладили. Немалый расход был возложен на купца,

но, видно, и так он оставался с прибылью, потому что условия принял охотно и с радостью. Значит, много продавал в Аттане, раз так велика была царская доля. Видный был купец.

Но когда Эртхиа поднял дарну к груди и откашлялся, все разговоры о выгодах, платах и расчетах были оставлены, и купец, так же как ашананшеди и всадник из Сувы, подался вперед и замер, потому что и в Аттане давно утвердилась слава царя-хайарда и его несравненной дарны. Говорили в Аттане, что поет Эртхиа голосом, останавливающим птиц в глубине неба, хоть немного было таких, кто утверждал это не со слов других, а знал сам.

О плавании

И настал день, когда они взошли на гулкую деревянную палубу, прошли между натянутых к верхушкам двух мачт канатов, нашли прикрытое деревянной решеткой окошко, через которое и спустились вниз, в каюту. Тахин ступал осторожно, не дыша, с сосредоточенным лицом, обхватив себя руками, туго стянув свой огненно-золотой плащ, сел рядом с лесенкой, ведущей на палубу и, вздохнув, сказал:

— Могу.

Эртхиа дрожал, как в ознобе, но с ним такое часто бывало и перед битвой, и он знал, что одолеет этот страх, да и деваться некуда: куда спасаться с корабля, когда он выйдет в море? Не в воду же! Так что Эртхиа бодро улыбался Дэнешу и Тахину, стараясь развлечь их и помочь преодолеть волнение, и непрерывно жевал ломтики айвы, которой его предусмотрительно снабдил Тарс как верным средством от тошноты, изнуряющей многих, путешествующих по морю.

Наконец сверху донесся голос капитана, кричавшего всем, кто намеревался плыть на его судне, чтобы поторопились завершить дела, сделать запасы, проститься с родными. Ему вразнобой отвечали, что дел на суше больше ни у кого нет.

— Живее, — закричал тогда капитан своей команде, — отпустите концы и вырвите колья!

И они поплыли, и распустили паруса, и судно вышло, точно птица с парою крыльев, и ветер был хорош.

И они плыли день за днем, пока не выплыли на самую середину моря. Купец объяснил Эртхиа, что не все суда следуют этим путем, и только в летние месяцы можно так делать, потому что осенью и зимой здесь нередки пасмурные дни и ливни, и тогда не видно ни солнца днем, ни звезд ночью, и никак невозможно найти правильное направление. К тому же долго не стихают сильные ветры, поднимающие огромные волны, которые горными грядами вздымаются к небесам и обрушиваются на суда, отважившиеся выйти в море не в свой срок. Да и летом не всякий капитан пустится прямо через море, обычно следуют обычаю и плывут вдоль берегов, что более чем втрое удлиняет путь, но зато вернее и безопаснее. А вот их капитан смело отрывается от берегов и отдается на волю волн и ветров, которые все ему известны наперечет, и безошибочно ведет корабль прямо к другому берегу, а купцу того и надо: быть там со своим товаром раньше всех. Вдоль берега плыть тоже хорошо: множество гаваней, как драгоценное ожерелье, лежат вокруг соленого моря,

и у каждой гавани устроен базар, и много раз может смениться товар на судне, пока оно дойдет до конечной цели. Но Тарс Нурачи был из тех купцов, что ходили дальше, чем легли водные пути, и главный интерес его был далеко за гладью моря, за бескрайними степями, за синими лесами, там, где яростные волны другого моря, последнего, безымянного, терзают скалистые берега, вырывая из них целые глыбы. Когда разговорились, и Эртхиа узнал, куда держит путь купец, это его чрезвычайно обрадовало. Если купец много раз бывал там, отчего бы и Эртхиа со спутниками не достичь заветного берега? Отчего бы и им не уцелеть в пути? Эртхиа решил, что и дальше надо идти вместе с купцом: он ведь точно знает весь путь, а «Дорожник», составленный в Хайре, ничего точно не говорит о тех краях. Так, неразборчивый бред. Дикари, под влиянием вечной зимы с ног до головы обросшие шерстью, с глазами спереди и сзади, страшных размеров хищные птицы, снежные змеи, многоногие львы…

Мало ли что! Про удо в хайрских книгах писали не лучше, Эртхиа не раз краснел, мысленно повторяя когда-то заученные наизусть строки. Так удо рядом, под боком жили, — и то! А уж о дальних краях вольно говорить, что хочешь. Кто проверит? И кому еще поверят? Степенному человеку, вся жизнь которого протекла на глазах у почтенных соседей, и который из верных книг, которым не одна сотня лет, переписал точные сведения, — или бродяге перекати-полю, незнамо где прожигавшему жизнь, а теперь потчующему почтенных слушателей россказнями о том, что он, якобы, своими глазами видел. Когда по кругу пойдет второй мех вина, каждый видит дальние края. Своими глазами. Так что Эртхиа не принимал всерьез устрашающие описания пути к безымянному морю. Взять хоть вечную зиму. Эртхиа искренне верил, что это и есть самая вздорная выдумка — пугать не в меру любопытных непосед. Хайарды путешествовали только конным войском. Странствия ради любопытства или торговли считали постыдным занятием, свидетельством легкомыслия и житейской никчемности. А змеи, это всякий знает, в снегу вообще жить не могут. Они даже после холодной ночи сонные и ленивые, выползают на солнце греться. А зимой не только змеи — Эртхиа сам предпочел бы сидеть до тепла перед очагом и по сугробам на нежном брюхе не ползать. Сссочинители…

Такими рассуждениями Эртхиа занимал Тахина, и Тахин поддерживал его искреннее негодование на недобросовестных землеописателей, и Дэнеш, краем уха слушавший их витиеватые беседы, поддерживал:

— Нет, змеи в снегу не живут.

Потом и эти речи всем наскучили.

Эртхиа днями, как он говорил, разминал пальцы, — наигрывал на дарне все знакомые мелодии и складывал песни без начала и конца, снизывая и перенизывая слова на обрывки мотивов, и корабль бежал по волнам день за днем, пока не пришел день последний этого корабля.

О гибели Тахина

— Ложись! — крикнул Дэнеш, пригибаясь к борту. Эртхиа оглянулся на Тахина. Тот стоял в оцепенении, глядя, как огромный вал, вздымаясь, надвигается на него. Полыхающая сеть оплетала низко клубящуюся тьму, в мертвенном свете лицо Тахина казалось мертвым. Волна шла на него, и он стоял, обреченный.

Эртхиа рванулся, вытянув руки, в падении достал, схватил край плаща. Рядом мелькнул Дэнеш, кинулся на палубу, обхватил ноги Тахина. Вал обрушился на них, прокатился. Сквозь грохот и гул в ушах послышалось громкое шипение, как шипит закаляемый клинок, и сразу — пронзительный крик. Когда Эртхиа разлепил глаза, увидел Дэнеша лежащим у самого пролома в борту. Вокруг его головы растекалась по мокрым доскам кровь. От безрукавки на груди поднимался пар. Тахина нигде не было. Новая волна с ревом вздыбилась над головой. Эртхиа ужом скользнул по палубе к Дэнешу, прижался к нему, руками и ногами цепляясь за борт. Только тогда почувствовал резкую боль в сожженных ладонях. Но едва поток схлынул, не щадя рук принялся разматывать пояс, чтобы привязать Дэнеша к борту. Дау разваливался. Упираясь плечом и пиная ногами, Эртхиа выломал большой кусок борта с привязанным Дэнешем и столкнул его вниз. Подергал ремень, крепко ли держится футляр с дарной. И прыгнул.

Его сразу накрыло с головой, но ремень натянулся поперек груди, поддерживая и не давая уйти на дно. Эртхиа с трудом перетянул футляр со спины на грудь. Теперь мешал ремень, надежно удерживая Эртхиа под футляром. Только цепляясь руками изо всех сил, удалось высунуть голову из воды и глотнуть воздуха. Эртхиа с трудом дотянулся до засапожного ножа, но все же побоялся перерезать ремень, а постарался стянуть его через плечо. Когда это удалось, он наполовину вполз на футляр, намотав ремень на руку. И тогда порадовался, что полюбил в своей жизни именно дарну. Мог бы играть на флейте, как Дэнеш, — и где бы он был теперь? Дарна с ее длинной шеей требовала большого футляра, и теперь, промасленный и надежно закрытый, полный воздуха, он удерживал Эртхиа на воде не хуже плавучего мешка для переправы.

Эртхиа огляделся. Дау нигде не было видно, только обломки качались вокруг одинокой голой вершины, то выступавшей над водой, то скрывавшейся под волнами. Она медленно удалялась. Эртхиа завертел головой. Дэнеш оказался неподалеку, поверх

связанных канатами досок — по прежнему без сознания. Их несло в одну сторону. Эртхиа взял ремень футляра в зубы и принялся грести руками. В любых обстоятельствах лучше друзьям держаться вместе. И лучшее, что придумал Эртхиа, это привязать конец пояса к ремню от футляра и перебраться на доски к Дэнешу.

Об огне

Далеко от них, в хлебной стране Авасса, где пустыня крадется вдоль берегов великой мутной реки Таф, чьи берега илисты и крепко заросли тростником, где пустыня караулит неосторожных, рискнувших высунуть нос за пределы плодородной долины, там, в великом городе Шад-даме, не любящем чужеземцев, на площади, на высоких ступенях храма, в черной тени колонн некто, прежде носивший имя Бали, отсчитав времени довольно, медленно поднял веки. По-прежнему, как заведено, на границе света и тьмы, под звон браслетов и частое щелканье трещеток, плясали неутомимые сестры, по-прежнему между колонн светились белые одежды братьев, покоившихся в величавой неподвижности. Прежде носивший имя Бали, — ныне, как все братья, не носивший никакого, — плавно отделился от колонны и двинулся глубже во тьму, в храм. Оттуда ему навстречу выступил белым сиянием плащ брата, качнулось багряное облако волос. Они едва соприкоснулись ладонями, и сменявший шепнул: «Иди в святилище — начинают».

Сменившийся поспешил в глубину храма, на бегу стряхивая остатки дремоты, овладевшей им было у колонн, оттого что день был непраздничный и никто не осмелился потревожить его покой, хотя для того и вышел, для того и стоял он у колонн. Но в непраздничные дни мало кто отваживался потребовать службы у брата. В непраздничные дни лишь сестры приносили тяжелые кошели и, отвязав от пояса, выворачивали у подножия алтаря, над которым, невидимое в темноте, парило изображение Обоих богов.

Тот, кто прежде носил имя Бали, пробегая мимо алтаря, быстро поклонился, коснувшись ладонями пола. Другой службы ждут от него в непраздничные дни незримые боги Авассы. Он готов.

Мощеный камнем коридор уходил вниз полого, влево и влево, в глубину, кружа. Вход в него зиял широким провалом между колонн. К нему сходились со всего храма: в темноте тишайший шелест босых ног по камню, бледное свечение одежд. Собирались вместе, переступали нерешительно, не в лад, поджидая отставших, примериваясь пока, кто поведет танец сегодня. Все одного роста и сложения, почти неразличимые и при свете дня. Старшие приближались невидимками, выступали из темноты и становились заметны, одетые в черное, окруженные белыми одеяниями младших жрецов, и тоже переступали, переступали, и шорох нарастал и опадал волнами, пока всплески его не унимались, не подчинялись единому ритму, и первым к

провалу подходил тот, кто задавал его сегодня. Потому что помнить его и держать в голове не под силу никому, но когда собирались вместе, примериваясь и перебирая подобия его, нащупывали его босыми ступнями на камнях, вечно его хранящих, и кто первым его угадывал, тому и выпадало вести всех в странное путешествие вниз и влево, вниз и влево, и не было стен там, где обрывался каменный пол, и там трое в черном вышли вперед, остановились на краю, и тот, что был старшим из них, держал в худых цепких руках сосуд с огнем.

Эти трое, став на краю, повернулись лицом к остальным и застыли в спокойном ожидании. Слитные удары сотни босых ног в камень размеренно и точно выводили все тот же ритм, и рокот поднимался к ним из глубины, и рос, и это длилось, и невозможно уже было сказать, в какую сторону течет сейчас время.

И один и тех, что в белом, вдруг бросил руки вверх и выкрикнул:

— Вижу!

Сейчас же перед ним расступились, он вышел и встал перед теми в черном, и принял сосуд с огнем из рук старшего.

Здесь был странный свет, который не изгонял темноту, только делал видимым клубящийся туман, напоминающий движение огромных серых змей, свившихся клубком вокруг танцующих, и дрожащие бисеринки на висках и над сжатыми губами, и слезы, катившиеся по щекам вместе с каплями пота. Тяжкий и жестокий труд — распахнуть дверь и держать ее открытой столько, чтобы брат ушел и вернулся.

Там, где дальнее море с шорохом терлось о черный песок, стояла ночь. Брат растерянно озирался, не найдя того, что увидел из храма: путников, нуждающихся в помощи. Опоздал? Но на песке не было следов, как будто никто и не ступал на него от начала дней. Что ж, раздумывать некогда, каждый миг его пребывания здесь — труд и мука братьев. Тот, кого звали когда-то Бали, опустил сосуд, ввернув заостренное дно во влажный песок. На берегу валялось достаточно топляка. Собрав его в кучу, брат плеснул на него из сосуда. Пламя накинулось на высушенное солнцем и ветром дерево, облепив его сразу все, взметнулось высоко. Не о чем думать: если боги послали его разжечь огонь здесь, значит так и надо. Не ему рассуждать, не ему, чьяжизнь была подобна корыту для помоев, а стала словно сосуд с тайным огнем. И так милостивы к нему были боги, что отняли у него даже его опозоренное имя, дав взамен другие имена, те, что шептали с лаской и благоговением. А сегодня? Сегодня не дадут ему имени? Брат принял и это, отошел от огня и пропал во тьме.

Но тот, кто вышел из высокого пламени, так же в растерянности замер, озираясь, не понимая и не помня, где он, зачем он здесь, кто он такой. Души его не было с ним. Он пытался, но не мог ее найти и чувствовал в себе пустоту, и не знал себе имени. И он без сил опустился у огня, и позвал, и назвал имя чужое, но привычное губам, привычнее всех, оставшееся с ним, даже когда другие слова оставили его. Но никто ему не ответил.

О спасении

День, ночь и еще день их носило по волнам. Дэнеш очнулся, ощупал голову и сказал, что рана не опасна, а соленая вода обеспечит быстрое исцеление.

— А где Тахин?

— Не знаю, — ответил Эртхиа. У него не осталось сил сокрушаться ни о судьбе Тахина, ни о своей. Он считал себя уже мертвецом и относился ко всему, как пристало мертвецу — равнодушно. Едва убедившись, что Дэнеш, вопреки его предположениям, жив, Эртхиа уронил голову на доски и уснул, несмотря на потоки воды, то и дело окатывавшие его. Он и так уже был мокр насквозь, и каждый сустав, каждая жилка заходились жалобами на разные лады. Судя по всему, оставалось немного. Они не утонули, но жажда и голод вскоре положат конец их жизни. Жажда раньше. Но пока мог спать, Эртхиа хотел только одного — чтобы его не тревожили для новых мучений.

Он проспал наступление ночи.

Дэнеш с трудом разбудил его.

— Мы еще живы? — не обрадовался Эртхиа.

— Там огонь, — сказал Дэнеш. — Костер. Там берег.

Эртхиа сначала и не шевельнулся, и не ответил ничего. С минуту он равнодушно созерцал ясное звездное небо над собой.

— Не может быть.

— Посмотри сам.

Эртхиа не повернул головы.

— Разве у нас есть весла, чтобы грести?

— Нас несет течением прямо туда.

— Не говори так. Пожалуйста, не говори. Я потерял надежду и не вынесу, если снова обрету и затем лишусь ее. Почему бы не дать мне умереть спокойно?

Дэнеш зашелся хриплым, каркающим смехом. Разрезав пояс, он осмотрелся, оторвал пару досок и, растолкав Эртхиа, заставил его грести. Это средство оказалось чудодейственным: не прошло и получаса, как Эртхиа уже вовсю прикидывал, успеют ли они до полуночи воспользоваться гостеприимством обитателей неведомого берега.

— Лишь бы они не погасили огонь, — беспокоился он.

— Нас несет прямо к берегу. Конечно, течение должно огибать остров…

— Откуда ты знаешь, что это остров?

— Течение же должно стремиться куда-то, не к суше… Это остров, и течение огибает его. Но когда мы окажемся ближе к

земле, я смогу разглядеть берег, и мы доберемся до него вплавь.

— Но я не умею плавать! — возразил Эртхиа.

— Я помню. Придется мне потрудиться за двоих.

— А ты сможешь? — не сразу спросил Эртхиа.

Дэнеш молча пожал плечами. Эртхиа не стал добиваться ответа. Он его и не хотел уже. Но Дэнеш хлопнул его по спине.

— А это? — он показал на плывущий на привязи футляр. — Мы сможем держаться за него.

Эртхиа согласился.

По знаку Дэнеша, когда пришло время, он освободился от мокрой насквозь одежды и покинул зыбкое убежище, погрузился в воду, положив только руку на плечо ашананшеди и пытаясь, в соответствии с его советами, работать ногами и свободной рукой.

Ему опять казалось, что он в конце концов оказался в пасти чудовища, и все его странствия были только дорогой, ведущей в бездну, в бесконечности которой он чувствовал себя крохотным. И нет надежды, нет спасения. Но так уже казалось ему, когда он шел за Дэнешем сквозь песчаную бурю. И они вышли. Может быть, для того, чтобы погибнуть в водах неведомого моря. Но, так или иначе, он следовал за Дэнешем с полным доверием, решив, что, если вообще возможно спасение, то Дэнеш приведет к нему.

Волны подхватили и бросили их вперед, ударив грудью о твердое дно, и тут же поволокли обратно. Эртхиа почувствовал землю под собой, отпустил плечо Дэнеша и вдавил пальцы в утрамбованный прибоем песок. Но он словно таял, утекая вместе с водой. Струи его наждаком прошлись по обожженной коже. Рядом боролся Дэнеш. Мысль о том, что друг ранен и последний час в одиночку трудился, чтобы вырвать у моря обе их жизни, — что он, несомненно, нуждается в помощи, — подстегнула Эртхиа. Он зубами вгрызался, он вдавливал носки и колени, захлебываясь, глотая соленую воду пополам с песком, но он выполз на четвереньках туда, где силы убегающей волны хватало лишь на то, чтобы песок оплывал под изодранными ладонями. Шатаясь, он встал. Оглянулся. И рухнул без сил на песок. Грудь его ходила ходуном, дыхание раздирало горло, и он больше не пытался подняться, потому что успел увидеть: Дэнеш лежал неподалеку с закрытыми глазами и ловил ртом воздух, подобно рыбе, выброшенной на берег.

Они вырвались.

Об огне

Костер пожирал тьму вокруг себя. Он лежал хищным цветком на черном песке, окруженный подсвеченным куполом. Нагой человек сидел рядом с костром — слишком близко. Он даже не щурился, глядя в высокий огонь, хотя колени его скрещенных ног почти касались пламени, и от жаркого дыхания костра шевелились его волосы, красные, как самая яркая медь.

Эртхиа первым бросился к нему, окликнул, протянул руку — но не коснулся. Остановился в шаге от него, руками прикрывая лицо от нестерпимого жара. Позвал по имени еще раз. Человек не обернулся, словно не слышал.

Дэнеш зашел сбоку, наклонившись, попытался заглянуть в глаза — и поразился неподвижности в них, царившей под золотым буйством отражающегося пламени.

— Что с ним? — шепотом спросил Эртхиа, отступая от огня.

— Его как будто и нет вовсе.

Эртхиа сел на песок там, где огонь согревал, не обжигая.

— Что мы будем делать?

— До утра — спать. А там посмотрим.

— Спать? А он ничего не сделает с нами? Пока мы спим…

— Что я знаю? — пожал плечами Дэнеш.

— Нет! — уверил себя Эртхиа. — Только бы он не ушел…

О дарне и о сидевшем у костра

Утром волны вынесли на берег ящик из твердой толстой кожи, пропитанной лучшим маслом.

Солнца не было — лишь его лучи с трудом проницали туманную завесу. Дэнеш огляделся. Они очутились в неглубокой бухте, окруженной скалами. На скалах росли искривленные сосны с широкой плоской кроной, как бы раз навсегда отпрянувшей от моря. Несколько каменных глыб торчало прямо из песка у самой воды, и на самых крупных тоже росли деревья. Белая пена вскипала в бухте, указывая на едва выступающие верхушки подводных камней.

Дэнеш покачал головой.

Потом потянулся и похлопал по плечу Эртхиа. Тот с недовольным стоном заворочался, неохотно разгибая ноющие члены. Дэнеш молча указал ему на темневший у самой воды предмет. Эртхиа минуты две пялился на него, потом вскочил и с неожиданной резвостью кинулся к берегу.

Дэнеш подошел к человеку, по-прежнему сидевшему у кострища. Тот был так же неподвижен и безучастен. Дэнеш положил руку ему на плечо и сразу отдернул.

Эртхиа вернулся в обнимку с футляром.

— Как ты думаешь?… — кусая губы, спросил он у Дэнеша.

— Может быть, море и пощадило ее. Если бы в футляр проникла вода, он утонул бы.

— Правда, — ободрился Эртхиа, опуская футляр на песок и приступая к застежкам.

Дарна явилась в блеске своей совершенной красоты, сухая и невредимая. Эртхиа плюхнулся на песок, поднял дарну и попробовал струны.

Дрожь пробежала по спине того, у костра.

Дэнеш тихо свистнул и кивнул в его сторону. Эртхиа снова коснулся струн. Их звук был нестроен. Плечи сидящего мучительно передернулись. Лицо Эртхиа озарилось пониманием. Он пошарил в ящике и достал ключ. Несколько минут спустя, поерзав на песке и размяв пальцы, он принялся наигрывать мотив «Похитителя сердец». Стиснутые зубы помогали мало — волдыри на руках размокли и прорвались, теперь подсохшая кожа торчала клочьями. Но Эртхиа видел, что сидевший у костра обернулся и смотрит на него живыми, ясными глазами. Однако вскоре ему пришлось отложить дарну, и он долго сидел, поглядывая на Тахина и дуя на пальцы.

Об острове

Остров был, как все острова, — позади горы, впереди море. Ветер, шумящий в прибрежных соснах, волны, с грохотом набегающие на берег.

Раз уж случилось то, что случилось, следовало осмотреться, хотя бы обойти остров по берегу, чтобы узнать его величину, и не населен ли он, или, может быть, с другой стороны видна земля.

Но Тахин продолжал сидеть неподвижно возле остывших углей. Увести его с собой не было никакой возможности, и когда пытались с ним говорить, он не отзывался и никак не показывал, что слышит обращенные к нему речи. Оставить же его они и думать не хотели.

Из всех троих одет был только Дэнеш, не расставшийся со своими кожаными штанами и безрукавкой, поверх которой скрещивались перевязи. Но его кожаные одежды пришлось долго сушить на солнце, а потом колотить камнями, чтобы размять. Рубашку он отдал Эртхиа и тот, разрезав ее, обмотал ткань вокруг бедер, как носили на Побережье.

Когда Дэнеш сушил одежду, ему пришлось выложить из карманов, карманчиков, потайных гнезд все уцелевшие сокровища: дуу, метательные ножи и лезвия, и волосяные петли, и странные…

Тут Дэнеш повернулся и посмотрел на Эртхиа. Эртхиа пожал плечам и пошел погулять по берегу, напевая себе под нос и разбрасывая ногами песок.

Они напились из ручейка, пересекавшего берег. Из еды у них были моллюски и то, что удалось добыть Дэнешу при помощи метательных ножей: чаек и каких-то мелких птах, которые во множестве слетались на обнажавшиеся в отлив отмели. Один раз Дэнеш поймал несколько крупных серых ящериц с голубыми и красными пятнами на щеках. Их тоже поджарили и съели. Они оказались вкусными. Но вкуснее всего были большие бурые, в наростах и шипах крабы с огромными клешнями, начиненными сладким белым мясом. Натаскали хворосту из леса. Дэнеш нашел трутовник, потоптался в нерешительности, пробормотал извинения и поднес его к огненно-рыжим волосам Тахина. Через минуту костер пылал во всю.

Так они провели два дня, не зная, что предпринять.

Об имени дарны

Ночью Эртхиа проснулся. Музыка разбудила его: мелодия «Похитителя сердец», исполняемая с таким искусством, какого сам Эртхиа не достиг. Он слушал, затаив дыхание, и едва осмелился подглядеть из-под ресниц. Тахин сидел у догорающего костра и отсветы золотили его лицо, повернутое к Эртхиа звонко кованым профилем, напряженный рот, застывшую в высоком изгибе бровь и казавшиеся жесткими, как остья, ресницы. Отсветы золотили гладкий лик дарны, раздваивавшиеся в дрожании струны и пальцы правой руки, смазанным пятном мерцавшие над ними, и пальцы левой руки, остро надламывавшиеся над грифом. Эртхиа полюбил и запомнил навеки паучью повадку этих пальцев и неожиданно сипловатый, но оттого живой, совершенно человечий голос дарны, и строгое лицо.

… Да первое, что пришло в голову: «Похитителя сердец», потому что его постоянно наигрывал Эртхиа, и я видел, что теперь его исполняют иначе, чем в мое время, но попробовать, как бы оно получилось по-новому у меня, до сих пор не мог. И еще в игре аттанского царя я замечал некоторые недостатки, обыкновенно встречающиеся у людей, которые не находят времени постоянно упражняться. Я опасался, что те же недостатки появятся у меня.

Но пальцы слушались идеально, и дарна голосом, севшим от страсти, воспевала страсть, не нуждаясь в словах, и пальцы правой руки бились о струны, как, бывало, бился на ветру край головного платка, на всем скаку…

— Ты давно не играл. Разве тебе не больно? — спросил Эртхиа.

— Нет, — улыбнулся я, показывая мягкие подушечки пальцев, на которых едва заметными полосками обозначились следы от струн. — Я был рожден для нее. Знаешь ее имя? В сердце роза.

Эртхиа с завистью вздохнул и снова проснулся. Ночь была тиха, костер догорал. Тахин лежал на песке у огня, глаза его были закрыты, руки — пусты. Он спал. Эртхиа протянул руку, ощупал застежки на футляре и, успокоенный, заснул и больше ничего не видел во сне.

О радости

Тахин проснулся вскоре, еще до рассвета. Встал, потянулся.

Задумчиво оглядев своих спутников, подошел к ящику, в котором хранилась дарна, протянул к нему руки…

Если бы Дэнеш мог признаться, что не спал и все видел и слышал, он рассказал бы, что сперва ему показалось, будто Тахин плачет, закрыв лицо руками, но когда Тахин встал и направился к лесу, его глаза были совершенно сухи.

— Там роса! — вскочил ему вслед Эртхиа. Тут уж и Дэнеш приподнялся на локте, улыбаясь растерянному всаднику из Сувы. Глаза ан-Аравана так странно блеснули.

— Вы разве не спали?

— Я услышал скрип песка от твоих шагов, — успокоил его Дэнеш.

— А я… мне песчинки попали на лицо: ты ведь прошел совсем рядом! — поспешил сообщить Эртхиа.

Ан-Араван протянул им руки — и сам рассмеялся бессмысленности этого жеста своим чуть захлебывающимся смехом.

— Теперь мне надо бы одеться. Ума не приложу, как это сделать.

— А как в первый раз? — наклонил голову набок Эртхиа.

— Ты как любопытный сокол-балобан с острым изогнутым клювом и круглыми глазами! — снова засмеялся Тахин. — Но я не помню, как это случилось в первый раз.

— Помнишь, как ты поймал плащом южный ветер? Может быть, тебе стоит потянуть за кончик пламени — и плащ готов?

Дэнеш улыбнулся.

— Ты слушай его, слушай. Он всегда говорит как раз то, что надо. Или наоборот.

Эртхиа пожал плечами с самым вздорным видом:

— Я вообще спать хочу. И есть.

— Да-а, повелитель? — язвительно протянул Дэнеш. — Повинуюсь, повелитель!

Эртхиа запустил в него полной пригоршней песка — и, конечно, промахнулся. Уязвленный, он прыгнул, зверем вытянувшись в воздухе, кинулся на спину Дэнешу, да только Дэнеш оказался чуть в стороне и сам обрушился ему на спину, и если бы всерьез — сломал бы хребет, а так у них пошла такая свалка, что Эртхиа потом пришлось перевязывать свою набедренную повязку и, громко и неразборчиво ругаясь, отплевываться песком. Дэнеш, уже бродивший по пояс в воде в

поисках моллюсков, тоже тайком сплевывал, и это заметил Тахин, раздувавший огонь в костре, и сказал об этом Эртхиа. С торжествующим воплем Эртхиа ринулся в воду, и Дэнешу пришлось несколько раз утопить его, прежде чем он угомонился…

— Зато рот прополоскал, — утешался Эртхиа, кривясь от соленой воды.

Так они радовались тому, что Тахин вернулся.

А Тахин и в самом деле изловчился, поймал за уголок тонкое крылышко пламени, потянул — и готово.

— Все он правильно говорит, — удостоверил он Дэнешу, взглядом указав на Эртхиа.

Дэнеш серьезно кивнул.

О чудесном

Обойти остров хотели по берегу, думая, что Тахин не сможет углубиться в лесную чащу. Но Тахин напомнил, что мог владеть своими чувствами даже настолько, чтобы плыть на корабле. Решили попробовать. И точно: сначала вблизи Тахина листья сворачивались от жара, и трава чернела под ногами, но потом, видя, что все получается, он успокоился совершенно.

Ночевали в лесу, между корней могучей сосны, на постели из мягкого мха. Пока спутники утоляли голод, Тахин сидел в стороне, наблюдая за их трапезой. Эртхиа, облизав пальцы, пересел к нему ближе и спросил:

— Что с тобой было? Можешь сказать?

— Я не помню. С той минуты, как волна обрушилась на дау, и до той, когда я очнулся на острове, а вы — рядом. Не помню.

Эртхиа вздохнул.

— Ничего он так не любит, как рассказы о чудесном, — объяснил Дэнеш.

— Да, — признал Эртхиа, — но разве это недостаток? Тот, кто не хочет знать ничего нового и удивительного, уже прожил свою жизнь и зря задерживается на этой стороне мира. Разве это не твои слова? — обратился он к Тахину.

— Мои? Не знаю. Разве может человек помнить все, что он сказал двести лет назад? Во всяком случае, спорить с этим я не стал бы. И раз уж неизвестно, сколько времени нам придется провести на этом острове, давайте перед сном рассказывать истории о чудесном.

Так они и решили, только не могли установить очередность: должен ли начинать тот, кто это предложил, или же тот, кто просил об этом. Тогда согласились с мнением Дэнеша: пусть начнет самый искусный, за ним — тот, кто все это затеял. Ну а следом их покорный слуга, который и вообще-то не рассказчик…

И начал Тахин:

— Давно, когда люди в Хайре поклонялись многим богам, были у них два бога главными — Один и Другой. И те, кто поклонялся Одному, стали говорить, что самый главный — Один, а почитавшие Другого то же говорили про него. И, не придя к согласию, стали резать и побивать друг друга, не щадя ни детей, ни женщин, ибо дурное дерево доброго плода не принесет, и из ростка цикуты не вырастет виноградная лоза. И делали так поклонявшиеся Одному ради ревности своей о славе Одного, а почитавшие Другого — то же делали во имя его. И так ревностны и проворны оказались хайарды в своем служении Одному и

Другому, что Оба вскорости лишились своих жрецов, и приношений на алтарях, и благовонного дыма над алтарями. И сказали Оба Друг Другу: «Сделаем так, чтобы в каждом доме один брат поклонялся мне, Одному, а другой — тебе, Другому. И из двух родившихся один станет приносит дары тебе, а другой — мне. И для такого дела не оставим ни одной матери без двойни, и только двойни станут рождаться в Хайре, и это хорошо будет, потому что мало стало людей между твоим храмом и моим».

И стало так.

— Ф-фу… — перевел дух Эртхиа. — Мудро! Братья терпеливы друг к другу.

Дэнеш посмотрел на него.

— Когда они выросли, — продолжал Тахин, — начали с начала дело отцов своих. И были ревностны и проворны не хуже отцов. И до такого дошло: стали братьев своих приносить в жертву Одному и Другому. Брат, поклонявшийся Одному, приносил брата, почитавшего Другого, в жертву Одному. Если тот брат не успевал раньше.

Эртхиа сглотнул.

— Правда, бывает такое и от меньшей причины.

— И вот в то время жил человек… Как имя его, я не помню, да от тех времен и имен не осталось.

— Пусть будет Этью, — предложил Эртхиа, чтобы надолго не прерывалось повествование.

— А другой?

— Пусть — Тахха.

— И вот жил Этью, уже избежавший смерти от руки своего брата, хоть и был младше его на минуту. Этот Этью был ловким воином и пылким служителем Одного. Или Другого? Не помню.

— Да пусть его, нам-то какая разница?

— Тем Обоим тоже… В одном городе верх взяли поклонявшиеся Одному, и решили пойти походом на соседний город, где одолели почитавшие Другого. Пошли — и привели большой плен, чтобы принести в жертву Одному, но в своем городе, чтобы на их город Один обратил благосклонный взгляд. И был среди пленников юноша, ровесник Этью, ловкий и храбрый воин, также оставшийся из двойни один, красивый и гордый, по имени Тахха. И когда Этью проходил через двор, где держали пленных, этот Тахха дерзко ответил кому-то из толпы, собравшейся, чтобы ликовать и злословить. И стражник, приставленный к пленным, ударил его в лицо тупым концом копья. Этью крикнул:

— Что ты бьешь его, когда у него связаны руки? Я не видел тебя у стен его города.

А у Таххи кровь текла по лицу. Этьо снял с головы платок и вытер ему лицо. И пока они смотрели друг на друга… Этьо еще не успел с дороги сменить одежду. И кровь Таххи смешалась с его потом, и кто понимает, подтвердит: магия эта крепче всякой другой.

Ночью тайно Этьо вывел Тахху из двора и спрятал у себя, и что между ними было — они одни знали, пока не пришли воины и не схватили их, и не привели к судьям. И было о них объявлено на площадях, а они не отпирались и не спорили ни с кем, и как будто не понимали, что с ними делают, как будто и не заметили ничего.

И посмотрев, как догорает их костер, Один и Другой плюнули на Хайр и прокляли его: будете жечь — так и будете жечь, и не извести вам этого в Хайре. Потому что без вас был устроен мир, и вас не просили исправлять. И ушли из Хайра, и не было у Хайра богов, пока он не пришел в запустение, и пока один из богов-странников, не из этого мира, а шедший мимо, не сжалился над уцелевшими и не выбрал из них себе супругу. Да только, чужак, мира этого не знал и по незнанию выбрал юношу, из тех, что еще призывали имена Одного и Другого в их пустых, полуразрушенных храмах. А дальше вы знаете.

Тахин потянулся, расправил плечи. Покосился на ашананшеди.

— Когда такое случилось, почему нам не известно об этом и откуда ты узнал? — подался к нему Эртхиа.

— Когда случилось? — пожал плечами Тахин, прищурился. — Где бы записали такое, и кто передавал бы случившееся с презренными и отверженными?

— Но ты-то, ты откуда знаешь? — не обидевшись на издевку в голосе настаивал Эртхиа. А Дэнеш, шевельнув бровями, стал ковырять пальцем шнуровку, очень сосредоточенно.

— Я-то? — Тахин развел ладони плавно, нарочито красиво. И хлопнул ими звонко, вскинув голову: — Я-то сам придумал. Вот сейчас.

— Так этого не было? — разочарованно и с облегчением протянул Эртхиа, и на дне его голоса уже всклубился гнев.

— Докажи, — спокойно предложил Тахин. — Докажи, что не было. И что не могло быть.

Они долго молчали.

— А это, про Одного и Другого, — правда, могло быть, — печально признал Эртхиа.

— Я почти уверен, что было, — откликнулся Тахин.

— Я уверен, — подтвердил Дэнеш.

— Но лучше бы, правда, в этой твоей истории кто-нибудь

другой… Ну, ты понимаешь. Лучше бы они стали друзьями, а их за это убили. Я не осуждаю! Но как-то было бы спокойнее. Такую историю мог бы нам рассказать учитель Дадуни. И я бы велел рассказывать ее моим сыновьям.

— А чего бы ты от меня хотел? — усмехнулся Тахин. — И ты можешь рассказать эту историю своим сыновьям — такой, как она есть. И скажи в конце: будете ли вы людьми или те, кого вы презираете, окажутся достойнее вас?

— Не говори так, — насупился Эртхиа. — Ради брата моего и ради тебя — никогда не скажу такого. И поговорив так еще недолго, они почувствовали что сон в сговоре с усталостью одолевают их. И улеглись на мягкий мох, и уснули.

— Спи осторожней, — пробормотал еще Эртхиа. — Спокойных тебе снов…

Мне не стоило бы ничего протянуть руку и на кончиках пальцев поднести к его лицу язычок огня. Но не было нужды: все его черты были впечатаны в мои зрачки, и я закрыл глаза, чтобы лучше видеть. Он был тот, о ком я мечтал всю жизнь: безупречный воин, отважный всадник, верный в дружбе, чуткий сердцем, звонкоголосый, беспечный, удалой, мужественный, такой, такой… как я. Пусть говорят, что двое схожих не сойдутся! Знаю я, как не сходятся несхожие, как масло не роднится с водой, как из золотой оправы выпадает алмаз, и только жильная нить удержит сшитые два куска кожи, и только кровь с кровью роднятся, только…

Я лег и, покусывая пальцы, пытался заснуть. Его не коснулось то, что спалило меня, и пусть. Пусть остается таким, как есть.

И я засмеялся над своим ненужным благородством. Как, в самом деле, я мог бы?

Я смеялся. Ведь огонь не может превратиться в слезы, и не дано мне оплакать мою участь.

Эртхиа завозился, прикрывая лицо руками, поднял голову.

— Что это? Лес горит… или мне приснилось? Лицо, как обожженное.

— Это ничего, — покачал я головой и отодвинулся.

Следующей ночью рассказывал Эртхиа.

— В далекие времена, о которых не сохранилось записей, жил царь из славнейших царей земли, повелитель страны обширной и изобильной. У царя была единственная дочь, а сыновей не было ни от жен, ни от наложниц. И было предсказано царю, что не родится у него сын, пока дочь не вырастет и не перейдет в дом мужа.

Год летел за годом для царевны, а для отца они тянулись как вечность за вечностью. Наконец девушка достигла брачного

возраста, и стали с нетерпением ожидать сватов из соседних царств. Но сваты все не ехали.

Нрава царевна была… дурного слова не скажешь: девушку жалко, и хорошего слова не скажешь: хорошего слова жалко. А внешности она была такой, что посмотришь и пожмешь плечами, отвернешься — забудешь. И это не делало ее покладистей.

Вот и не спешили послы и сваты от окрестных государей, а выдать единственную дочь за подданного обидно было бы столь могучему и славному царю.

Однако нужно было, чтобы родился у царя наследник. И поэтому, свернув коврик и прихватив посох, отправился в путь старик из долины Аиберджит, и прошел все земли, отделявшие его от той благословенной страны, и пришел в ее столицу, никем не замеченный прошел во дворец и предстал перед царевной.

— Я принес тебе от самой Судьбы подарок, поклонись и прими с благоговением! — воскликнул он.

— Мне ли, дочери моего отца, кланяться нищим? — насупилась царевна и уже воздела руки, чтобы хлопнуть в ладоши, призывая служанок и стражу.

Но старик быстро взял ее за подбородок, глянул в глаза — и она присмирела.

— Смотри, — сказал ей старик, вынимая из складок плаща неприметное с виду ожерелье из серой амбры, что собирают по берегам Южного моря. — Это сделает тебя самой красивой женщиной на этой стороне мира — да и на той мало кто сможет соперничать с тобою. Трех дней не пройдет, как женихи съедутся ко двору твоего отца, и замужество твое будет счастливым. Но не снимай ожерелья ни днем ни ночью и берегись предстать перед мужем без него.

И старик надел ей на шею ожерелье. Но, пока он возился с застежкой, ему пришлось отвести взгляд от глаз царевны.

— Наконец-то, — сказала царевна, — наконец-то Судьба собралась исправить свою оплошность. То, что мне принадлежит по праву, дарит она мне как милость. Ну пусть. Кто я, чтобы с ней спорить? Так уж бывает, что власть получает не тот, кто способен ею правильно распорядиться…

Уходя, старик оглянулся на царевну и покачал головой.

Часа не прошло, как весь город знал о внезапно расцветшей красоте царевны. К вечеру об этом знала вся страна, а на третий день уже во все ворота столицы входили караваны из разных стран, нагруженные подарками, без которых — какое сватовство?

И отдали царевну замуж за царя из страны могучей и не слишком отдаленной, наделив приданым, как положено. Царь был молод, собой хорош, могучий воин, ловкий охотник, нрава

доброго — истинное счастье своих подданных!

Эртхиа остановился перевести дух, и этим воспользовался Тахин:

— А как их звали? — спросил он, подмигнув Дэнешу.

— Их? — переспросил Эртхиа.

— Ну да. Нельзя же рассказывать о людях, не называя их имен. Может, таких людей и не было никогда? Как звали царя и его жену?

— Которую? — невинно округлил глаза Эртхиа.

— А у него их сколько было?

— Жен у царя было столько, — с удовольствием сообщил Эртхиа, — что он сам всех не помнил.

Тахин развел руками: что тут возразишь! И впрямь, значит, великий был царь. Каждая жена, что воин в полном вооружении и с конем: расходы на содержание одинаковые.

— А царя звали Кири, что значит «лев». А царицу Кирини, и это имя ей подходило. И Кири любил Кирини так, что оставил всех своих жен, забыл и тех, кого помнил, проводил все время только с ней, глаз от нее не отрывал, все дела правления поручил советникам, прервал все войны, которые вел — словом, вовсе переселился бы в ее покои, если бы не нрав царицы, о котором вы уже имеете представление. Все-то ей было не по нраву: и ткани грубы, и золотое шитье блёкло, и камни мелки, и краски бледны, и ароматы не душисты, и гребни не часты, и подушки не мягки, и муж не ласков.

И стал царь пленником и рабом в собственном дворце, ибо ни в чем не мог отказать царице: такую силу имела над ним ее красота. И по ее прихоти он то слал караваны в дальние страны за редкостями и диковинками, то гнал всех купцов из страны: она-де видеть не может то убожество, что они привозят. То, изгнанный ею из заветного покоя, собирал советников, то, едва приступив к делам правления, спешил обратно, узнав от евнуха, что царица простила его и хочет видеть немедленно. То по ее наущению затевал войну: ей бы увидеть его в боевом уборе, — то покидал войско и мчался к ней, получив известие, что царица заболела и умирает. А оказывалось, что ей наскучило во дворце одной. И он собирался на следующий день вернуться к войску, но царица удерживала его и день, и другой, и третий…

И не стало в царстве порядка, и умножились беды.

И как-то ночью, когда царица по воле луны спала одна, вошел в ее покой старик, похожий на нищего. Постоял над ней недолго, снял ожерелье из серой амбры и исчез.

Наутро царица проснулась, кликнула служанок. Те в крик: что за посторонняя женщина в постели любимой государыни?! В

шею вытолкали ее, созвали евнухов, а те подвергли ее наказанию и определили ей место в самом отдаленном уголке дворца, в самой дальней части сада.

Кинулись искать царицу, а найти не могут, — будто ночные духи унесли! Не знают, как доложить царю. Вот уже сам царь послал вперед себя слуг, чтобы предупредить царицу о своем приходе, вот уже пожаловал в заветный покой. А царицы нет как нет. Полетели головы. Разослали гонцов по всей стране, с ног сбились, ашананшеди землю по камешку перебрали, сады — по листочку, пустыни — по песчинке. Не нашли.

Потерял покой царь, а на ночной половине радость и праздник: ждут жены и наложницы, что вспомнит теперь о них господин, когда не стало той, что владела его помыслами. Наперебой устраивают угощения, наряжаются, драгоценными маслами умащиваются, зовут повелителя к себе то одна то другая. А повелитель слоняется по дворцу, сам стал подобен ночному духу, не находит ни покоя, ни утешения.

Вот однажды забрел он в самый дальний уголок сада, где стояла одинокая заброшенная беседка, в которой он и не бывал раньше. Видит: сидит женщина, ни хороша собой, ни дурна. Он такую и не помнил среди жен своих. Правда, и всех жен своих он не помнил. Сидит женщина, одета скромно, без украшений, волосы не убраны, лицо не накрашено, — и плачет. Удивился царь: все радуются, а эта плачет.

— Отчего ты плачешь, женщина? — спросил царь.

А она взглянула на него сквозь слезы прозрачные, сверкающие на солнце, и сказала:

— Я плачу, царь, — сказала она, — оттого, что ты потерял свою любимую.

Удивился царь, что ни в ком не нашел он сочувствия своему горю, кроме этой, которую и не посетил ни разу. И так тронуло царя ее сострадание, что сел царь рядом с ней и дал волю слезам.

С тех пор каждый день стал царь заходить в ее покой, ибо только с ней мог говорить о своей печали. Рассказывал, как любил исчезнувшую царицу, как страдал из-за нее, каким мучениям она его подвергала.

А женщина только вздыхала:

— Как могла она так относиться к господину, не ценить его любовь! Это Судьба ее наказала, горделивую, привередливую.

— Это меня Судьба наказала, за то что я пренебрегал своим долгом, — отвечал царь. И тогда женщина плакала, а царь ее утешал, а она его.

Так прошло время, дела в стране поправились, потому что, находя утешение в беседах с разумной и мягкосердечной женой,

царь обрел силы вернуться к делам правления. Враги, привлеченные слухами о слабости царя, напали на страну, но были разбиты. И, празднуя победу, повелел царь перевести жену в заветный покой, одарил ее несметными дарами, так что стала она наряднее всех его жен и наложниц, и каждую ночь проводил с ней, кроме тех, на которых лежал запрет от луны. Трех сыновей она родила ему одного за другим и расцвела, как плодоносное дерево, когда оно в полной силе.

И однажды сказал ей царь:

— Вот, Тари (она так ему назвалась), я думал найти счастье в совершенной красоте, но только истерзал душу и едва не погубил царство. А тебя никто не называет красавицей, но сердце мое у тебя как сокровище под надежной охраной, или как дитя на коленях у няньки, которая во всем ему угождает. И если бы сейчас отыскалась та, прежняя моя, Кирини, я бы в ее сторону не посмотрел, чтобы не огорчить тебя.

И тогда упала Кирини ему в ноги и поведала обо всем, что с ней случилось. И вот ее история, и все, и конец.

Дэнеш поправил прутиком угли. Исподлобья поглядел на Эртхиа, сидевшего напротив по ту сторону костра.

— Все это — чистая правда, — сказал ашананшеди.

— Да, — подтвердил Тахин. — Хотя мне никогда не приходилось ни читать, ни слышать об этом.

— Я это придумал. Сегодня, когда мы собирали папоротник на ужин.

— Ну и что? — пожал плечами Тахин. — От этого твоя история не стала ни на щепоть менее правдивой.

— Хочу еще жареного папоротника, — сказал Эртхиа. — Вкусно.

— Утром, — улыбнулся Дэнеш.

— Да побольше!

О корабле

Утром они поднялись на гору, чтобы собрать побольше папоротника. Между вершин деревьев, покрывавших склон, блеснуло море. Дэнеш выпустил из рук охапку зелени, выпрямился. Спутники проследили за его взглядом.

— Корабль.

— Это не дау.

— Дау похож на чайку, скользящую по волнам.

— Когда она приподнимет острые крылья!

— Если бы у ящерицы были крылья…

— На нее был бы похож этот корабль. Дэнеш! Ты не знаешь, что это за корабль?

— Я сказал бы, — сказал Дэнеш, — что его паруса скорее напоминают плавники. А люди, стоящие на его палубе, напоминают воинов в блестящих доспехах. И луки у них очень даже не маленькие.

— И что же нам теперь делать? Поспешить навстречу или спрятаться?

— Спрятаться и поспешить навстречу.

Корабль, видно, неглубоко сидел в воде, потому что подошел близко к берегу, и с него прямо на песок были переброшены сходни. По сходням тут же сбежало — поспешно, но в строгом порядке — множество воинов в кожаных панцирях и шлемах с низкими нашейниками, вооруженных тяжелыми луками и длинными мечами. Они выстроились в три ряда полукругом, оцепив часть берега вокруг корабля, и замерли в неподвижности, и все так быстро, что Эртхиа едва не вслух восхитился их выучкой.

И эти воины, все как один, похожи были на Дэнеша. Не как братья — скорее, как дальние родственники, или еще как люди, рожденные в одном народе. Вот этим сходством они были похожи на Дэнеша и на тех из ашананшеди, кого приходилось видеть Эртхиа. И он сказал об этом Тахину, и Тахин согласился с ним.

— Если они все такие воины, как наш лазутчик, то будь при нас и оружие — ничем не помогло бы.

— Не лучше ли выйти к ним открыто и предложить мир?

— А что еще мы могли бы им предложить?

— Что скажешь, Дэнеш?

— Если мы с Тахином выйдем к ним, а ты посмотришь со стороны, чтобы ничего не случилось?

— И что я смогу сделать? Раньше, чем я успею перебить десятую часть их, они прирежут вас, как новорожденных ягнят на

шкурки. Выходить — так всем.

— Ты думаешь, они все — такие, как ты?

— Такие, как я, строем не ходят. Но вон тот и тот, пожалуй… очень может быть. И начальник их мне не нравится.

Начальник их спускался неторопливо, спокойной рукой придерживая рукоять длинного меча, чтобы не цеплялся за сходни концом черных лакированных ножен. Под ноги он не глядел, озирая придирчиво передние ряды деревьев, выступающие к берегу, стремясь пронзить взглядом чащу.

Он был огромен и весь сверкал в лучах солнца, голова, широко опиравшаяся прямо на плечи, блистала нечеловечески грозным ликом, увенчанным золотыми рогами. И только окончательно опешив, Эртхиа углядел-таки, что огромны были покрывавшие его с головы до ног доспехи необыкновенной формы, сложенные наподобие рыбьей чешуи. Рогатый шлем расширялся к низу и ложился на плечи, а лицо закрывала маска.

— Ах и ах! — сказал Эртхиа, качая головой. В конце концов, удивительнее всего было, как легко и ловко двигался воин, нагруженный такой немалой тяжестью.

С берега прозвучали отрывистые команды, и воины из второго и третьего рядов, пройдя между передними, побежали к лесу, держа наготове кто стрелы, прилаженные на тетиву, кто обнаженные мечи.

— Найдут нас здесь, и конец. Выходим, — сказал Дэнеш, вынимая из-за пазухи дуу. — И вы пойте громче.

Эртхиа с Тахином переглянулись и грянули в два голоса:

— Он прекрасен, похитивший мое сердце!

Дэнеш закашлялся.

— Ноги его как столпы, попирающие землю!

— восхитился Эртхиа.

— А глаза — как бойницы!

— похвалил Тахин.

Эртхиа сильно хлопнул Дэнеша между лопаток. Тот отдышался, поднес к губам дуу и подхватил мотив.

— Стан его подобен сторожевой башне, хорошо

укрепленной!

— тут же провозгласил Эртхиа.

— Грозовой туче, двинувшейся с перевала!

— вторил ему Тахин искуснейшим переливом.

— Молниям подобен блеск его доспехов…
— Голос его — громовые раскаты.
— Он смертоносен, как песчаная буря…

Так они шли, воспевая во все горло, между деревьев к берегу, где воцарились тишина и неподвижность, и так они вышли: Дэнеш, затянутый в темно-серую, в грязных пятнах, кожу, Тахин в огненных шелках и Эртхиа, по бедрам обмотанный Дэнешевой рубашкой.

И пока они пели, никто не шелохнулся на берегу, только начальник переводил с одного на другого неласковый взгляд.

Однако никакая песня не поется бесконечно.

Дэнеш извлек из дуу еще несколько звуков, закругляя мелодию, и опустил флейту.

— А теперь — что? — вполголоса спросил Эртхиа.

— Молчи, — сквозь зубы велел Дэнеш.

И они стояли и молчали, окруженные воинами в кожаных панцирях, под нацеленными на них стрелами на тугих тетивах, щурясь от блеска поднятых мечей.

Резкий голос военачальника рявкнул еще раз, и воины расступились, давая ему дорогу, и он уверенным шагом подошел к трем незнакомцам, и следы его обуви глубоко вдавливались в песок.

Он что-то отрывисто спросил, обращаясь к Тахину. Тот покачал головой, не понимая, и покосился на лазутчика.

— Беда нам, шагата.

— Э? — удивился военачальник. — Шагата? — и впился глазами в Дэнеша.

Дэнеш шагнул вперед, пуще прежнего выпрямив стан, лицо его приняло выражение не менее надменное, чем у противника.

— Шагата, — начал он, и это было единственным словом, которое спутники поняли из его короткой, но очень выразительной речи. В отличие от военачальника, который, похоже, понял все — и отвечал Дэнешу на том же языке, на

котором Дэнеш с ним заговорил: на языке ашананшеди.

Результатом их переговоров было то, что друзей с почетом проводили на корабль (Тахину понадобилось все его самообладание) и поместили в каюте. Каюта была хоть и тесна, но по стенам висело оружие, и на полу лежали медвежьи и тигровые шкуры.

Тут же запахло паленой шерстью, и Тахин страдальчески сморщился.

— Ничего не могу поделать!

— Давай же, Дэнеш, — вскинулся Эртхиа, — объясни, что случилось, а то и впрямь не по себе…

Дэнеш еще раз оглядел каюту, покивал удовлетворенно и сообщил следующее:

— Все хорошо.

— Да что хорошо-то? — хлопнул себя по бедрам Эртхиа. — Говори, а то ведь гореть этому кораблю ярким пламенем, посмотри: стены лаком покрыты.

— Все очень хорошо. Ты царь?

— Я? — опешил Эртхиа. — Царь. Да. Правда, — согласился он, поправляя набедренную повязку. — А что?

— Я тоже царь.

— Ты?!

— Шагата — значит «царь». И ты, Тахин, тоже…

— А я-то почему? — спросил Тахин, тщетно пытаясь затоптать тлеющую шкуру под ногами.

— Дай я, — кинулся к нему Эртхиа. — А он-то почему?

— Ты ведь — последний из араванов, к тому же княжеского рода. Кто же, как не ты, может назваться царем араванов?

— Но их ведь уже нет, — осторожно напомнил Тахин.

— Кто здесь об этом знает?

Помолчали, раздумывая. Дэнеш продолжил:

— И видом мы очень разные, всякому видно, что принадлежим мы к разным народам. Поэтому, ан-Эртхабадр, твой слуга не нашел ничего лучше, чем сказать, что мы — трое царей, отправившиеся в путь с целью, нам одним ведомой, и потерпевшие в пути кораблекрушение, лишившее нас свиты, оружия, а некоторых и одежды.

— Ужас! — схватился за голову Эртхиа. — И он тебе… поверил?

— Еще бы! Ведь я говорил с ним на языке Ашанана.

— А он-то откуда его?…

— Дарна! — спохватился Тахин.

— Дарна? — замер Эртхиа. — Дарна! В сердце роза!

— Я сказал. Ее принесут. Доставят с почестями. А откуда он

знает язык Ашанана, мне неизвестно пока. Всему свое время. Но кажется мне…

— Это земля Ашанана? — прошептал Эртхиа, и Дэнеш кивнул.

Спустя небольшое время принесли им воду, чтобы умыться, одежду, а после и еду. Вода была в больших кувшинах, белых, покрытых зеленовато-синим рисунком: какие-то усатые ящерицы на неуклюжих когтистых лапах извивались, тараща выпученные глаза. Эртхиа постучал ногтем по стенке кувшина, подвигал бровями, но ничего не сказал. Даже вопросительный взгляд Дэнеша оставил без ответа. Тахин умываться не стал и одежды не сменил. Впрочем, Дэнеш тоже отказался расстаться со своей одеждой, надел прямо поверх нее белую нижнюю безрукавку и широкие желтые штаны, едва доходившие до щиколоток, натянул сверху один на другой два вышитых халата и еще кафтан, прихватил их несколькими опоясками и нарядным поясом, — все как показал слуга, помогавший облачаться Эртхиа.

К еде, просто белому рису с множеством приправ и подливок в маленьких круглых чашечках, не подали воды для омовения пальцев, и их пришлось облизать с удвоенной тщательностью, но Эртхиа почти не обратил внимание на это недоразумение, поскольку наконец досыта наелся. И в Хайре, и в Аттане знали это зерно как привозное, употребляли в пищу редко, как чужеземное лакомство; приправы были странны и запахом, и на вкус, так что Эртхиа предпочел бы миску хорошего густого фула, горохового или даже бобового, с пряностями, и большую круглую лепешку с хрустящей, крошащейся смуглой корочкой и мякотью желтоватой, пористой и податливой… Но все же не ящерицы и не побеги, страшно сказать, папоротника! Так что он вылепливал пальцами комки риса и смело макал в приправы, перепробовав все, но так ни одной и не отдав предпочтения.

Дэнеш ел медленно, осторожно. Но его осторожность не была настороженной, а, скорее, почтительной. Он не был склонен выказывать удивление или любопытство. Но все же: есть то же самое, что ел, может быть, и Ашанан когда-то… Всем известна сдержанность ашананшеди. Но сами-то себя они никогда не называли бесчувственными. Дэнеш был растроган.

Им подали также и вино, подогретое, в пузатеньких сосудцах с носиками, и малюсенькие чарочки, из которых это вино пить. Запах от сосудцев шел одуряющий, резковатый, но приятный. В голову ударило сразу: то ли с отвычки, то ли еще от чего.

— Учтиво ли будет, — вяло обеспокоился Эртхиа, — если мы сейчас заснем?

— Вполне, — деловито кивнул Дэнеш.

— А нас не зарежут во сне? — усомнился не пивший вина Тахин.

— Это исключено.

— Однако, хозяева не разделили с нами трапезы… — задумался Эртхиа.

— Им, может быть, не до нас, и если обычаи гостеприимства здесь иные…

— Может быть, они дают нам время прийти в себя и предстать перед ними в должном виде?

— Может быть, — согласился Дэнеш. — Так или иначе, спите. Ночь — мое время.

О преданном слуге

На шорох открываемой двери Шан Ян не обернулся, но прикрыл глаза. Он ждал убийцу. Весь долгий путь из Унбона сначала по суше, потом вдоль побережья от пристани к пристани и от последней пристани в Ла до неприветливых берегов Журавлиного острова он ждал подосланного убийцу. Сомневаться было не в чем. Шан Ян не намеревался оказывать сопротивление. Но предпочел бы, чтобы все произошло без свидетелей: обнаружив его труп, даже самые преданные сторонники наконец поймут, что все потеряно, и сохранят верность правящему государю. В случае открытой схватки они лишь погубили бы сами себя.

У Тхэ прикрыл за собой дверь каюты и опустился на колени.

— Почтительно желаю здравствовать тысячу лет.

— Встань. Прекрати. Такое обращение неуместно, — равнодушно отчитал его Шан Ян. — Я, может быть, и правитель на этом острове, который мой почитаемый старший брат милостиво определил мне местом изгнания, но ты-то мне не подданный.

И взглядом показал, что понимает чувства У Тхэ, но не разделяет их.

У Тхэ пришлось подняться. Низко опустив голову, он попросил:

— Прикажите откровенно высказать свое мнение!

— Нет, — устало нахмурился Шан Ян. — Запрещаю. Оно мне известно. Являясь подданным Золотого Дракона, не могу слушать такие речи. А вельможа в звании «Опора державы» такие речи вести не должен.

— И думать так не должен, но думать иначе — не могу, — глухо произнес У Тхэ. — Какой державы быть опорой? Прежде бы спасти ее!

— Мне известно твое радение о благополучии государства, — снисходительно и чуть раздраженно начал Шан Ян — и осекся. Покачав головой, он сменил тон. — Мы с детства дружны и знаем все мысли друг друга. Отбрось церемонии, смотри: я теперь ниже тебя по положению. Жалкий изгнанник, нищий и одинокий. Это мне теперь стоять перед тобой, почтительно вытянувшись…

— Никогда! — возразил У Тхэ, упрямо опускаясь на колени. — Я клялся вашему отцу, что буду преданным слугой…

— … наследнику, мой добрый Тхэ, наследнику. Моему почитаемому старшему брату. Оставим же этот разговор — сколько раз…

— Сколько раз мы его оставляли! Вы не хотите мне верить, а я повторяю, что ваш почтенный родитель был отравлен, и когда, корчась в муках, он произнес имя вашего почитаемого старшего брата…

— Нашего государя!

— Да…

— Нашего повелителя, которого волю подданные должны исполнять…

— Да, но это было не объявлением наследника! Это было обвинением, и вам это известно!

— Нет!

— Известно. Это вам известно.

У Тхэ тяжело давалось спорить с подлинным своим господином, и он с силой упирался ладонями в пол, и капли пота блестели на его лбу, и голос дрожал против воли. Прискорбно оказаться в таком положении, когда возражать повелителю — необходимо. Еще прискорбнее оставить его на этом жалком клочке суши, пустынном и неприветливом.

— Помоги мне переодеться. Уступая твоим просьбам, я весь путь проделал в одежде, которая мне теперь не подобает. Вместо того, чтобы везти меня как заключенного, ты превратил тюремщика в придворного, а стражу — в свиту.

— Я и есть ваш преданный слуга, а меня сделали вашим тюремщиком. Но суть человека не меняется от обстоятельств, и даже наоборот.

— Наоборот… Это правда, насколько мог, ты сделал этот путь легким для меня. Что касается дальнейшего, надо принимать свою долю. Углежог или даже певичка, если ведут себя сообразно своему положению, имеют, быть может, больше достоинства, чем Золотой Дракон, пренебрегающий своим долгом перед Небом.

— Отцеубийца, отравитель.

— Прекрати. Говоришь о повиновении, а споришь. Не спорь, Тхэ. Принимай свою долю. Ничего не поделаешь, придется тебе служить моему почитаемому старшему брату.

— Я бы с радостью очистил трон от дерьма, которое на него водрузилось! Простите.

— Ты дашь мне клятву, что будешь преданно служить моему брату.

— Я уже клялся вашему отцу…

— Повинуйся, — потребовал Шан Ян. — Это последний мой тебе приказ. Сейчас я облачусь в платье отшельника, и никогда уже ты не услышишь от меня повелений. Ты, столько говоривший о своей преданности, чем почтишь на прощанье своего

господина?

— Если бы вы заняли престол, разве не благоденствием обернулось бы это для Ы? Чье правление могло бы сравниться в праведности с вашим?

— Праведное правление ты предлагаешь начать с нарушения родительской воли? С убийства законного государя? Со смуты, которая всю страну может поставить на край гибели? И это когда с севера и с запада нам угрожают кочевники, готовые при первых признаках слабости наброситься на Ы, сделать ее своей добычей, предать мечу и разграблению!.. Не будет этого. Довольно, Тхэ. Мне уже не подобает гневаться, так не гневи меня. Могу я еще — эту последнюю минуту — считать тебя моим слугой, или и ты уже отрекся от меня, как все?

Посмотрите на У Тхэ! Он поднес к лицу рукав, приложил к глазам.

— Я ваш слуга, что бы ни случилось. Какая бы одежда ни была на вас, слово ваше будет для меня законом, дороже пяти устоев! Прикажите — я сделаю, хоть бы и умереть позорной смертью.

— Клянись, что будешь преданным слугой моему брату и ничего не сделаешь против него, и не уклонишься от долга. Знаешь сам, ничто не остается неизвестным, как говорится, и дикий гусь бывает вещей птицей, и если ты нарушишь клятву, я ведь об этом узнаю. А тогда — что же еще мне останется, только умереть от горя и стыда.

— Я клянусь.

— Подай мне эту повязку. Помоги завязать.

— От горя и стыда умрет ваш ничтожный слуга, когда кочевники накинутся на Ы, как шакалы на падаль, и этого ждать недолго — во дворце уже смердит. Запах разложения скоро достигнет их чутких ноздрей, и они не промедлят.

— Жестокость моего почитаемого брата — признак его силы…

Волосы выскользнули из-под руки господина и рассыпались по спине. У Тхэ снова собрал их, скрутил в нетугой жгут, сложил вдвое и вчетверо. Прихватив волосы, обмотал голову своего господина широкой исчерна-синей тесьмой. И только сдавленно вздохнул.

— Вот теперь вы с виду — настоящий отшельник.

Дэнеш услышал шаги стражника за своей спиной, но тень от сложенного паруса, наброшенная луной на надстройку, надежно скрывала его, и он не отвлекся от разговора.

— Когда была бы на то ваша воля… Войско мне предано, мы заняли бы столицу и вошли во дворец. Ваши повеления

исполнялись бы молниеносно и в точности, и некому было бы встать между вами и троном Дракона. А тогда бы… Сейчас еще можно, сейчас время — наше, но счет идет на месяцы и на недели, и если не унять кочевников сейчас, потом ваш ничтожный слуга сможет только пасть в бою, чтобы доказать свою верность Ы, но разве это принесет пользу? Сейчас, а не то будет поздно. Шан Ши окружил себя… Кого он приближает и одаривает милостями! И кого казнит! По доносам завистников, и сам завистник… Сколько он тратит на пиры, на устройство садов, в то время как люди близки к смерти или бунту, и даже войско недоедает. И этот указ: набрать десять тысяч девиц для новых загородных дворцов. Даже если он будет съедать по одной в день, куда же столько? Как же можно оставить Ы на такого правителя?…

— Ты поклялся, — отрезал Шан Ян.

— Я поклялся… — проскрежетал У Тхэ. Он вытянулся перед Шан Яном наипочтительнейшим образом, прижав руки к бедрам, не отрывая взгляда от подбородка господина.

Шан Ян кивнул, отвернулся.

— Как ты намерен поступить со своей находкой? — поинтересовался через плечо.

— Доставлю в Унбон, — мрачно ответил У Тхэ. — Император охоч до новых развлечений, а эти не похожи ни на кого. Кроме того, который похож на всех… Я имею в виду, что такое лицо трудно запомнить. Его имя должно быть «Никто».

— Ты думаешь, они в самом деле — цари?

— Три царя, три молодых, дружных между собой царя, на острове, затерянном среди пустынного моря, без свиты, оружия и даже одежды…

— Сильно смахивает на выдумку?

— Такая выдумка может быть рассчитана только на дураков, а ваш ничтожный слуга, как бы ни был ничтожен, такого впечатления ни на кого еще не производил. Есть в них что-то такое… У всех разное, но в каждом что-то, что заставляет подозревать их историю в правдивости. В любом случае, я доставлю их в Унбон, а по дороге постараюсь как можно больше от них узнать. Этот… никакой говорит на дэйси так, как никто из ныне живущих не говорит. И не пишет. Но самые древние летописи Ы написаны именно таким дэйси. Или очень похожим. Я думаю — не из потомков ли он того войска, которое увел с собой повелитель Ань из династии Старшая Шан? Он ведь не вернулся из своего заморского похода. Вдруг не море стало ему могилой, а где-то здравствуют его наследники?

— Вот как ты все повернул! И когда успел обдумать? Острый

же у тебя ум.

— Господин преувеличивает достоинства своего негодного слуги. Но, по крайней мере, это сойдет для Шан Ши, чтобы занять его и, может быть, отвлечь от мыслей о затерянном среди пустынного моря острове и его обитателе.

— Полно, Тхэ, — принужденно рассмеялся Шан Ян. — Если бы мой почитаемый брат пожелал моей смерти, убийца уже спешил бы с докладом в Унбон о том, что повеление императора исполнено.

— Другого исхода мой господин не допускает? — приподнял бровь У Тхэ. — Убийца никуда уже не спешит…

Шан Ян поморгал.

— Нехорошо. Ты нарушил приказ моего почитаемого брата.

— Я никакого приказа не получал, кроме: доставить вас на Журавлиный остров.

— Значит, ты воспрепятствовал исполнению императорского поручения.

— Напротив: я исполнил высочайшее повеление, полученное мною лично. На всякий случай я взял с собой двух моих лучших лазутчиков, переодетых простыми лучниками. Они сделали все, чтобы воля Золотого Дракона была исполнена в полной мере и вы были доставлены в добром здравии и без помех туда, куда мне было приказано… Если они совершили проступок, я немедленно казню их!

— Не надо, — отмахнулся Шан Ян. — Ты, значит, предвидел и это… Впрочем, по-другому и быть не могло.

Дэнеш отодвинулся от окна, пошел вдоль стенки и вовремя замер, едва не натолкнувшись на повернувшего из-за надстройки часового: за шорохом и шлепаньем воды и скрипом снастей его шагов не было слышно. Дэнеш приник к теням, отбрасываемым сложенными парусами, застыл в позе, ничего общего с человеческим телом не имевшей. Часовой прошел мимо. Дэнеш проводил его равнодушным взглядом, выпрямился, свернул за угол и скользнул в оставленную приоткрытой дверь.

— Ну что?

— А ты не спишь? — улыбнулся Дэнеш.

— А ты думал, я за тобой не услежу?

— Не думал. Эртхиа спит?

— Похоже. Молодым — сон. А в моем возрасте…

— По-моему, ты сейчас моложе, чем был тогда.

— Почему ты так думаешь?

— Ну, ты писал о неосторожности, присущей тебе в юности, как о чем-то, бывшем задолго… А когда бы ты успел исправиться, если на вид ты немногим старше Эртхиа.

— А тебя?

— Разве не видишь?

— Никогда мне не удавалось на взгляд определить возраст ашананшеди. Может быть, потому, что никогда не видел ваших детей. И стариков.

— Мы с тобой — ровесники, я думаю. Не считая тех лет… Они видны, если глядеть тебе прямо в глаза. Но это трудно. А если не в глаза, ты, как каленая стрела, как натянутая тетива, как струна на твоей дарне. Ты совсем другой, но ростом и стройностью ты похож на…

Тахин вскинул глаза, но Дэнеш уже только улыбался. И пожал плечами, как бы говоря: что там я ни наговорил, а больше не скажу ничего. Тахин рассмеялся, обеими руками собрал по плечам волосы, стянул на затылке, отпустил, тряхнул головой.

— Что ты там узнал? Чей подслушал разговор? За кем подглядывал?

— Ты ревнуешь? — наклонился к нему Дэнеш.

— Мне ли?… И не думал о тебе так. Так, чтобы ревновать. Не обожгись. Так на кого я похож?

— Что это паленым пахнет? — спросонок пробормотал Эртхиа. И сел на постели, принюхиваясь и приглядываясь в темноте. — Что, горим?

— Да нет, — лениво откликнулся Тахин. — Все в порядке. Расспроси-ка лучше Дэнеша, что он нового узнал, а то без тебя не хочет рассказывать.

Дэнеш покачал головой, уселся удобно на свою постель и, пока расшнуровывал безрукавку и распускал завязки на кожаных штанах, пересказал все, что сам понял из подслушанного разговора.

— Не бежать ли нам отсюда? — озаботился Эртхиа.

— На остров? — фыркнул Тахин.

— Погоди. Почему бы, в самом деле, не быть доставленными в столицу этого славного царства, из которого происходят мои предки? Оно граничит со степью — раз ему угрожают кочевники. Значит, путь перед нами не закрыт. Мы всем чужие, а значит, вольны уйти, когда нам вздумается.

— Если нам дадут уйти… — покачал головой Эртхиа. — Сам говоришь, у них есть лазутчики. Ты-то, может быть, и уйдешь…

— Все уйдем. У тебя, ан-Эртхабадр, тоже есть лазутчик, — успокоил его Дэнеш и скромно прибавил: — Не из последних.

— И говорить не о чем! — воскликнул Тахин. — Не можем мы не посетить царство Ашанана, раз уж нам все равно деваться некуда. Или у тебя сердца нет, Эртхиа? Даже только ради Дэнеша следовало бы!

— Да я разве против? Ты не волнуйся, Тахин.

О медной чашке

Атхафанама встряхнула кувшин, чтобы убедиться, что в нем не осталось воды и на пару глотков, и надо пойти и снова наполнить его, а иначе она не может утолить жажду лежащего перед ней человека. Но она все же вылила остаток воды в медную чашку и, отставив кувшин, поднесла ее к сморщенным губам в засохших трещинах. Все, больше у нее ничего нет. Ни капли. Атхафанама сунула чашку в складки подоткнутой юбки, подобрала кувшин и поднялась с колен. Быстрее было бы просто наклоняться над больными, но тогда неудобно было поить их и уже давно не переставая болела спина. Опускаться на колени было дольше и ноги уже давно болели тоже, но делать было нечего, и Атхафанама в течение дня по многу раз меняла свой способ поить беспомощных умирающих. Других дел не было: только поить, вытирать загаженный пол и указывать слугам, где можно освободить место.

Говорили, что в городе водопровод разбит и вода ручьями сбегает по ступенчатым улицам, прямо по пыльным плитам, омывая тела людей, из последних сил выбравшихся из домов, чтобы погрузить в нее пылающие тела и пить, пить. Они там и умирали и лежали вперемежку умершие с еще живыми.

Но источники, бьющие из скалы, на которой стоял Дом Солнца, не иссякали, и воды было вдоволь.

Атхафанама прошла к бочонкам, стоявшим у входа в зал. Из подземелий воду приносили в бочонках и больших кувшинах и черпаками переливали в сосуды, с которыми обходили больных. Здесь же стояла Ханнар, в ее руке был полный кувшин и из носика вода струйками выпрыгивала на пол, когда Ханнар взмахивала свободной рукой, о чем-то горячо споря с Иликом Рукчи. Атхафанама подошла поближе и вот что услышала:

— Их нужно перенести сюда, Илик. Мы не можем взять отсюда людей и послать во дворец. Здесь нужен каждый, кто есть.

— Все-таки это царицы, — возражал Рукчи, сам собиравшийся предложить то же самое, но смущенный напором и резкостью Ханнар.

— Царицы? — спросила Атхафанама, переводя испуганный взгляд с одного на другую. — Царицы? — ей очень не хотелось понимать смысл подслушанных слов.

— Да, — повернулась к ней Ханнар. — Жены твоего брата.

— А…

— И дети тоже.

— Я пойду к ним, — сразу сказала Атхафанама, ставя свой

кувшин возле бочонка и одергивая юбку. Чашка выпала и со звоном покатилась по полу. Атхафанама наклонилась было за ней, но махнула рукой и оставила на полу. — Как же это могло случиться? Никто не должен был выходить из дома Эртхиа, ни входить…

— Нет, — перебила Ханнар. — Пусть их перенесут сюда. Какая разница, где им умирать? Здесь ты успеешь напоить гораздо больше людей. Не бросай их ради всего двух женщин и…

— И это дети твоего мужа, ты, шлюха! — взвилась Атхафанама. Ее трясло, и Рукчи сделал шаг к ней, потому что видел: она готова разорвать Ханнар на куски и нет ничего, что удержало бы ее. — Это жены твоего мужа и твои сестры, ты, безродная бродяжка, ты, позор моего брата, ты…

Ханис был далеко, у самой дальней стены, где в косом столбе света из окна то и дело вспыхивали золотым облачком его волосы, когда он наклонялся и поднимался, переходя от больного к больному. Ханис был далеко, не видел и не слышал, и некому было остановить Атхафанаму, обезумевшую от ревности, унижения и ужаса. А Рукчи был врачом и счел себя в праве схватить несчастную царицу за плечи и сильно встряхнуть. Атхафанама с хрипом втянула в себя воздух и заслонила лицо руками. Но уже через мгновение обернулась к Рукчи, деловито оправляя на себе одежду и приглаживая волосы.

— Ты пойдешь со мной, Илик. Побудем с ними там. Ирттэ любит тебя… Есть ли во дворце вода?

Ханнар попыталась что-то сказать, но Атхафанама молниеносно к ней развернулась.

— Ты ничего не понимаешь, богиня, из того, что смертные женщины впитывают с молоком матери. Это дом твоего мужа, это дети твоего мужа, это жены твоего мужа. Его дом, его слава, его честь, его дети, его женщины — это все твоя честь и твое богатство. Его благополучие — это твое благополучие. Мужчин связывает в братстве кровь, а женщин — семя их мужчины. Ты принимала его также, как Рутэ и Дар Ри, но ты, как пустыня, бесплодна и смертоносна. Ты вся почернела изнутри от зависти и ревности, а должна была бы наслаждаться покоем, счастьем и приязнью в таком саду, какой насадил мой брат. А теперь — как ты думаешь, жив он? Он поехал в степь, к своим названым братьям. И теперь все, что осталось от моего брата — твоего мужа, Ханнар, однажды убитого тобой, — все, что от него осталось, это дети его и его жены, которых согревала его плоть. Я иду к ним. Не возражай. Ты сказала глупость, богиня. Мы уйдем ненадолго, ты знаешь. К вечеру или к утру, не позже, мы вернемся.

И она сделала Рукчи знак идти за ней.

— Постой, — тихо попросила Ханнар, не поднимая головы. — Останься. Я пойду. Останься, — и показала взглядом вглубь зала. — Здесь ты нужна ему.

Атхафанама кивнула и наклонилась за чашкой. Так можно было и самой подумать, что кровь бросилась в лицо только из-за того, что она наклонилась так низко. Когда она выпрямилась, Ханнар и Рукчи уже не было в зале.

Город лежал перед ними, разделенный лестницами на расширяющиеся книзу клинья. Их пересекали улицы, опоясывавшие склоны горы. И, посмотрев вниз, Ханнар не увидела ни одной улицы, по которой можно было бы спуститься, не споткнувшись о покойника или не будучи схваченным протянутыми за помощью руками умирающего. Отовсюду доносились стоны, мольбы о помощи. Этот звук как черно-багровым облаком стоял над городом, но он был привычен Ханнар. А сквозь него пробивались острые красные, оранжевые звуки, ранившие наболевший слух.

— Что это? — повернулась она к Илику. — Музыка?

Илик кивнул и показал рукой вниз и налево. Там между домами стояли откупоренные винные бочки, вокруг, покачиваясь, бродили люди, среди них были и женщины, и их тела были едва прикрыты, а некоторые были и вовсе раздеты, и они были пьянее мужчин, и визгливо смеялись, и закидывали руки на шею любому, до кого могли дотянуться, и со смехом валились на землю, и приятели поливали их вином из мехов. Оттуда раздавались отчаянно громкие и нестройные звуки дудок и бубнов. Ханнар отвела взгляд, но и на других улицах увидела то же самое. Пирующие собирались вокруг откупоренных бочек или с мехами вина бродили по улицам, заглядывая в лица умерших и узнавая в них соседей, друзей или родственников, совершали тут же возлияния в их память, и едва могли уговорить их посторониться похоронные служки, тащившие под гору переполненные волокуши: в городе не осталось ни одной лошади, ни одного вола, чтобы запрячь в телегу. Резкая вонь от сжигаемой серы перебивала и запахи тления, и ароматы благовоний, на улицах там и тут, где не смывала бегущая вода, виднелись белые пятна от разведенной извести, которой поливали мостовую. Чернели остовы домов, которые первые были отмечены смертью: тогда еще надеялись остановить мор.

И высоко в ясном летнем небе стояло солнце.

Ханнар смотрела на него не щурясь. В последний раз смотрела так, как смотрела всегда. Теперь она от него отрекалась и с вызовом произносила на Высокой Речи:

— Предаюсь твоему гневу. Если ты правишь миром и это дело твоей воли и желания — лучше быть твоим врагом и погибнуть, чем быть заодно с тобой. Они всего лишь люди, да. Вот тебе обратно все, что меня от них отличает. И будь ты проклято.

Ханнар смерила его последним взглядом и кивнула Илику: идем. И пошла к своим сестрам.

Атхафанама прибежала под утро.

— Илик, Илик, пойдем! Скорее!

— Что с тобой? — кинулась к ней Ханнар. Платье на Атхафанаме висело клочьями, оторванный рукав сполз до кисти. Она тяжело дышала.

— Мы уже идем, — сказал Илик Рукчи. Атхафанама посмотрела: Джанакияра и Рутэ, Ирттэ и Кунрайо, малыш Шаутара и самый маленький, которому еще и имени не нарекли в отсутствие отца — шесть тел, завернутых в парчу, лежащих в ряд.

— Зачем ты пошла одна? — Ханнар обняла ее.

— Ничего, — отстранилась Атхафанама. — Там… Ханис…

— Что такое? Обморок? — вздохнул Илик. — Царь совсем не спал уже сколько дней? Надо дать ему теплого питья и пусть отдыхает не меньше суток. Все пройдет. Я иду к нему.

Атхафанама замотала головой.

— Он болен. У него это…

— Нет, — криво улыбнулась Ханнар. — Ты ошиблась. Не может быть.

— Пойди и посмотри.

Рукчи нахмурился.

— Этого не может быть, но все же пойдем, посмотрим.

— С тобой все в порядке? — продолжала беспокоиться Ханнар. — Разве можно сейчас одной выходить на улицу? Люди обезумели.

— Да ничего, ничего не случилось, я вырвалась и убежала, но Ханис… Илик, умоляю, поспеши! — и она вцепилась в его рукав и заставила бежать бегом до самого Дома Солнца.

Ханиса уложили в его спальне, и воздух там был синий и слоистый от курений. Рукчи быстро подошел к больному. Рядом встала Ханнар. Атхафанама прижалась лицом к руке Ханиса, опустившись по другую сторону постели. Ханнар смотрела и не верила: лицо царя, по шею укрытого одеялами, было точно таким, как лица всех умиравших у нее на руках в течение многих дней и ночей: багровым, опухшим, с растрескавшимися губами. Взгляд его остановившихся глаз был бессмыслен.

— Да, — сказал Илик.

— Он умрет, — прошептала Ханнар.

— А вот это неизвестно, — строго сказал Илик.

— Но еще никто не спасался.

— Он может быть первым.

— Ты всегда веришь в это.

— Да.

Атхафанама сквозь слезы взглянула на него взглядом полным обожания.

— Ты будешь его лечить?

Илик кивнул.

— Я пойду и принесу мои снадобья, а вы смотрите, чтобы он не раскрывался. Как давно это началось?

— Не знаю… Я не видела царя с вечера, думала, что он отдыхает. Его нашли в купальне. Я здесь все устроила и побежала за вами. Когда я уходила, он еще говорил со мной.

— Она стала очень сильна… Но еще неизвестно, — сказал Рукчи.

— Ханис, Ханис, — побелела вдруг Ханнар и кинулась вон. Рукчи удивленно поднял брови.

— Ее сын, — сказала Атхафанама. — Пойди за своими снадобьями, Илик. Захвати побольше. Мы все умрем здесь.

— Еще неизвестно, — покачал головой Рукчи.

Но раньше, чем солнце снова достигло зенита, царя не стало.

— Это самая скорая смерть из всех, — сказал Рукчи. Но маленький Ханис умер еще скорее. Ханнар не отдавала его и носила на руках, укачивая, пела ему песни на своем языке — теперь только Атхафанама могла понимать их. Но Атхафанама сидела возле своего мужа и терпеливо ждала, когда смерть придет и за ней. Она просидела так весь день и всю ночь, иногда слыша медленные шаги и бормотание Ханнар, бродившей по дворцу с мертвым ребенком на руках. Заходил Илик, но не трогал царицу, только посмотрит и уйдет. А утром позвал ее ухаживать за Ханнар. Он справился бы и сам, но царицу нельзя было больше оставлять как есть.

— Отчего так тихо? — очнулась Атхафанама.

— Здесь нет живых, кроме нас и Ханнар.

— Разве больше не приносят больных?

— Некому приносить.

— Разве все умерли?

Илик махнул рукой куда-то вдаль. Атхафанама прислушалась. Где-то раздавалась музыка, пьяные крики.

— Пойдем, царица. Жена твоего брата мучается от жажды. А нам уже некому будет подать воды.

И вдвоем в полном смерти дворце они ухаживали за Ханнар, которая мучилась долго, очень долго, то приходя в себя, то снова погружаясь в горячий тяжкий бред. Она боролась. Перед смертью

она слабо пошевелила рукой, и Атхафанама поняла, сплела с ее пальцами свои и наклонилась к самому ее лицу.

— Я носила дитя, — прошептала Ханнар. — И не знала.

Атхафанама не ощутила ревности и улыбнулась, свободной рукой погладила ее руку.

— Как же ты могла не знать?

— Я другая. У нас не так. А теперь я слышала его. Но он уже умер. Теперь я умру.

— Если успеем, мы похороним вас вместе с Ханисом, — сказала Атхафанама.

Ханнар покачала головой.

— Клянусь тебе, это не он.

И снова ушла в забытье, уже насовсем.

Обоих Ханисов они перенесли в усыпальницу аттанских царей, а Ханнар положили в доме Эртхиа рядом с Рутэ и Дар Ри Джанакиярой и их детьми. Двое умерли, не родившись.

— Это все, — сказала Атхафанама. — Больше от моего брата ничего не осталось. Что ты теперь будешь делать, Илик?

Рукчи пожал плечами.

— Думаю, я должен записать все, что я знаю о хассе. Если она даст мне время. Но на улицах еще есть живые, которым я успею помочь хотя бы глотком воды. Не знаю, царица. Прости мою дерзость, а что собираешься делать ты?

— Я? — Атхафанама вскинула голову. — Я вернусь в Дом Солнца, надену свои украшения и лучшие наряды и буду ждать рядом с царем. Ей не удастся застать меня врасплох. Я должна предстать перед моим мужем в достойном виде. И вот что… послушай… не знаю, какую предложить тебе награду.

— Какие теперь награды, царица? И на что они?

— И нет такой, что была бы достойна твоей службы.

— И жить-то осталось нам…

— Да…

— Я и то удивляюсь, что она медлит.

— Я пошла бы с тобой, но…

— Не надо тебе, царица, там пьяные и… как тебе удалось вырваться?

— Я могу переодеться мужчиной.

— Не надо, царица.

— Только будем ходить вдвоем. Я знаю, где у брата хранится оружие.

— Царица…

— Что?

— Ты хотела нарядиться для встречи с твоим мужем.

— Стыдно мне будет, когда он спросит, как я жила после его

смерти. Я приду к нему с медной чашкой в руках.

О новой беде

Когда пришли черные вести, Атакир Элесчи запасся продовольствием как при осаде и закрыл ворота дома, как только услышал о первом умершем в городе. В доме было не продохнуть от курений, кованые решетки обшили досками, чтобы и ветер не залетал в сад, да вдоль забора установлены были курильницы. Никаких денег не пожалел купец, деньги новые наторгуются, прошла бы беда стороной. Все, что ни советовали врачи в Доме Солнца, все купец Элесчи готов был употребить во спасение остатка своей семьи, милой любимицы, доченьки, отцовой радости, первой невесты Аттана. Запер ее в доме, не велел выходить из девичьего покоя. Со слезными жалобами вымолила бедняжка разрешения поселиться у жены брата: что ж тут худого или опасного, если обе живут взаперти?

Сам купец не наведывался к дочери — мало ли, за домом присмотр нужен, слугам нельзя давать послабления. Потому они и ходят под чужой властью, что сами себе оказались хозяевами нерадивыми или неудачливыми. Без строгого присмотра и наставления дом не держится. И если бы среди слуг обнаружилась болезнь, как объяснил купцу не по возрасту сведущий Илик Рукчи, хозяин мог нечаянно перенести ее во внутренние покои. Зачем же? Девочка была упрятана за многими стенами, как ядрышко орешка, завернутого в шелковый платочек, в шкатулочке, а шкатулочка в ларчике, а ларчик в ларце, а ларец в сундук на запоре.

Атарика подурнела, лицо оплыло, ходила неловко, вразвалку. Нянька испугалась — ведь рано или поздно хозяин увидит, что с дочерью неладно. Такое не скрыть. И что тогда будет няньке за пособничество и сокрытие?

А если сказать хозяину, мол, недосмотрела, обвела вокруг пальца хитрая девчонка, тогда и спрос другой. Мало не будет, но все меньше.

И тогда нянька разорвала одежду, растрепала косы, исцарапала лицо, завыла, как по покойнице, и бросилась в ноги хозяину.

— Что? Что? — задохнулся, схватился за грудь Элесчи. — Атарика? Нет!

Нянька билась на земле, не переставая вопить. Насилу выговорила:

— Лучше бы ей умереть…

— Да говори же, проклятая, что случилось? — ужаснулся хозяин.

— Лучше бы у меня груди отсохли, чем выкормить такой позор моему господину, лучше бы я ее заспала, придавила во сне, лучше бы уронила на каменной лестнице! — теперь уже тише, не для лишних ушей, причитала нянька.

Минуту спустя Атакир Элесчи ворвался в покои невестки. Шуштэ с мужниной сестрой сидели рядышком, перед ними на полу разложены были мотки ниток и лоскуты тонкого хлопка, и они одинаково, стежок за стежком, вышивали пеленальные пояса, и одеты были одинаково, и одинаковы были отрешенные улыбки на их лицах, и одинаковой ношей лежали на коленях, топорща просторные платья, их животы.

Элесчи пошатнулся и припал плечом к косяку. Атарика увидела его и обмерла. Шуштэ встрепенулась, как зверица.

— Ах ты… — только и смог сказать Элесчи. Подошел к дочери и ударил ее по лицу. — Тварь, тварь! Лучше бы в степь тебя отослал бегать за баранами и доить кобыл. Последнему пастуху в жены бы отдал. А теперь — что? Идем. Ну!

Атарика дрожащими пальцами воткнула иглу в работу, свернула поясок, положила на колени Шуштэ. Тяжело поднялась, не глядя ни на кого, вышла из комнаты. Элесчи шагнул за ней. Но Шуштэ, вскочив, забежала вперед, опустилась на колени, обняла ноги его.

— Смилуйтесь над ней, отец, ведь она вам внука родит! Разве мальчик в доме — не радость, не гордость? Ваша ведь кровь!

— Вот и роди мне внука, как тебе положено, а не в свое дело не лезь! Эй, женщины, заберите ее, да осторожнее.

В руках служанок Шуштэ билась и кричала вслед Элесчи:

— Ведь отец ребенка — сам!..

— Не надо! Не говори! — вскинулась Атарика. — Не надо!

— …Сам царь Эртхиа!

— Да? — горько усмехнулся Элесчи. — А почему не сам царь Ханис?

Он ведь был отцом Атарики и единственный не знал того, что было известно всему базару. И он схватил дочь за руку и потащил за собой. В ее покоях он велел заколотить ставни и посадил самых вредных старух на страже возле ее двери. А сам метался по дому, не зная, как обрести покой и откуда ждать спасения. Ведь врача не позовешь — все заняты врачи в Аттане, и слишком близко они нынче знаются со смертью, как бы и она не вошла в дом следом. Да и как избежать огласки? Но не будет, не будет расти в доме Элесчи нагулыш, не бывать такому позору. И не топить же его, как ненужного кутенка? Ай, что делать!

Тогда собрал к себе Элесчи старух и стал их спрашивать, как быть и как избавиться от позора. И они говорили, что теперь уж

не миновать дожидаться, пока родится ребенок. А одна сказала, что можно сделать так, чтобы он родился до срока, мертвым. Перед полной луной три дня пить зелье, которое она знает и умеет приготовить.

— Вот то, что я ждал услышать! — воскликнул Элесчи и велел приготовить зелье и давать несчастной, которую и дочерью-то называть — горечь отцовским устам.

Но Шуштэ узнала об этом.

Ночью, переваливаясь на ступеньках, поддерживая обеими руками огромный, не по сроку, живот, она поднялась к покоям Атарики и стала просить сидевших у двери двух старух.

— Пришел мой час, чую, не пережить мне этого. Приоткройте дверь на минуточку, только попрощаться с моей подруженькой. Ведь одна я здесь, ни родных моих, ни отца, ни матери, ни милых сестриц, ни любимого мужа. Пожалейте, пришел мой смертный час.

— Иди, иди отсюда — не велено! Не ты первая, не ты и последняя. Такие как ты родят на ходу, травой ребенка обтирают и за пазуху суют. Уходи, пока хозяин не услышал. Итак он тобой недоволен, только и терпит, потому что носишь дитя от его сына.

— Ой, не могу больше, — застонала Шуштэ и привалилась к стене. — Ой, вот сейчас, вот уже!

— Не дури! — прикрикнула на нее одна из старух. — Не так это скоро. Ступай к себе, зови женщин.

— Не могу я! — вскрикнула Шуштэ и сползла по стене на пол. Сама она, что ли не знала, что это не скоро делается? Знала, видела. Оттого-то и удалось ей обмануть опытных старух. Одна встала, наклонилась над Шуштэ, а вторая только вперед подалась, шею вытянула. Вот за это бессердечие и ударила ее Шуштэ ногой прямо в лицо — изо всех сил. Старуха стукнулась головой о косяк и повалилась набок. А первую Шуштэ схватила руками за горло и зашипела:

— Не откроешь — придушу, не пожалею. Где ключ?

Старуха замахала руками — у хозяина, мол. Но Шуштэ сдавила сильнее и тряхнула ее. Так и пробилась к Атарике. А старухе рот заткнула ее собственным платком и связала руки поясом.

Атарика к ней кинулась, плача.

— Они сыночка извести хотят!

— Знаю.

— Отец сказал: не выпью — убьет. Силой мне в рот вливали. Шуштэ!

— Знаю, знаю. Погоди.

И достала из-под платья ровно половину своего большого

живота: узел с одеждой и едой и отдельно в платке — пеленанием для младенца.

— Вот тебе на дорогу. Поясок я дошила. Здесь хлеб, чеснок, кислого молока кувшинчик, вода, сыр — сама увидишь. Вот платье, когда родишь, переоденься. Из города уходи. А узор на пояске самый счастливый, помнишь?

— Шуштэ! Я боюсь.

— Что же делать? Иначе не спасешь его.

— Я иду. Я просто боюсь, но я же иду.

— Да, моя хорошая. Это ведь его сын, он должен быть в отца, значит, он тебя в пути охранит и в беде спасет. Я пошла бы с тобой, но я своей дочери теперь служанка и должна сохранить ее для Атарика, а если он не вернется, то чтобы кровь его на земле не иссякла. А ты иди.

— Я иду.

И до заветного места, до тайного хода в сад купеческого дома, которым приходил царь Эртхиа, проводила Шуштэ свою подругу.

— Плохо тебе будет, когда узнает отец, — пожалела ее Атарика.

— Ничего, — отмахнулась Шуштэ. — Я ему не скажу, что у меня дочь, вот он и не посмеет меня тронуть. А там и Атарик вернется. А с ним Эртхиа. Ты тогда объявись, смотри. Я скажу, он тебя искать станет. Но ты и сама, как услышишь, что царь вернулся, иди прямо во дворец, ничего не бойся. Эртхиа, он такой! А сейчас из города уходи, нечего сейчас в городе делать. И в степь не ходи. Иди в горы.

А когда Атарика ушла, Шуштэ легла на землю, прижалась к ней щекой и заплакала:

— Не причини беды мне и моему ребенку! Прости меня, что я так со старшими…

О смерти Атарики Элесчи и ее нерожденного сына

На перекрестках горели костры. По улицам лежали мертвые. Атарика чувствовала, как шевелятся волосы у нее на голове. Приходилось постоянно смотреть под ноги, но, противясь этому, она все же замечала все вокруг. Люди с обмотанными тряпьем лицами длинными крючьями тащили мертвых к волокушам. Воздух был жирен и смраден. Было странно и страшно так, что онемело лицо. Ворота стояли распахнутые, уже не кому было закрыть их на ночь. Атарика вышла.

За городской стеной была ночь, звезды огромные, спелые ждали первого ветра, чтобы осыпаться на землю. Но трели сверчков плелись так густо, что ветру было не шелохнуться. И звезды, покачиваясь от собственной тяжести, удерживались на небесах.

Атарика вздохнула, поправила на плече узел и пошла вперед.

Рассвет застал ее в кустах недалеко от пустынной дороги. Солнце прокатилось над ней, и снова пришла ночь. Звезды опять висели близкие-близкие, и больше с ней не было никого. Снова взошло солнце и увидело ее изодранные о землю руки, клочья вырванной с корнем травы вокруг нее. Ей снова стало больно, но потом это прошло, и для Атарики Элесчи началась совсем другая жизнь.

О пире Дракона

Множество фонарей, обтянутых тонким шелком, покачивались от сквозняка. Блики перетекали по покрытому лаком потолку.

— Госпожа Хон И-тинь, семьсот двадцать третья наложница императора!

Занавеска из голубых стеклянных бус с мелодичным звоном раздвинулась, и на середину зала меленькими шажками выбежала девушка. На ней было платье из тонкого шелка, белое, прозрачное, перехваченное в талии широким поясом. Концы бледно-розового шарфа и длинные рукава текли за ней по ковру. Она остановилась и подняла руки над головой.

Две флейты завели тягучую мелодию. Девушка оставалась неподвижной, только складки, расходившиеся от пояса, заструились вверх и вниз по платью, и немного погодя Эртхиа разглядел, что бедра девушки плавно покачиваются. Постепенно движение захватило все тело, только ступни оставались прижатыми к ковру. Руки волнами заходили над головой, постепенно опускаясь.

Наконец девушка поймала кончиками пальцев края шарфа и рукавов. Медленно поднимая руки, не остановившие ни на миг волнообразного движения, девушка заставила тонкий шелк клубиться прозрачным туманом, заслоняя ее неподвижное лицо. Густо набеленное, оно напоминало маску с пугающе красным ртом и нарисованными выше обычного узкими черными бровями. Брови и рот отчетливо просвечивали сквозь бело-розовые волны шелка.

Вступил большой барабан. Девушка сделала первый шаг. Окутывавшее ее облако поплыло вместе с ней. На цыпочках она пошла по кругу, сначала всего в несколько шагов, вокруг того места, где только что стояла. Круг постепенно расширялся, удары барабана учащались. Танцовщица ускорила шаги, одновременно закружившись вокруг своей оси, так что рукава и шарф летели вокруг ее стана. Под гулкий рокот барабана она описала последний круг по самому краю ковра и исчезла за стеклянным занавесом. Воцарилась тишина.

Эртхиа сглотнул и повернулся к Дэнешу. Тот рассеянным взглядом изучал тени, отбрасываемые высокими ширмами по углам. Эртхиа вздохнул и не сказал ничего.

Гости громкими криками выражали свое восхищение. Хозяин, снисходительно оттопырив губу, умерял их восторги, плавно помавая пухлыми руками. Эртхиа не понимал ни слова из того,

что говорилось вокруг, и не хотел отвлекать Дэнеша от его мыслей.

Тахин сидел по левую руку от Дэнеша, единственный из них троих облаченный в привычные одежды Хайра. За время пути от Журавлиного острова до столицы Ы, неблагозвучно именовавшейся Унбоном, спутники Тахина совершенно освоились с местной одеждой. А куда деваться? Правда, Дэнеш по-прежнему под многослойными шелками носил свое, со всеми шнурками, пазами, кармашками и перевязями. Тахин же оставался в том, во что облачил его огонь.

По дороге У Тхэ, как объяснил Дэнеш, чрезвычайно важный вельможа, проявил к ним немалую учтивость, проводя с ними дни напролет, расспрашивая о землях, из которых они пришли и через которые прошли. Он расспрашивал о городах, стенах вокруг городов, о дорогах и о колодцах вдоль дорог, о пристанях и кораблях, и снова о стенах, о страже на стенах…

— Во времена Ашанана все было иначе, думаю, — тонко улыбнулся Дэнеш.

— Шан Аня, — поправил его вельможа из фамилии У и рассмеялся. — В настоящее время Золотой Дракон не замышляет дальних походов. Но тот, кто служит ему, должен знать все наперед.

И продолжил расспросы, но теперь уже об обычаях тех земель, и нашел много общего между удо и северными соседями Ы. Он даже выказал удивление, что обмен невестами способствовал установлению прочного мира, поведав, что к такому средству прибегали и они не раз, но действовало ненадолго. Стали обсуждать почему, высказали много соображений. Пустились в рассуждения, отличаются ли степнячки там и тут друг от друга и от горожанок, и маленькиечарочки с подогретым вином так и летали в их руках. На другой день, выспавшись, продолжили беседы.

И так день за днем, от острова до пристани в Ла, и от пристани до пристани, и потом пешим путем до самого Унбона, где их отряд у Восточных ворот едва не столкнулся с выездом Дракона: внезапно все, толпившиеся в воротах, кинулись вон, давясь, теснясь по обочинам, мигом освободили проезд — воины У Тхэ, пытавшиеся добиться того же, первыми кинулись с дороги и были так проворны, что никого из них не затоптали. Толпа повалилась на колени; из ворот выскочили двое верхом, и, сравнив их доспехи и богатую сбрую на их конях с сомнительной статью и еще более сомнительной резвостью самих коней, Эртхиа остался при своем мнении о причинах, по которым здешним не удается управиться с кочевниками. Однако же вид у всадников

был самоуверенный донельзя.

За ними из ворот повалили в тучах пыли воины — в доспехах, со знаменами, вооруженные дубинками, копьями, мечами и луками.

Затем появилась колесница, запряженная четверкой лошадей. Сидевшие в ней люди били в гонги и барабаны, дули в трубы, производя шум немалый и весьма неблагозвучный.

За этой колесницей проехала другая, заполненная богато наряженными стариками-евнухами и толстыми карликами.

За ней снова конники, во множестве, вооруженные мечами, копьями и трезубцами.

Люди по обочинам пали ниц, и тут из ворот вылетела третья колесница, украшенная сверху необъятных размеров плоским желтым зонтом. В колеснице сидел заплывший жиром коротышка, закутанный в блестящие шелка, в странном, похожем на стрекозиные крылья уборе на маленькой голове, с седеющей бородкой, скудной, но спускающейся низко на колышущуюся грудь.

За ним снова повалила пешая стража, да все бегом.

Едва парадный выезд скрылся в тучах пыли, воины У Тхэ, не упустив ни мгновения, заняли ворота, и их начальники подбежали доложить, что путь свободен. У Тхэ только рукой махнул, обронив пару жестких, громыхающих, как жесть, слов.

— Что такое? — крикнул Эртхиа Дэнешу, стоявшему близко от вельможи.

— Это и был их Дракон. Он направился в загородный дворец. И нам теперь туда.

— Это там, где десять тысяч девушек?

Госпожа Хон И-тинь вскоре появилась снова, просеменила через весь зал к помосту для музыкантов. Она переоделась в ярко-желтое платье, расшитое алыми цветами. Широкая голубая безрукавка впереди была украшена многочисленными пластинками резной яшмы. Волосы уложены, словно облака, а на щеки спущены тонкие пряди. Следом за ней слуга на вытянутых руках нес объемистый инструмент, приходящийся родственником уту, не слишком близким, впрочем. Другой слуга торопился с лаковым стульчиком.

Девушка уселась на стульчик и тщательно уложила вокруг себя складки платья. Только после этого протянула руки к инструменту. Слуга положил его на колени девушке. Эртхиа приготовился слушать.

Пальцы левой ее руки неторопливо переступали по грифу, а правой она пощипывала струны, извлекая сменяющие друг друга одинокие, неприкаянные звуки. И пела она так же непривычно, но

Эртхиа мог оценить ее умелость. Звуки, издаваемые ее горлом, и звуки, срывавшиеся со струн, бродили, как призраки, проходя один сквозь другой, и не замечая друг друга.

Как-то неожиданно и даже неприятно они попали на этот пир. Эртхиа — как и все — ожидал, что будет торжественно представлен здешнему правителю, но когда они прибыли в загородный дворец, пир, начатый еще в Унбоне, был в разгаре.

У Тхэ, тщательно скрывая досаду, сообщил, что теперь ему придется подождать с докладом до завтра или, может статься, до новой луны. До нее оставалось дней пять, и досада вельможи был столь же острой, сколь и привычной. Невозмутимое лицо было искусно составлено из безразличной улыбки и слегка рассеянного взгляда. Была даже некоторая снисходительность в его голосе по отношению к гостям, которым, конечно, не понять природного величия всех драконовых причуд.

У Тхэ уже намеревался препроводить гостей в Унбон, в свой дом, до более подходящего случая, и вернуться во дворец без них. Но тут обстоятельства изменились.

До этого мимо них то и дело сновали слуги с озабоченными лицами, нагруженные подносами со снедью и сосудами с вином. Но вдруг все переменилось. Эртхиа сказал бы, что все кинулись из дворца кто куда, но не могли уйти совсем, и потому метались, сбиваясь в кучки и рассыпаясь по коридорам и галереям, не рискуя вернуться и не смея бежать. И лица у слуг были теперь не озабоченные, а перепуганные. И кроме них появились откуда-то пышно одетые люди в причудливых и даже смешных уборах на головах, и они тоже суетились, и лица у них тоже были перепуганные, но не так, как у слуг, а сквозь привычную досаду, тщательно скрываемую. Однако опасность была, видно, нешуточной, потому что У Тхэ нахмурился и отступил за столбы деревянной галереи, показав гостям сделать также.

Мимо пробегал молодой слуга. У Тхэ цикнул из-за столба и поманил его рукой. Тот, разглядев, кто его позвал, низко поклонился и почтительно вытянулся перед вельможей. У Тхэ спросил, слуга торопливо отвечал. У Тхэ крякнул, оглянулся на Дэнеша, схватил слугу за ворот и оттащил в сторону. Когда он снова заговорил, слуга удивленно посмотрел на него и даже приоткрыл рот, а Дэнеш прошептал:

— Вот теперь я ничего не понимаю. Другой язык. И, видимо, во дворце на нем не говорят. Видели?

— А что они говорили раньше? — спросил Эртхиа.

— У Дракона внезапно испортилось настроение. Он только что убил четверых, кажется, повара и еще кого-то.

— Сходили в гости! — покачал головой Тахин.

— А кто на этом настаивал? — проворчал Эртхиа.

— Мы с Тахином, — согласился Дэнеш. — А что?

— Разве ты отпустил бы нас — одних! — в такое опасное место? — Тахин улыбнулся.

— Нашли время шутить! — сдавленно рыкнул Эртхиа.

— Другого времени может и не оказаться, — сокрушенно вздохнул Тахин. — Не нравится мне, как рассказывает этот слуга: ни слова не понимаю, конечно, но пыла в его голосе не слышу, страсти не чувствую.

— Обычное дело, — пожал плечами Дэнеш. — Всего-то четверых и убили…

— Оно и видно, — подтвердил Эртхиа. — А что нам скажет У Тхэ?

У Тхэ как раз отпустил слугу и подошел к ним.

— Небеса милостивы к нам. Дракон, скорее всего, сейчас нас примет.

— Так шути скорее, а то не успеешь! — толкнул Эртхиа Тахина в бок и, зашипев, засунул пальцы в рот.

Вот так они и оказались на пиру, и Золотого Дракона очень позабавил рассказ вельможи о том, при каких обстоятельствах он нашел троих своих спутников и кто они такие, если не врут.

— Видим, видим твою преданность! — снисходительно посмеивался Дракон и поблескивал пьяными глазками. — Трое подданных могло быть у нашего брата, и тех ты увез, не оставил ему. Правильно, правильно. Он, обладающий низкой душой, и с тремя подданными затеял бы заговор во вред законному своему повелителю. Если бы не память о покойном отце, мы уничтожили бы его, уничтожили! Уничтожили! И что? — вдруг взгляд Дракона несколько прояснился, — не случилось ли чего по дороге? Ну, чего-нибудь такого? Не бойся признаться, У Второй, мы знаем, что ты наилучшим образом исполнил свой долг, и если с нашим несчастным братом что-то случилось, то уж не по твоей вине. Ты предан, но ты, — снова расплывшись взглядом, ухмыльнулся Дракон, — ты просто тупой вояка и никогда бы не додумался… Ну? Так что случилось с нашим подлым братцем?

У Тхэ, стоявший перед Драконом на коленях, коснулся лбом ковра, выпрямился с очень серьезным лицом и ответил:

— Боюсь, ваш брат умер вскоре после моего отплытия с острова.

— Вот как? Откуда же это может быть известно? Если — после отплытия?

— То, что невозможно узнать, можно предугадать. Я уверен, что ваш брат умер, и скорблю об этом. Но на остров он был мною доставлен в соответствии с высочайшим повелением — в добром

здравии, без происшествий. Ваш ничтожный слуга позволил себе выпить с вашим братом по чарочке на прощанье, в его лице выказав почтение к роду моего правителя. Я уверен, что после этого он почувствовал себя дурно и прожил недолго.

— Да ты умнее, слышишь? Ты умнее, чем мы предполагали, У Второй. Ведь если бы наш брат умер, когда находился под твоим надзором — не сносить бы тебе головы. Ах, как жаль… Наш покойный отец недаром отличал тебя. А почтительный сын должен следовать примеру отца. Мы также станем отличать тебя. Сегодня ты и твои пленники — гости на нашем празднике. А завтра… В общем, завтра все остальное. Ты, конечно, останешься во дворце до тех пор, пока не вернется наш слуга, посланный вслед за тобой. Знаешь, он ожидал в Ла возвращения твоего корабля, чтобы не встретиться с тобой на острове — тогда бы ты все понял, правда? А теперь он вернется и подтвердит твои слова, чтобы мы могли отличить тебя перед нашими слугами. Или не подтвердит. И вот еще что… Нам донесли, что в твоем втором доме есть нечто, что ты утаил от наших слуг, собиравших достопримечательности и драгоценности для украшения нашего нового дворца. Завтра мы пошлем за этим. Ты ведь просто хотел сам преподнести его твоему повелителю, не так ли?

Весь этот разговор пересказал им Дэнеш, когда они оказались за столиком с угощениями, немедлено поставленным для них довольно далеко от Дракона.

— Мой брат Эртхаана был благороднейшим из братьев, — подумав, сказал Эртхиа. — А У Тхэ, как вы думаете, в самом деле отравил того, другого?

— Лицом-то он спокоен, — засомневался Тахин, — но мы уж знаем его лицо.

— С таким лицом, между прочим, и отравить — ничего не стоит, — успокоил его Эртхиа. — Что скажешь, Дэнеш?

— Он испуган. Он не ожидал, что будет проверка. Значит…

И они все разом опустили глаза в расставленные перед ними тарелочки и принялись угощаться.

— А о чем они говорили в конце? Что такое мог утаить У Тхэ?

— Говорили, как о живом человеке, — заметил Дэнеш. — И это единственное, что заставило У Тхэ перемениться в лице.

— Придется уходить отсюда как можно скорее. Гнев Дракона, несомненно, коснется и нас, — подвел итог Эртхиа. Никто ему не возразил.

Но уходить пришлось еще скорее, чем он предполагал. Пока Эртхиа наедался в дорогу и любовался певицей, а Тахин просто сидел задумавшись по своему обыкновению, Дэнеш слушал все долетавшие до него фразы, отдельные слова, обрывки разговоров,

читал по губам сидевших в отдалении. Лицо его было ясным, безмятежным, и когда он сделал знак внимательно его слушать, никто из друзей не ожидал услышать то, что услышал.

— Надо как-то уйти сейчас. Нельзя оставаться до конца пира. Пусть первым выйдет Эртхиа, потом, я скажу когда, — Тахин. И подождете меня на галерее слева. Выберемся через веранду по крыше.

— Подожди, — нахмурился Эртхиа, — почему нам нельзя оставаться до конца? Тот проверяющий приедет ведь не сегодня? Он отстает от нас на день. До завтра можем быть спокойны. А мне здесь даже понравилось.

— Не смотри так на эту женщину, господин мой, — предостерег ашананшеди. — Ее сегодня съедят.

Эртхиа не успел поймать куски пищи, посыпавшиеся у него изо рта. Отряхнув с расшитого шелка лапшу, он возмущенно уставился на Дэнеша.

— Ты шутишь!

— Нет. Таков обычай здешнего правителя: пригласить на пир одну из наложниц, чтобы развлекала гостей пением и танцами, а в конце подать ее на закуску. Голова будет подана отдельно с красивой прической. Я сам сомневался, но гости только и говорят о том, что эта госпожа намного превосходит тех, кого подавали прежде.

Эртхиа прижал ладони ко рту и вылетел из зала, благо они сидели недалеко от выхода.

— Скажи, что ты все-таки пошутил, — попросил Тахин.

— Нет. Нет. Я могу сейчас переспросить У Тхэ, если хочешь, но мне и так ясно, я не сомневаюсь. Посмотри на женщину. Ее лицо замазано краской, но посмотри на руки. Они желты и прозрачны и дрожат, когда она не играет. Как Эртхиа мог не заметить этого?

— До того ли ему?

— Теперь ты иди, Тахин. Я скоро.

О бегстве

Из-за поворота коридора раздалось жалобное бренчанье. Они замерли, прижавшись к стене. Дэнеш сделал знак, чтобы оставались на месте, а сам двинулся вперед, и темнота по-матерински льнула к нему. Выглянув за угол, он увидел маленькую девушку, ту, что пела сегодня. Пугливо озираясь, она семенила вдоль стены, не решаясь даже выйти на середину коридора и бежать бегом — а именно это желание читалось на ее лице, ярко-белым пятном выделявшемся в темноте. Растопырив пальцы, она прижимала на груди и на животе яшмовые бляшки, которыми была обшита ее безрукавка, но тщетно — они испуганно вздрагивали вместе с ней, позвякивая друг о друга. Дэнеш дождался, когда она поравняется с ним, и быстро зажал ей рот одной рукой, другой обхватив за талию. И тут же со своей добычей вернулся к спутникам. Девушка повисла у него в руках. Она и не попыталась вырываться или звать на помощь.

— Тинь! — узнал ее и Эртхиа. Тахин удивился, что тот запомнил ее имя. Однако не время было выказывать удивление, и он затеплил на ладони огонек, освещая путь наружу — себе, Эртхиа, подхватившему на руки Хон И-Тинь, и Дэнешу, прикрывавшему их отход.

— Думаешь, ей с нами по пути? — через плечо осведомился Тахин.

— Пока — да, — отрезал Эртхиа.

— А я и не спорю…

Они почти выбрались из дворца, когда навстречу им из-за поворота выскочил молоденький слуга. В растопыренных руках он тащил заставленный поднос. Слуга застыл, только глаза перебегали с Тахина на Эртхиа, с Эртхиа на девушку у него на руках, на Дэнеша, опять на девушку, снова на Дэнеша. Тут Эртхиа показалось, что поднос на целое мгновение остался висеть в воздухе безо всякой поддержки, а слуга отпрянул за угол, в стену вонзились несколько лезвий, поднос с грохотом рухнул на пол, за углом раздался крик и поспешный топот.

— Теперь не стоит терять на него время. Туда! — Дэнеш махнул рукой.

Но пробежали они недалеко: на пересечении коридоров путь им преградила дворцовая стража, и выглядела она еще более внушительно, чем воины под командованием У Тхэ.

Повернули обратно — не тут-то было.

Направо, налево — то же самое. Со всех сторон сбегались закованные в латы стражники.

— Придется принимать бой, — сказал Тахин.

— Но мы без оружия! — в отчаянье воскликнул Эртхиа, подбрасывая бесчувственную наложницу на плечо.

— Сейчас-сейчас, — успокоил его Дэнеш, и лезвия дружной стайкой сорвались с его пальцев.

— Мы же в гостях! — простонал Эртхиа.

— У людоеда, — напомнил Тахин. — И ты пытаешься украсть его ужин.

Убитых сразу оказалось много. Остальные стражники отпрянули, и под прикрытием дэнешевых лезвий Тахин собрал оружие с мертвых. Эртхиа перебросил свою добычу на левое плечо и примерил в руке доставшийся ему меч с чуть изогнутым лезвием и длинной рукоятью. Двуручный? Легковат. Сюда бы Ханиса, он двуручником играет как перышком. Ну да ладно. Что ж он кривой-то такой? Кривые сабли любят удо, Эртхиа научился у них. Но этот меч был ни то ни се, а выбора не было. И положить девушку под стеной, как он придумал, нельзя — ведь придется прорываться, некогда будет подобрать. Он и не заметил, как быстро это все подумал, а уж дальше думать было некогда. Они очень хорошо сделали, что сразу сходу проскочили перекресток, и теперь противники были у них только впереди и сзади, а не со всех четырех сторон. Дэнеш прокладывал дорогу, Тахин прикрывал со спины, оба подобрав более менее пары из добытых мечей. Эртхиа, связанный своей ношей, не мог им помочь.

Оказалось, они ошиблись, выбирая путь, и пришлось отступать, отбиваясь, обратно через весь дворец. Противникам то и дело подходило подкрепление. Все коридоры во дворце были полны стражи. Порой приходилось сворачивать совсем не в тот коридор, куда надо. Похоже было, что они заблудились и что их загоняют куда-то, откуда им не выйти.

— Да брось ты ее, — рычал Дэнеш. Эртхиа не отвечал. Девушка была легкая, что там кушать? Почувствовав странный жар позади себя, Эртхиа оглянулся и ахнул: плащ метался за спиной Тахина, вздуваемый сильным сквозняком, облизывал лаковые стены, от него отрывались огненные лоскуты, тут и там падая на звонкий дощатый пол. Волосы ан-Аравана разметались и стали больше, рвались хищными языками в стороны. Клинки в его руках светились уже белым. Такова была его страсть в бою.

Эртхиа окликнул его.

— Вижу! — не оборачиваясь бросил Тахин. Вокруг него стены уже занимались, синеватые огоньки разбегались по лаку. — Надо скорее уходить отсюда.

Но скоро уйти не удалось, огонь оказался скорее, ток воздуха в сквозных коридорах оказался проворнее. Противники оставили

их, разбежались. Но теперь никто из друзей не представлял, в какой части дворца они находятся и куда им двигаться, чтобы скорее выйти на волю. А было уже дымно, дышать трудно, и резало глаза.

— Сюда, — позвал Дэнеш, распахнув высокую дверь и увидев за ней большую темную комнату. Окна ее выходили на внешнюю галерею.

Огонь еще не добрался сюда, но дымом уже тянуло. Стены потрескивали, прогорая. При свете пламени, языками лизавшего воздух комнате, будто пробуя на вкус, Эртхиа увидел: вдоль стен, на многочисленных полках, лежали грудами скрученные вокруг деревянных резных, лакированных, инкрустированных осей сотни и тысячи свитков. У многих бумага уже покрывалась коричневым загаром и коробилась, горячий воздух шевелил красные ярлычки на шнурах и шелковые кисти, украшавшие их.

Эртхиа уронил женщину на пол. Постоял мгновение-другое, сжимая и разжимая кулаки. Глаза его метались от двери на галерею к полкам и обратно.

— Дэнеш! — и повелительно и жалобно вместе выкрикнул он и кинулся к полкам. Целыми охапками он носил книги на галерею и кидал их, стараясь отбросить подальше от стен дворца, понимая, что они все же обречены, но не имея сил отказаться от безнадежной попытки.

Дэнеш свирепо глянул на Эртхиа, несколько сиплых звуков вырвалось из его горла, и Дэнеш кинулся помогать.

— Но недолго, слышишь ты, безумный аттанский царь! Мы сами здесь сгорим, ты это знаешь?

— Дэнеш, — кашляя хрипел Эртхиа, — но как я взгляну в глаза ему!

И Дэнеш молча таскал свитки.

В дверях показался Тахин — с искаженным лицом, безумными глазами.

— Вам больше нельзя. Уходите! — он упирался расставленными руками в косяк, выгибаясь, как бы не пуская кого-то, ломившегося из-за спины, а за спиной бушевал огонь. — Эртхиа, дарна!

Дэнеш схватил Эртхиа за локоть.

— Все, все! Уходим! — ему пришлось несколько раз встряхнуть Эртхиа, рвавшегося к полкам. Тот сразу поник, стоял, тяжело водя боками, как запаленный конь. — Ну же!

— Да, сейчас, — кивнул Эртхиа, просовывая за пояс клинок. Развернул и рванул вверх. Пояс упал у него за спиной, Эртхиа сорвал верхний халат, широко раскинул его на полу. С десяток свитков, наугад, он схватил с ближайшей полки и бросил на

халат, обернулся, схватил еще — обеими руками. Дэнеш присел, поровнее уложил свитки, увязал узел и вскинул на плечо. Эртхиа подхватил наложницу и бросился на галерею. Там Дэнеш сбросил вниз узел с книгами, размотал свой пояс и привязал его к перилам прочным узлом.

— Кинешь ее мне, — и уже его голова исчезла за перилами.

— А ты? — обернулся Эртхиа. Тахин покачал головой. Лицо его теперь было ясным, только глаза нехорошо горели.

— Я догоню вас. Потом.

И засмеялся.

И бросился в пламя.

— Эй, ну где ты? — позвал снизу Дэнеш. Эртхиа перегнулся через перила с девушкой в руках, примерился и отпустил ее как раз в протянутые руки ашананшеди.

В дальнем уголке дворцового сада, у пруда, обсаженного ивами, Тахин нашел их. Дэнеш и Эртхиа, мокрые насквозь, лежали на траве, девушка чуть поодаль. Пошатываясь, Тахин подошел и присел на корточки рядом футляром, в котором скрывалась В сердце роза. Вокруг Тахина еще светился рыжеватый ореол.

— Надо решить, что мы предпримем теперь, — не открывая глаз сказал Дэнеш.

— А меня беспокоит, что господин У Тхэ из-за нас попадет в немилость, — повернувшись, Эртхиа оперся на локоть и посмотрел на Тахина не то чтобы с укором, а с опасливым изумлением.

— Брось, — помотал головой по траве Дэнеш. — У Тхэ и без нас попадет в немилость. Если он вообще был в милости. Надо уходить отсюда.

— Куда пойдем?

— Некуда нам идти. Надо разведать дорогу и пробираться в степь. А вам с вашими лицами лучше не показываться в городе. Найдем место в лесу, где вы сможете меня дожидаться. Я узнаю все что нужно, куплю еды, лошадей, крепкие плащи и какую-нибудь одежду — удобней этой.

— А деньги?

— Да кстати и денег достану.

— Красть? — поморщился Эртхиа.

Дэнеш пожал плечами. Эртхиа вздохнул: и негоже, а что делать?

— Что ж, надо идти. Какое было бы облегчение, если бы она очнулась. Неудобно носить на руках незнакомую девушку.

— Оставь ее здесь, — посоветовал Тахин. — Она теперь не очнется и не поднимет шума, пока мы не будем в безопасности.

— Нет, — сказал Эртхиа, — я хочу взять ее с собой.

— Зачем? — улыбнулся Тахин.

— Зачем? — нахмурился Дэнеш.

Эртхиа угрюмо кивнул, отметая все возражения:

— Подарю ее Акамие.

И вот тут Тахин впервые в жизни увидел, как выглядит растерявшийся ашананшеди.

— Зачем? — повторил Дэнеш, но не так решительно.

Эртхиа уставился на него.

— Ну как же! А книги? — похлопал он по объемистому узлу. — Она ведь, конечно, обучена грамоте. А кто еще прочитает их моему брату?

Дэнеш ничего не сказал.

О неожиданных встречах

Они искали, где стена пониже, а нашли калитку. Дэнеш в два счета разобрался с замком, но распахнуть не торопился: прислушивался. Потом осторожно приоткрыл, высунул голову. Перед ним было поле, недалеко виднелась роща. По обе стороны калитки к стене подступали заросли дикой сливы. Было тихо. Весь шум доносился сзади, от горящего дворца. А здесь было тихо. Но невозможно было стряхнуть ощущение чьего-то присутствия. Только и успокаивало, что оно не было враждебным, даже напротив…

Дэнеш вышел за стену. Никого.

Никого? Странно…

— Я полагаю, твои друзья с тобой?

Дэнеш развернулся на голос, уже узнав его, и лезвия сверкнули в его пальцах и остались в них. Прислонившись к стене, небрежно обмахиваясь черным пальмовым веером, стоял господин У Тхэ.

— Передай мое восхищение твоему учителю, — поклонился он Дэнешу, складывая веер. — Так где же твои друзья?

Тут из калитки решительно вышел Тахин, а за ним, с девушкой на плече, Эртхиа.

— Чего он хочет? — спросил последний, хватаясь за рукоять меча.

— Сейчас узнаю.

Господин У Тхэ хотел немногого: удостоиться чести называть избавителей Ы своими гостями, предоставить им стол и кров до прибытия истинного Дракона, который не преминет вознаградить их.

— Избавителей? — прищурил глаза Дэнеш.

— Скорблю безмерно, — с бесстрастным лицом заверил господин У Тхэ. — Великий Дракон угорел от дыма. Насмерть. Стража и телохранители подвергнутся казни. А я, недостойный слуга, еще не успел приступить к своим обязанностям. Ныне спешно отправляю гонцов за старшим братом умершего.

— Значит, убегать не надо, — понял Эртхиа. — А что он скажет насчет девушки?

— Девушка является дворцовым имуществом и подлежит возвращению, лучше немедленному.

— Что с ней будет дальше?

— Вероятно и скорее всего она будет подвергнута наказанию за слишком близкое знакомство с посторонними мужчинами.

— Какому наказанию? — Эртхиа сощурил глаза. Если на то

пошло, в Хайре было только одно наказание, подходящее для такого случая — и Эртхиа не ошибался. Господин У Тхэ посмотрел ему в глаза и медленно, чтобы быть понятным, провел рукой по горлу.

— Значит, надо объявить, что она погибла при пожаре, — решил Эртхиа. Дэнеш покосился на него и ничего не сказал. — Переведи! — потребовал Эртхиа.

— Стоит ли? — вмешался Тахин.

— Переведи! — Эртхиа твердо дал понять, что не слышит его.

Господин У Тхэ невозмутимо ждал окончания их препирательств. Дэнеш наконец перевел ему предложение Эртхиа.

— Ни в коем случае, — сказал У Тхэ. — Это решительно невозможно.

— Тогда, — сказал Эртхиа, — мы обойдемся без его гостеприимства.

И зашагал в направлении рощи.

Тахин пожал плечами и пошел следом.

— Как огорчительна поспешность суждений и решений, присущая молодым, — неторопливо сообщил У Тхэ Дэнешу, и Дэнеш согласился. Тогда господин У Тхэ сказал еще:

— Конечно, я не смогу в таком случае принять вас в своем доме. Но с другой стороны, если подумать, это в любом случае невозможно. Было бы нескромно принимать гостей в доме, где живут женщины, если гости — не родственники.

— Да, конечно, — подтвердил Дэнеш. — Нескромно и неловко.

— Но есть другой дом, где вам, несомненно, будет гораздо удобнее. Мой человек встретит вас у Западных ворот перед заходом солнца. Мы договорились?

— Совершенно, — с поклоном ответил Дэнеш и поспешил вдогонку за друзьями.

Перед заходом солнца в Западные ворота вошел караван. Мохнатые степные верблюды о двух сбитых набок горбах втягивались в ворота один за другим, ступая неторопливо, основательно, как проделали и весь путь откуда-то с другого края мира. Вожатые шли рядом с тем же сосредоточенным видом, той же увесистой походкой. Эртхиа повертел головой, провожая взглядом караван, глаза его разгорелись, и вдруг он как хлопнет Дэнеша по спине.

— Вижу, — буркнул Дэнеш.

— Что такое? — удивился Тахин.

— Да вот — из Аттана они! — Эртхиа выступил вперед и радостно заорал по-аттански. Караванщики как один повернули к

нему головы, но продолжали идти каждый рядом со своим животным. На их лицах сквозь пыль и усталость проступило беспокойство.

— Я же говорил! — в полном восторге заявил Эртхиа. — Еще когда чашечки эти с гадами кривоногими увидел.

— Да ничего ты не говорил, — недоумевал Тахин.

— Ну, сомневался, — не смутился Эртхиа, — вот и не говорил. А сразу понял. Видел я такие чашечки в Аттане на базаре.

И Эртхиа кинулся догонять караван.

— Узнаете меня, почтенные?

Первый же караванщик, к которому он обратился, ошалев, выпустил повод и кинулся прямо в пыль к его ногам. Недаром царь был частым гостем на аттанском базаре. Поднялась суматоха, один за другим караванщики сбегались в конец каравана, и только главный невозмутимо шел впереди, зная, что ни в коем случае движение не может быть нарушено, пока последний верблюд не войдет в ворота просторного хана недалеко от городского базара.

— Немедленно прекратите! — закричал Эртхиа. — Еще не хватало! Не дома. Вы навредите мне, — и сам кинулся поднимать караванщиков с земли. Дэнеш подоспел ему на помощь.

Улица на какое-то время оказалась запружена, паланкины и повозки образовали затор. На шум прибежал отряд городской стражи, немедленно пустивший в ход бамбуковые дубинки. Начальник отряда едва успел прокричать Эртхиа и купцам, что они подвергнуты задержанию и должны быть препровождены для разбирательства на судебное подворье, как вдруг рядом с ним выросла невзрачная фигура в неприметном темном халате и маленькой шапочке на голове.

— Оставь их, — внятно произнес посторонний.

Начальник грозно нахмурился, надул щеки и встопорщил редкие усы, готовясь дать отповедь наглецу, но пришелец ловко извлек из рукава и ткнул почти в самое лицо ему красную бирку с золотой каймой. Начальник тут же вытянулся и прокричал команду. Его подчиненные опустили дубинки.

— Начальник стражи квартала Пробудившегося Тигра почтительно докладывает, что произошло нарушение движения на столичных улицах, за что полагается…

— Заткнись, — на ходу бросил ему незнакомец и подошел к Дэнешу, с недовольным видом потиравшему кисть правой руки. — Господин У Тхэ просит господина Дэн-ши и его спутников оказать ему честь своим посещением.

Дэнеш кивнул и обернулся к Эртхиа:

— Договорись с купцами, где ты их найдешь.

— На базаре, конечно, — виновато поморщился Эртхиа. Ему не досталось ни одного удара бамбуковой дубинки.

— Мы остановимся в самом большом хане, два квартала отсюда. Это прямо по улице и у самого базара направо. Любой тебе укажет, повелитель, — объяснил один из караванщиков, и другие, кто еще не разошелся к своим верблюдам, закивали. Все с восторгом и трепетом глядели на своего царя, неведомо как оказавшегося у ворот города, расположенного на другом конце мира от Аттана. А что царь звания своего здешним не выдает, так мало ли, какие дела бывают! Кому и знать, как не купцам.

О бумажном домике

Тахин с Дэнешем целыми днями топтались на площадке за домом — привыкали к новым клинкам. Эртхиа тоже, конечно, покромсал воздух для обвычки, но эти двое, когда речь заходила об оружии, становились невменяемы. Эртхиа кричал им с террасы, хорошо, мол, что воздуха много, а то изрубили бы весь — и дышать стало бы нечем. Но за звоном они его не слышали.

Дом казался пустым, хотя кроме них и госпожи Хон в нем жили еще двое: тихая улыбчивая хозяйка и мальчик-слуга.

Вот они появились на пороге комнаты, отделенной от веранды двумя легкими ширмами с изображением заснеженных веток сосны.

Хозяйка была почти на голову выше И-тинь, но так же легка на ногу и движениями текуча. Эртхиа стеснялся разглядывать ее, угадав особую связь между нею и господином У Тхэ. Даже Дэнеша не стал переспрашивать: и так все было видно из ее приветливого послушания и его невозмутимого превосходства. Стесняться стеснялся, но красоту не увидеть трудно. И он тихонько, вполглаза любовался красавицей, когда она прислуживала им за трапезой, или вместе с И-тинь развлекала песнями и игрой на пиба, или когда в саду выбирала цветы, которыми потом украшала дом, собственноручно расставляя по комнатам задумчивые букеты. Мальчик следовал тогда за нею, внимательно смотрел, внимательно слушал.

Эртхиа, скосив глаза, наблюдал из-за края ширмы, как она маленькими шажками пересекает комнату, опускается на колени, выбирает цветок из пучка в руках слуги, то ли ученика, как легко движутся невесомые пальцы, как вытягивается ее шея из трех лесенкой торчащих воротников, набеленная, как и лицо, густо-густо. Густыми облаками клубились волосы, пронизанные, как молниями, длинными шпильками, но молниями ласковыми, безгромными. И, в точности как у Хон И-тинь, лицо было забелено все, только на верхней губе лепестком алело пятнышко краски, и нарисованные брови чернели узкими листочками. Лица не было, было прекрасное в своей неизменности изображение, знак прекрасного лица. И все оживлялось тихими, певучими движениями, робкой прелестью жестов и колокольчиковым голосом.

Заметив Эртхиа, она что-то сказала слуге. Тот осторожно положил цветы на колени хозяйке и торопливо вышел.

Эртхиа подумал, что такой голос не может быть от природы. Или в горло надо вставить серебряную трубочку с маленькими

бубенчиками внутри, или долгие годы учиться такому звуку. У Хон И-тинь тоже был такой голос и в точности такие же интонации.

Тут Эртхиа запнулся в мыслях. Хозяйка (хозяйка ли, если так заметна здесь власть У Тхэ?) и маленькая Хон были очень схожи, очень. Но, положа руку на сердце, Эртхиа не мог не признавать, что маленькой Хон далеко до хозяйки. И маленькая Хон нравилась ему больше.

А все же ей было далеко… Взять хоть голос. У И-тинь бубенчики были серебряные, а у хозяйки — хрустальные. И когда они садились играть на своих широких, глубоко-округлых, с длинными колками пиба, пальцы хозяйки крепче зажимали лады, и звук выходил чище и сильнее. От игры и пения И-тинь хотелось порой и плакать. А когда пела хозяйка, тоненькое и печальное в душе не откликалось, но тихий трепет происходил в душе и ознобный восторг.

Так и во всем. Красота нарисованного лица хозяйки была совершенна. А у И-тинь — милее. И все тут. Эртхиа глаз бы с нее не сводил. Но ее поселили в дальней комнате, и она выходила только вечером и только вместе с хозяйкой. Эртхиа не хотел или не смел нарушать порядок в этом доме, где стены так тонки под блестящим лаком, так хрупки все вещи, так печальны цветы. Еще ему казалось, что, нагрянь буря, в этом доме, где только бумагой прикрыты окна, ничто не стронется со своих мест, и не шелохнутся красивые рисунки, развешанные по стенам, и не нарушится прихотливая стройность букетов, и не поведет бровью хозяйка и не уронит ни одной шпильки, ни одной пряди из прически-облака. Такой порядок, и правда, он не смел нарушить.

Мальчик принес накрытый столик, поставил перед Эртхиа. Хозяйка сама вышла на веранду, опустилась у столика на колени, наполнила чарочку, подала Эртхиа. Сказала что-то. Эртхиа улыбнулся, принял легонькую скорлупку, в полглотка осушил. Она налила еще. Эртхиа покачал головой, но она, с поклоном и ласковой улыбкой, снова протянула ему чарочку.

Эртхиа только сейчас услышал, что звон и лязг за домом прекратились. Наклонившись над перильцами, он увидел Дэнеша, а потом и Тахина, выходящих из-за угла. Разгоряченные, веселые, они обменивались смешками и задорными взглядами, довольные новым оружием и друг другом и самими собой.

— Идите, выпейте, — позвал их Эртхиа.

— Идем-идем, — усмехнулся Тахин. — Я бы и в самом деле выпил.

Они поднялись на веранду. Хозяйка вспорхнула, шелестя одеждами, спросила о чем-то Дэнеша, Дэнеш кивнул, она

поклонилась и вышла. Эртхиа не удержался, проводил ее восхищенным взглядом, сказал друзьям, усаживавшимся к столику:

— Какая же красавица!

Друзья переглянулись — и расхохотались. Тахин колотил себя кулаком по колену, а Дэнеш даже провел рукой по глазам.

— Что это вы? — обиделся Эртхиа. — Разве нет? Красавица ведь…

— Да уж, — всхлипнул Тахин.

— Невесту себе присмотрел? — в восторге поинтересовался Дэнеш.

— Да ну вас! Уже нельзя человеку полюбоваться на девушку.

— Какая же это девушка? Это вовсе и не девушка. Это нашего вельможи любимец и зовут его господин Сю-юн.

Эртхиа поставил на столик невыпитую чарочку. Посмотрел на Дэнеша — не шутит ли? Посмотрел на Тахина. И покраснел до ушей. Насупился. Сказал с жестокой обидой в голосе:

— Что же ты Тахину сказал, а мне — нет?

— Что же тут говорить? — вступился за Дэнеша Тахин. — И так все видно. Ты на руки его посмотри. Ты видел его руки? Совсем другие.

— Уж куда мне! — вспылил Эртхиа. — Это ведь ты любитель таких…

Тахин посмотрел на него молча. Потом улыбнулся пренебрежительно.

— Таких никогда не любил. И в доме не держал.

— Таких! Что ты о таких знаешь? — оскорбился уже Эртхиа. — Ты бы видел Акамие… Из-за него-то все царство вверх дном и перевернулось, как пустой котел.

Тахин пожал плечами.

— Это у нас в Хайре сколько угодно. Не люблю, однако, рабов изнеженных, пустоголовых, кукол наряженных…

— Пустоголовых? Изнеженных? — обрадовался Эртхиа возможности поспорить о таком, в чем он окажется прав. — Да он все книги прочел на свете и все науки превзошел: и врачевание, и по звездам… Он и верхом, и из лука…

— Начнет говорить — не остановишь! — подосадовал Дэнеш.

— Ты что, — поддел Тахин, — сватаешь мне его?

Эртхиа хлопнул себя по коленям.

— С вами говорить! И ты, Дэнеш, тоже…

— И я, Дэнеш, — согласился ашананшеди. И попросил сумрачно: — Не надо.

— Ладно, — опомнился Эртхиа. Но упрямо закончил: — Только последнее скажу. Ты, ан-Араван, слышал, что в Хайре

теперь правит Акамие ан-Эртхабадр?

— Не царское имя…

— Так вот это и есть брат мой Акамие, и имя у него самое что ни на есть царское. И понял я сейчас, почему не надо дарить ему эту девушку Хон. Он будет унижен, если женщина станет учить его книжной премудрости. Но вспомни, Дэнеш, как дружен он был с Айели, и ты поймешь, как надлежит нам поступить. И в самом деле, у него теперь советников достаточно, но с кем из них он сможет поговорить об узоре на ткани, о свойствах той или иной краски, о благовониях и притираниях, о танцах и пении? А брат мой знает толк в таких вещах и они ему приятны.

Дэнеш кивнул.

— А если приятны ему, значит нам, его друзьям, должно обо всем этом позаботиться. Какие вещи понимаешь слишком поздно! Это оттого, что я всегда забывал о различиях между моим братом и мной. А он уж таков, что поделаешь, — Эртхиа покосился на Дэнеша, но тот с непроницаемым видом разглядывал резные перила. Тогда, с вызовом глянув на Тахина, Эртхиа продолжил:

— Да, он таков, но это не его вина, и для меня среди всех, населяющих эту сторону мира, нет никого дороже моего брата. И я думаю: каково ему там, одному, без друзей? Ведь не с евнухами же он станет говорить о том, что приятно его душе. И не пошлет ведь он слуг на базар, чтобы купили ему друга… Поэтому лучше подарить ему такого как этот. Он искусен и в пении, и в танцах, и в этом их сумасшедшем письме. А пока караван дойдет отсюда до Хайра, он выучит наш язык, купцы его научат. И сможет перевести для Акамие все эти книги!

— Ты прав, — согласился Дэнеш. — Это лучше, и намного. Но как найти такого — не обузу, а друга?

— Вот и надо попросить У Тхэ. Я уверен, что он лучше любого прочего разбирается в таких делах. Этот, что живет у него, очень напоминает совершенство.

— Это правда, — снова кивнул Дэнеш. — Его-то и требовал к себе этот их Дракон, помнишь, тогда, на пиру? Должно быть, он из лучших. Но как ты обратишься к У Тхэ с такой просьбой?

— Зачем я? Я все равно ни слова по-здешнему не скажу! Ты и обратишься.

— Я — нет.

— Ну тогда… Тахин! Тахин, тебе У Тхэ ни в чем не откажет. Попроси его.

— Но ведь я тоже не знаю здешнего языка.

— А Дэнеш переведет.

— С чего бы это он согласился? — удивился Тахин.

— А он тебе тоже ни в чем не откажет.

Тахин и вспыхнул бы, и зарделся бы, как девушка, от таких слов, но они сидели на террасе из сосновых досок, между резных перил, покрытых лаком, и ему пришлось обойтись принужденным смешком.

— Думай, что говоришь…

И тогда вспыхнул и зарделся Эртхиа.

Выручил его господин Сю-юн, появившийся на веранде в сопровождении слуги. Они несли столики, уставленные закусками.

Эртхиа посмотрел на руки Сю-юна. Тахин наблюдал за ним.

— Ну что, прав и доволен? — огрызнулся Эртхиа.

— Посмотри-ка, Дэнеш, — благодушно заметил Тахин, — как ловко царь аттанский все устроил так, чтобы девушка ему осталась?

— Как и задумал, — поуважал Дэнеш.

— Ничего подобного! — возмутился Эртхиа. — Да я только сейчас! Я и не думал о ней!

Дэнеш сделал движение локтем, как будто толкает Тахина, и они опять залились хохотом. Господин Сю-юн, поглядывая на них, с вежливой улыбкой наливал в чарочки светлое вино.

— Хватит, — вдруг посерьезнев, сказал Дэнеш. — Не годится так. Он может подумать, что мы смеемся над ним.

И что-то сказал по-своему, уважительно поклонившись. Сю-юн ему ответил с поклоном и всегдашней невозмутимой улыбкой.

— Не верю, — заявил Эртхиа. — Это же какая выучка должна быть. Не верю.

— Ты сам только что вспомнил Акамие, — сказал Дэнеш. — У него — не выучка? Разве люди так ходят или говорят?

— У него все по-другому, не так, как у этого.

— Но выучка… А я вот попросил господина Сю-юна вечером поиграть нам. И с госпожой Хон. Так что увидишь свою ненаглядную. Смотри, сравнивай.

— Я уже понял, — признался Эртхиа. — Я давно видел, только не понимал. Она — живая, сама по себе такая. А у него все нарочно. Лучше, чем настоящее. Что же с ним сделали такое?

— Ты не поймешь.

— И правда, не пойму. Брат Акамие всегда мечтал о воле, но как его стерегли! А этот здесь свободен, значит сам не уходит? Не понимаю.

— Я же говорю.

О звуках и ладах

Вечером зажгли курительные палочки, развесили на крючках фонари. Шурша прохладным шелком, семеня друг за другом, вошли Сю-юн и И-тинь с пиба в руках. Мальчик-слуга подвинул им скамеечки.

Некоторое время они играли в два пиба, то сплетая, то расплетая мелодию на пряди и заново складывая ее наподобие своих сложных причесок. Потом И-тинь спела длинную, очень грустную песню, и Эртхиа показалось, что глаза ее блестят как-то по-особенному, когда она коротко, будто нечаянно, взглядывает на него.

Сю-юн заговорил. Дэнеш повторил за ним:

— Может быть, дорогие гости хотят услышать какую-нибудь мелодию? Пусть только назовут.

Тахин переглянулся с Эртхиа.

— Мы ведь не знаем здешних мелодий. Скажи.

В ответ Сю-юн засмеялся.

— Конечно, вы никогда не читали руководство «Игра на пиба». Но назовите любую тему. Мы подберем мелодию.

— Как было бы интересно! — воскликнул Тахин. И они с Эртхиа заспорили, какую тему предложить. Дэнеш рассудил:

— Музыкантов двое, предложите две темы.

По старшинству, первым выбирал Тахин. Он назвал такую тему: буря выбросила мореплавателей на скалистый остров. Выслушав перевод, Сю-юн опустил глаза, выстроил было пальцы на грифе, потянулся правой рукой к струнам.

— Нет, — неожиданно покачал он головой. — Я могу сыграть это на пиба, но если уважаемый гость хочет, чтобы мелодия прозвучала по-настоящему, нужен другой инструмент. Он есть у меня, и если вы соблаговолите подождать, мы сейчас его принесем.

— Потом! — воскликнул Эртхиа. — Теперь пусть сыграет госпожа Хон. Моя тема проста: свидание.

Как только Дэнеш перевел это, И-тинь подняла блестящие глаза на Эртхиа и, встретившись с ним взглядом, потупилась. Ее пальчики тут же уверенно заплясали по грифу, и Эртхиа услышал и даже увидел ручеек, бежавший через сад, в том месте, где он был перегорожен крохотной плотинкой. В ней были проделаны отверстия, и струйки с нежным журчанием стекали по красиво сложенным камням. Их звон повторял пиба в руках И-тинь. А потом он услышал приглушенные трели сверчка, и на фоне их, как маленькие искорки, тонкие раздельные звуки обозначили

вспыхивающие среди ветвей огоньки светляков.

И медленная, полная томления мелодия вдруг сложилась из этих отдельных звуков и потекла, все время неуловимо изменяясь, так что продолжение вовсе не было похоже на начало, но никто не уследил, как это случилось.

И когда И-тинь перестала играть, Эртхиа казалось, что мелодия все еще в нем, не прерываясь, только так же неприметно и непредсказуемо изменяясь.

— Скажи ей что-нибудь, Дэнеш, — попросил Эртхиа. — Я не знаю, как ее похвалить, чтобы это было прилично. Скажи ей, я восхищен, — и прижал ладони к сердцу.

И-тинь слушала Дэнеша с потупленными глазами, смущенной улыбкой. В ответ защебетала сама.

— Она хотела бы услышать твою игру, — перевел Дэнеш.

— На этом? — растерялся Эртхиа.

— Зачем? На дарне.

Эртхиа согласился, но тут вмешался Тахин.

— Сначала моя тема! Пусть сыграет господин Сю-юн.

Тогда принесли плоский гулкий ящик с натянутыми струнами из алого шелка, на коротеньких резных ножках. Мальчик убрал скамеечку и Сю-юн опустился на пол, на пальцы надел серебряные колпачки с коготками. Плавным движением он вознес руки над рядами струн, задержал их так на долгое мгновение — и бросил вниз. Точно от обвала горы взлетела волна звуков. Застонало, задрожало, загремело, взволновалось беспорядочно, постепенно обретая размеренность накатывающихся на берег волн, в несколько ударов разбилось, мелодия рассыпалась на удивленные и восторженные возгласы, растерянность и радость проступили явственно, встали из тумана отброшенные ветром кроны сосен, поднялись крутые склоны, поросшие гудящим от ветра лесом, загремели водопады. И, сверкая россыпью искр, разлился по волнам и скалам розовый, безмятежный рассвет. Сю-юн плавно отделил пальцы от струн, сложил руки на коленях. Наступила тишина.

Хвалить было неловко. Взгляды были громче слов.

Дэнеш поднялся, вышел. Вернулся с дарной, молча протянул ее Эртхиа.

— Как теперь играть? — развел руками царь аттанский.

— Играй, — потребовал Тахин. — Играй «Похитителя сердец».

— Я не умею как ты, — прошептал Эртхиа.

— Играй.

Эртхиа пересел по-другому, поерзал.

— Давай, — протянул руки. Дарна легла в них легким своим

телом, прекрасная, как никогда. Словно обиженная робостью Эртхиа, зазвучала пронзительно и печально. Без слов, без пения, как в том сне Тахин, Эртхиа заставил ее рассказать всем о прекрасных, кого видели его глаза, кем восхищено безвозвратно сердце. Оборвал так же резко, как начал. Уронил дарну на колени.

— Теперь ты, Дэнеш.

Флейта задышала, задохнулась тоской, долго-долго возводя ее к просветленной, терпеливой печали, приняла в свое дыхание трели сверчков из сада, журчание ручейка, вздохи листвы под ночным ветром, взобралась высоко-высоко и петляла между звезд.

— Теперь Хон!

Так по кругу они передавали заразительное безумие этой ночи, выхватывая друг у друга мелодии, перехватывая, переиначивая, перекликаясь, поправляя и досказывая друг за друга. И вне их круга остались только двое: мальчик-слуга, уснувший, привалившись головой к сосновым перилам, и Тахин, обхвативший руками колени и глядевший перед собой сухими-сухими глазами.

Вдруг заскрипели половицы и огромная тень упала в самую середину круга. Все вздрогнули, музыка оборвалась. Густой смех У Тхэ разбил мгновенную тишину. Сю-юн и И-тинь склонились до самого пола, Эртхиа и Тахин вскочили. Дэнеш, медленно поднимаясь, вынул правую руку из-за пазухи.

У Тхэ заговорил, и в голосе его перекатывался довольный смех. И-тинь и Сю-юн смущенно переглянулись, ниже опустили головы, пряча улыбки. Дэнеш засмеялся.

— Господину У Тхэ доложили, что весь квартал не спит, окна открыты, люди сидят в своих домах, а некоторые даже вышли на улицу и собрались здесь, перед домом, слушают удивительную музыку. Господин У Тхэ прибыл самолично убедиться, что в докладе ничего не приукрашено. Он просит разрешения присоединиться к нам.

Тем временем Сю-юн растормошил мальчика, вместе с ним убежал. И-тинь кинулась следом, помогать. Слуги, прибывшие вместе с У Тхэ, принесли несколько коробов с разнообразной снедью. Вскоре подали столики с закусками. Тут были и копченые утки, и карп в сладком соусе, и лапша с приправами, и множество соленых овощей, и колобки, и пирожки с начинкой из сладких бобов. Тут же подоспело и подогретое вино.

Ели и пили охотно, только сейчас заметив, как же все проголодались.

— На чем он будет играть? — шепотом спросил у Дэнеша Эртхиа. Дэнеш указал взглядом на расписной барабанчик,

низенький, в талии узкий, покрытый лаком и оплетенный разноцветными шнурами, важно стоявший на циновке рядом с У Тхэ.

— Как бы это прекратить? — вздохнул Эртхиа, оглядываясь на Тахина.

— Невозможно, — покачал головой Дэнеш. — Теперь уже никак.

— Ах, как жаль.

Дэнеш кивнул.

Когда отодвинули столики, господин У Тхэ уселся с важностью, взял барабанчик под правую руку и сказал:

— Невозможно оценить вещь, не зная всех ее качеств. Вот этот барабанчик выточен из целого куска сандалового дерева и обтянут оленьей кожей. Барабанчик был пожалован мне отцом нынешнего правителя, самим Золотым Драконом, и на нем играл еще его дед. Ценность его огромна, и пусть теперь он скажет сам за себя.

И вот, запустив пальцы левой руки между шнурами барабанчика, натягивая и отпуская их, правой он ударил по оленьей коже, расписанной драконами, и их рокочущий голос, прыгнув к балкам, отразился от потолка и ударил вниз, раскатился, перескочил через перила и наполнил садик.

Сю-юн неотрывно следил за У Тхэ и, едва У Тхэ кивнул, подхватил пиба. Мальчик тут же подставил скамеечку, и Сю-юн позволил мелодии оплести затейливый ритм, как вьюнок оплетает узорную ограду.

И-тинь, сцепив пальцы, наблюдала за ними. Наконец, не удержавшись, торопливо выкрикнула — У Тхэ, не поднимая век, энергично кивнул. И-тинь проворно перебралась на скамеечку, и второй пиба заспорил с первым, и так это было ладно и непримиримо, что Эртхиа показалось: сердце двоится в груди, не зная, за кем следовать.

Дэнеш взмахнул рукой, приглашая Эртхиа присоединиться к хозяевам.

— У меня и ладов таких нет! — огорчился Эртхиа, разводя руками.

— У меня тоже, — усмехнулся Дэнеш, подносяк губам дуу.

— Ну, раз так…

Я ушел далеко в сад и лег лицом в траву.

Когда он с тихим вздохом перевернулся на спину, звезды уже были бледны на светлеющем небе. Сверчки стихли, погасли огоньки светляков. Пруд был гладок под тонким покровом тумана. Вокруг Тахина, совсем рядом, траву покрыла бисером роса. Тишина стояла немая. Музыка кончилась. Дышать теперь

было легко и огонь внутри не жег. Тахин лежал, наслаждаясь тишиной.

Робкие шаги разбудили его, едва он начал задремывать. Он тихонько приоткрыл глаза: маленькая Хон пробиралась по росной траве, придерживая одной рукой полы халата, а другой отводя перед собой ветви, с которых тоже брызгала роса, попадая ей за ворот халата. Но она не вздрагивала. Ее набеленное личико казалось мертвым, но когда она подошла ближе, Тахин увидел, как горят ее узкие глаза. И она настолько хотела видеть одного-единственного человека, что не заметила Тахина, хотя едва на него не наступила. Когда она прошла, он снова перевернулся и оперся на локти и стал смотреть ей вслед. Она дошла до пруда, из которого вытекал ручеек, круживший по саду, и остановилась на берегу, в растерянности озираясь. От Тахина ее отгораживала прозрачная завеса из тонких склоненных ветвей ивы. Вдруг она обернулась и направила взгляд сквозь ветви в сторону дома. Тут же Тахин услышал шаги и, оглянувшись, узнал Эртхиа. Он брел сквозь сад, как бродят, говорят, одержимые ночными духами. Он не чувствовал, как мокрые ветви хлестали его по лицу, осыпая росой одежду, и волосы. И он прошел совсем рядом, едва не наступив на Тахина.

Они стояли теперь, немые оба друг для друга и даже руки ни один из них не протянул к другому. Только смотрели.

Тахин опустил голову на руки. Немного ревности обнаружил в своей душе и усмехнулся над ней, как над неуклюжим звериным детенышем. Устал он.

Таких никогда не любил. И в доме не держал.

Потому что любил — свободных.

О купце

— Нурачи? — Эртхиа зажмурил глаза и помотал головой. — Хвала Судьбе, но я думал… Не ожидал тебя встретить на этой стороне мира. Ты жив?

— А что бы со мной случилось? Отчего бы мне не быть живым? — купец довольно поглаживал бороду. — Мне доложили мои люди, что видели тебя, государь, у ворот Унбона, что ты собирался меня найти. Который день жду! Позволь сказать, государь, даже задержались здесь, нам бы уже в путь пора.

— Погоди, — перебил его Эртхиа. — Разве ты не погиб, не утонул вместе с кораблем? Я думал, кроме нас с Дэнешем никто не спасся.

— Э, государь! Если бы я с каждым кораблем тонул, когда бы мне торговать? Товар, да, весь на дно ушел. Но ведь это не один у меня караван! Вот я здесь, чем могу служить тебе?

Эртхиа сцепил пальцы, сосредотачиваясь.

— Во-первых, задержись здесь еще на несколько дней. Я хочу с тобой передать письмо повелителю Хайра и подарки для него.

— Непременно доставлю все в сохранности!

— Он тебя хорошо наградит.

— Об этом речи быть не может! Я твой слуга, не за что меня награждать, когда я исполняю твои повеления.

— Мне сейчас нечем с тобой расплатиться, и, кстати, не ссудишь ли меня деньгами?

Купец приуныл.

— Если бы мы были в Аттане…

— Если бы мы были в Аттане!

— Или хотя бы в Удже, или в Авассе даже… А сколько нужно повелителю?

— Собраться в дорогу — мне и моим спутникам.

— А сколько спутников у повелителя? — мрачно вздохнул купец.

— Двое.

— Всего-то! — просветлел Нурачи. — Не только ссужу деньгами повелителя, но и найду самое лучшее и за лучшую цену, я здесь ведь всех знаю, у кого какой товар, и между собой мы договоримся, так что снаряжу повелителя как должно и денег в дорогу дам, и весь припас, это для меня обязательно. Пусть повелитель даже не беспокоится, у меня у самого еще кафтаны наши есть, и сапоги уджской работы, все привычнее, мне-то какой только одежды носить не приходилось, я уж знаю: свое всегда удобнее. А дома, если повелитель будет настаивать…

— Дома рассчитаемся, не сомневайся, — улыбнулся Эртхиа.
— Если такова воля повелителя!.. — поклонился купец.

О разлуке

У Тхэ сказал Дэнешу:

— Желание твоего господина исполнено. Выбран тот, лучше которого в Ы не найдется. Когда ему собираться в дорогу?

— Как раз на днях мой господин разговаривал с купцами из его страны. Караван собран, ждут только позволения моего господина. Готовы тронуться хоть завтра.

— Хорошо, — сказал У Тхэ. — Завтра благоприятный день.

— Когда мой господин сможет взглянуть?…

— Твой господин будет доволен, когда ты назовешь ему имя.

— …?

— Сю-юн.

Господин У Тхэ задержался во втором доме до глубокой ночи, а может быть, и позже, потому что никто толком не знал, когда он ушел. Когда Эртхиа перед вечерней трапезой поймал его на веранде и через Дэнеша стал уверять, что совершенно нет необходимости посылать Сю-юна, что кто-нибудь другой его вполне бы удовлетворил в качестве подарка брату, что это, должно быть, неприятно господину У Тхэ… — У Тхэ прервал его небрежным жестом:

— Уверяю вас, тут не о чем говорить. Поедет только Сю-юн и никто другой. Вы ведь спрашивали о самом лучшем? Я настаиваю на том, чтобы самого лучшего вы и приняли в подарок. А это Сю-юн. Большая честь для меня и великое счастье для Сю-юна. Уверяю, никаких неудобств вы мне не доставили.

Безмятежный покой на лице У Тхэ был искренен и неподделен.

— Прошу вас, — закончил разговор У Тхэ, — оставим это. Не стоит придавать значение мелочам.

Позже он позвал к себе Сю-юна и долго придирчиво разглядывал его, уверяясь в правильности своего выбора.

— Послушай меня. Ты служишь в моем доме третий год и ни разу не дал повода для моего неудовольствия.

Сю-юн низко поклонился, в знак смущения прикрываясь веером. Узор из цветов сливы нежным розоватым тоном оттенял белизну его лица.

— Я оказался в долгу перед чужаками, — сказал У Тхэ. — Это неприятно. Вся Ы в долгу перед ними. Это очень неприятно. Я искал лучшего в кварталах Утренних расставаний или Созерцания ивы, или в театрах, или где только отыщется. Я видел всех. И не нашел того, кто мог бы удовлетворить всем требованиям. Один ты.

— Осмелюсь сказать: не понимаю, что это значит?

У Тхэ с треском раскрыл и закрыл веер.

— Они хотят такого как ты. Но такого нет. Есть только ты.

— Теперь понимаю. Как скоро мой господин расстанется со мной?

— Завтра.

— Благодарю, господин.

— Поскольку я решил, что ты будешь принадлежать повелителю Хайра, не годится тебе теперь проводить ночи… с кем угодно другим. Но бумага, по которой ты переходишь к новому хозяину, еще не составлена. Я подпишу ее завтра.

Сю-юн поклонился так, что локти его коснулись циновки, а голова легла между локтей.

— Благодарю, господин. Осмелюсь спросить: что, если я умру этой ночью? Тогда возьмете лучшего из тех, что есть, и…

— Ты не умрешь, — отрезал У Тхэ. — Ты хороший слуга.

Пришли попрощаться, проводили за ворота.

Сю-юн ехал в носилках, приоткинув занавеску. Набеленное лицо хранило неподвижность, полураскрытый веер лежал на коленях, едва придерживаемый небрежными пальцами. Только покачивались в такт шагам носильщиков подвески на шпильках, задевая воротники надетых одно на другое трех парадных одеяний.

У Тхэ, ступая важно, шел рядом с носилками.

Возле ив у поворота дороги он сделал знак носильщикам. Те остановились.

— Прощайте, — сказал У Тхэ, обращаясь к сидящему в носилках. — Не сомневаюсь, что будете наилучшим образом служить повелителю Хайра и не принесете позора сделавшему подарок.

— Не сомневайтесь, — церемонно склонив голову и сложив перед грудью руки, отвечал Сю-юн. Голос его был ровен, но веер разломился пополам с громким треском.

— Отдайте это, — протянул руку У Тхэ. — Не годится ехать к господину с поломанным веером.

— Что же — без веера? — едва слышно спросил Сю-юн, не смея взглянуть ему в глаза.

— Среди ваших вещей достаточно…

— Но все уложено в короба.

— Вот, — недовольный, У Тхэ протянул ему свой веер. — Вы позорите меня.

— Простите, — выдавил Сю-юн, наклоняясь так низко, что лоб его коснулся колен. У Тхэ махнул рукой носильщикам и обернулся к своим спутникам:

— Как неловко… извините, — и сунул за пазуху поломанный веер Сю-юна.

Дэнеш молча наклонил голову, провожая глазами удалявшиеся носилки.

— Дэнеш, может быть, вернуть… — шепнул Эртхиа.

— Это невозможно, не видишь? — краешком брови Дэнеш повел в сторону У Тхэ. Вельможа вопросительно наклонил голову.

— Владыка Солнечного престола выражает уверенность в том, что ваш слуга должным образом станет служить его царственному брату, — не моргнув глазом, объяснил Дэнеш.

— В этом не может быть никаких сомнений, — горделиво выпрямился У Тхэ.

— Вот видишь, — сказал Дэнеш, переведя его слова для Эртхиа.

О джаитах

День прошел в трудах, ставших привычными: подносили воду умирающим, закрывали тусклые глаза мертвым, переходили со ступени на ступень, обходили улицу за улицей.

— Она одолела, — сокрушался Илик.

— Мы не оставили их умирать в одиночестве, — напоминала Атхафанама.

Они ночевали, где придется, под любым кровом, оказавшимся поблизости, ведь хасса побуждала свои жертвы выбираться наружу в поисках воды, и улицы были страшны, а дома — пусты. Ноша их была невелика: кувшин и медная чашка у Атхафанамы, кувшин и медная чашка у Илика. Все остальное из необходимого они находили в домах и брали, не стесняясь, ибо принявший последний вздох умирающего причисляется к его наследникам. И были они наследниками всему городу. Только одно еще носил с собою Илик, котомку с инструментами и снадобьями, никому теперь не нужными в Аттане, потому что пришла хасса — и как не бывало других болезней.

Случалось им ночевать в лачугах, случалось — в богатых купеческих домах, так же оставленных обитателями.

— Запишу, что от хассы не отсидеться за стенами, — сказал Илик, со дня на день откладывавший необходимый труд. — Если успею.

— Садись и пиши, — сказала Атхафанама.

Они как раз устраивались на ночлег на кухне большого дома поблизости от базара. Как днем они не различали, кто врач, кто царица, кто кому должен прислуживать и подчиняться, так и в час отдыха не различали мужской и женской работы. Вдвоем открывали кладовые, разводили в очаге огонь, возжигали куренья — если находили, — готовили ужин (что попроще да побыстрее, а если что находили вяленого, съедали холодным, запивая подогретым вином). Мыться не пошли к водоему, непременному в саду такого большого дома. По опыту знали, что найдут там. Но в кухне оказался почти доверху наполненный высокий каменный кувшин. Так почти всегда бывало: хасса лишала памяти и разумения, и покидали дома в поисках воды, которой и дома было вдоволь. Раздевшись до пояса, они по очереди лили друг на другу на плечи подогретую воду, и не было между ними стеснения, потому что оба пережили уже свою смерть, а разве покойник стесняется тех, кто его обмывает? Шлепая босыми ногами, оставляя за собой мокрые следы, пошли искать по дому одежду. Атхафанама поднялась наверх, в женские покои. В

комнате одной пол был застелен не аттанским ковром-стригунком, а плотно сбитым цветным-узорным войлоком. Колыбель пустая стояла у разворошенной постели, а рядом на ковре — груда одежды: длинные вышитые на груди рубахи, безрукавки с нашитыми монетками и золотыми бляшками-уточками. И полосатые платки, и носки шерстяные, вязаные узорно — все дорогое памяти, из тех счастливых времен, когда милый Ханис был всесильным богом, пусть изгнанником, но не пленником уже — и еще не запредельно чужеродным, от кого не родишь… И Ханнар, бедная, еще не крала чужого мужа и не обрекала на смерть своего. И Атхи, бедная, луну за луной провожала, надеясь, что уж в следующую…

Вот когда царица повалилась на колени, зарылась головой в тряпки и завыла.

Илик прибежал, надавал царице оплеух, натянул первую попавшую в руки рубаху, отпоил вином, отругал, обнял и укачал, как маленькую.

Но она не стала спать, сказала, что голодна, и потащила Илика опять в кухню, по пути закатывая рукава, велела ему не мешать, сидеть тихо, а лучше заняться делом, пусть все умерли, что же, им и самим умирать, но пока они живы, и почему бы им напоследок не поесть, как людям, кто по ним тризну справит? А Илик пусть садится у огня и пишет — неужели в купеческом доме не найдется пергамента для записей? Все нашлось, Илик наполнил чернильницу, перепробовал каламы, устроился у очага — и закипела работа. Он сосредоточенно и торопливо писал, она металась по кухне, шипели и плевались горячим жиром сковороды, бурлило в котле, исходили паром горшки, стучал нож, ворчала Атхафанама, переворачивая сосуды для хранения пряностей — попробуй разберись в чужом хозяйстве!

И прямо в разоренной кухне они уселись за трапезу, и ели, как ни разу не ели в эти дни — сколько их было? — смакуя каждый кусочек, каждый глоток, переглядываясь и пересмеиваясь, перешучивая и передразнивая друг друга, с легкой душой, и опьянев, Атхафанама залилась смехом, и запела, и пошла плясать, прищелкивая пальцами и побуждая Илика стучать по горшкам и подпевать ей. Илик дождался, пока она утомится, отвел ее в чью-то пустую опочивальню, уложил и укрыл, а сам вернулся к очагу и продолжал свой труд.

Утром Атхафанама пришла в кухню, так и не решив по пути: просить ли ей прощения или самой пристыдить Рукчи, что позволил ей выпить столько. Поэтому стала тихонько на пороге: увижу, в каком он настроении — так и речь поведу.

А Илик, глядясь в начищенный котел, скреб острым лезвием

подбородок, и одна половина лица его, обведенная мыльной каймой, была гладка, как всегда, а с другой он сбривал короткую щетинку.

Атхафанама ахнула и схватилась за косяк. Она-то думала, что уж ее-то ничем не проймешь. И вот тебе на… Ни в Хайре, ни в Аттане мужчины подбородков не оголяли. Стыднее этого могло быть только… ну если бы Атхи в родном Хайре вздумала ходить без покрывала. Или хотя бы платком лица не прикрыть — будь она аттанкой.

Илик обернулся на ее ах. Улыбнулся, пожал плечами.

— Я ду-умала… Я думала, у тебя не растет борода… еще…

— Растет, — отозвался Илик без тени смущения. — Подожди, закончу — расскажу.

Атхафанама, пряча глаза, юркнула к очагу, раздула угли, от смущения неловко застучала посудой.

— Поедим, тогда расскажешь.

— Нет уж, — сказал Илик, убирая нож в котомку. Оплеснул лицо водой, вытер полотенцем. — А то ни ты, ни я есть не сможем. Ты — от непонятности, а я — на твои муки глядя. Спешить нам некуда уже.

Атхафанама подумала и согласилась.

— Видишь ли, царица, я — джаит. Жил в той местности, откуда я родом, человек по имени Джая, и было это давно. Не знаю, для твоих ли ушей эта история. Не смутит ли тебя рассказ о человеке, от которого даже родные его отреклись из презрения к нему. Он был так красив, что рука врага его удержала занесенный меч, и вместо того, чтобы быть убитым, он был ранен и пленен. И тот, кто пленил его, сам стал его пленным, а это был царь. Много тогда было царей в Аттане — давно это было. Каждая долина была тогда царством, и каждый холм — княжеством, и, как водится, воевали между собой, пока один из царей не усилился и не одолел остальных, и осталось последнее княжество непокоренным, и Джая был оттуда, княжеского рода, и стали его родные ему врагами, а тот, кто был врагом — стал господином его сердца. Ну что, царица? Рассказывать ли дальше?

— Говори. Разве ты не слышал, кто теперь царем в моем Хайре и кому мой брат был вернейшим другом? Случалось мне, когда завеса ночной половины разделяла их, передавать вести от одного другому. Не по нутру мне эти дела, но раз так оно есть…

— Так оно и было, и счастлив был Джая у своего царя, только не показывался на люди, но однажды случилось царю его обидеть — а те, кто живет в унижении, обидчивее других. И Джая тайком ушел из дворца. А в те времена частой гостьей была хассав городах Аттана, и не одна хасса. Есть ведь еще много болезней и

язв, о которых спорят — не эта ли первенец смерти? Такая вот беда случилась и в те дни, и пришлось царю покинуть свой город и укрыться в отдаленном селении. Ради крепости царства должен беречь себя царь. Тогда далеко еще было до сошествия солнечных богов. Давно это случилось.

— Что же, так и уехал царь без Джаи?

— Пришлось. Искали посланные и не нашли, а медлить было нельзя.

— А Джая?

— А Джая, сердцем обладая нежным и кротким, а душой — отважной и сильной, остался в городе, и, как мы с тобой, служил испуганным, беспомощным от страха людям, и там, где появлялся он, появлялась надежда. И те, кто не стал добычей болезни, и душой был под стать Джае, собрались вокруг него и стало их много. Хасса ли то была, или что другое, но нажралась — и покинула пределы царства, и многие уцелели, и Джая. Когда вернулся царь, донесли ему о человеке, спасшем, как сказали, город, и царь пожелал увидеть его — и нашли, и привели к царю Джаю и товарищей его. И был им оказан почет. С того дня не было в царстве героя любимей, и рассказывали о нем друг другу, и видеть его были рады, и место его было всегда возле царя, сидел ли царь на троне, выезжал ли куда. И только одно печалило Джаю: годы шли, и юность его осталась позади, и смешным он казался сам себе, когда оставался наедине с царем.

— Стала расти у него борода! — догадалась Атхафанама.

— Царь уверял, что и такого всегда будет любить, но разве утешишь того, кто хочет печалиться?

— И что же?

— О! Однажды на базаре — а базар всегда был велик и знатен в Аттане! — увидел Джая иноземного купца возраста уже преклонного, но с лицом гладким, и удивился. И открыл ему купец, что в его земле борода считается признаком дикости. Как же вы избавляетесь от нее? — в волнении спросил Джая. — На то есть цирюльники, — ответил купец, — а в дорогу я беру с собой обученного раба. И тут же за все деньги, что были при нем, Джая купил этого раба и поспешил к себе, и в ту же ночь… И не знал, гневаться или горевать, растерянный царь — теперь ему казался смешным Джая с не по возрасту гладким лицом. — Как ты на люди покажешься? — Что мне до людей?! Лишь бы нравится тебе! — И что возразишь? И есть ли любящий, способный спорить с любимым — и не уступить? Но теперь уже царь смущался показываться на людях с Джаей. А Джая, упрямый, каждое утро прибегал к искусству нового раба. И стали забывать, что Джая сделал, и смеялись над ним. Но прошло три года — и вернулась

язва. И снова царю уезжать, а Джая упрямится: смерть меня не берет, только люби и помни, уйдет — увидимся снова. Сам думал, может быть, что лучше ему умереть. Остался, собрал своих — и пошли по улицам, помогали кому лекарством, кому утешением. Но вот новая забота. Придет кто из тех, что были с Джаей, к больному, а тот: если бы Джая пришел, я бы спасся. Поверили, что если сам Джая рядом — и язва отступит. Те говорят: я Джая, а больные в ответ: кто ж не знает, что Джая бороды не носит. Уже не смеялись над ним: беда. А каково, когда на руках у тебя плачет ребенок, что если бы Джая… А Джае — не разорваться же. И стали те, кто с ним, брить бороды. И верой, что ли, спасались люди. И многие спаслись. А этих, бритых, уже было с Джаей больше трех дюжин, и кто одну язву с ним одолел, а кто и две. И стало у них братство, и решили не расставаться от язвы до язвы, чтобы ухаживать за больными во все дни. И царь пожаловал им как отличие перед другими право ходить с оголенным лицом, чтобы знали: вот спасители. Много почета им было от всех. И захотели к ним прийти многие, кто был отважен. Они принимали всех, но установили, что ничего в уплату за свои труды не берут, кроме того, что дается на покупку лекарств, и что в обычное время живут каждый в своей семье, кто с женой, кто с родителями, если молод еще, но когда наступает язва — собираются вместе, и кого сами себе старшим выберут, того слушаются во всем. И назвались — джаиты. В разное время бывало и много и мало их. Теперь мало. Но есть.

— А что же, — спросила Атхафанама, — что было потом между Джаей и его царем?

— Что нам до этого, женщина? — покачал головой Илик. — Разве об этом я рассказываю?

— Но ты начал говорить об этом.

— Только для того, чтобы объяснить, почему джаиты не носят бороды.

— Сам ты — не из таких ли, как Джая? — вскочила Атхафанама. — Не хочешь мне сказать, что дальше, потому что я — женщина. Знаю я ревность такую. На ночной половине…

— Сам я не из таких, — поймал ее за руку Илик. — Сядь, царица. Теперь поедим и пора нам собираться. Мы уже не чувствуем смрада и не замечаем мух, но пора уйти из города. Здесь не место живым.

— Отчего ты не женат? — настаивала Атхафанама.

— Женское любопытство. Тебе рассказать? Слушай. Я учился. Мне некогда было. Тем более, что давно закатилась слава джаитов. Отец мой был против, ругался, что сделаюсь я посмешищем в глазах людей, а через меня и он, купец не из

последних. Хотел мне дело передать. Да… А я ушел из дома. Если бы и нашел невесту — где собрал бы денег на выкуп? Тарс Нурачи, почтенный купец, незадолго до хассы позвал меня к себе. Болел один из его караванщиков, вожатый. Купцу в путь, и товар собран, и караван сбит, верблюдов кормить зря сколько дней? И людям уже плата поденно идет. Сговорились ведь. А караванщик опытный, Нурачи без него идти не хочет. У купцов свои приметы. Поставил я на ноги его вожатого, собрался идти Нурачи, платит мне. Я же взять не могу. Тогда он дал денег на больных, вдвое больше дал, — я взял. А он: вот тебе от меня, возьми не обижай. И подает платок поясной, вышитый. Ах, царица… Знаешь, есть вышивки мужские, их вольные мастера делают. А есть другие, девушки-невольницы так шьют, и вот — весь птицами покрыт платок, места чистого нет, каждая себе на особинку, любую тронуть страшно: упорхнет; каждое перышко видно… Словно сердце мне тем платком обернули. А взять не могу. Не взял. Только с тех пор иду через базар — всегда в лавку заглядываю, где эти вышивки. Их много. Но ее руку как не узнать? То цветами пояс вышит, то платье понизу будто травами заплетено, травинка от травинки, где колосок тянется, где цветок огоньком в стеблях. А если из обычных узоров — все равно ее работа ото всех на отличку. Хоть черточка, да в сторону сдвинута, хоть звезды перевитые — а не так, как у всех, перевиты. И весь узор от этого как новый, будто и не было такого до сих пор. Не видел я ее, имени не знаю, как спросить о чужой невольнице? И о чем загадывать? За такую мастерицу какую цену назначат? Да и жива ли теперь? В мастерских, где их держат, хассе раздолье — когда много людей вместе, ее не остановишь. Сама знаешь, царица.

— Что же, — несмело сказала Атхафанама, — ты и не видел ее. Может, и не молода она, и не красива.

— Нет, — покачал головой Илик. — Вышивальщицы слепнут быстро. Рано им в руки дают иглу и заставляют работать от темна до темна, пока цвета ниток отличают, а то и при светильнике. Молода она. Да. А что до красоты — кто так красоту чувствует, кто ее творит, тому зачем самому красивым быть? Тот и есть красота. Каждый и есть то, что он делает.

— Так расскажи скорее, что было с Джаей, и это не женское любопытство, ты сам сказал только что, что он — то же, что и мы, потому что мы делаем то же, что он. Сегодня у меня стало на одного брата больше. Он был, а я о нем не знала. Скажи, а бывали среди джаитов женщины?

— Нет, как можно! Женщина должна жить в доме, в безопасности, за стеной.

— Ха! Кто сказал сам, что от хассы за стенами не

отсидишься?

— Твоя правда, царица. И в такое время, конечно, женщины помогали. Вдовы. Но потом всегда находилось им, где укрыться: в доме ли мужа, у его родичей, у своих. А так чтобы были женщины-джаиты… Не слышал о таком.

— Если вдруг, послушай, Илик, если вдруг мы не умрем…

— Замолчи.

— …я буду джаитом. Примешь меня? Послушай, если вдруг — ведь может такое случиться?

— Не плачь.

— Я не плачу.

Они вышли из города и закрыли за собой ворота.

О тушечнице

Напоить тушечницу… Как птенца. Сю-юн не видел никогда, чтобы тушь так быстро высыхала. Никто не стал бы делиться драгоценной водой с его тушечницей. А утешения не было как не было. И однажды, задержав глоток, прильнул губами к тушечнице и выпустил в нее немного воды. Остаток — малый — проглотил. Так, украдкой, на стоянках поил он свою тушечницу, растирал в ней окаменевшую тушь и проворно наносил все новые и новые значки на плотную, слегка морщинистую белую бумагу, из которой специально ему в дорогу были сделаны тетради — и пролежали до сих пор без толку, а теперь и не знал бы, чем утешить себя, если б не они.

Порхала в умелых пальцах хорьковая кисть, значки ложились ровными столбцами. Он перечитывал написанное, облизывал запекшиеся губы в кровяных корочках, бормотал про себя, проверяя на слух, что выходило:

Долгий размеренный звон —
и не охрип колокольчик дорожный,
жалуясь вместо меня.
Желтого песка волны горячи,
не ступить ногой.
В Унбоне теперь вишни в цвету.
Звезды тают в озере,
по колено в росе провожаю тебя до ворот.
— Нет, лучше так:
Звезды тают в озере.
По колено в росе иду к воротам.
День будет жаркий.
Ставни подними,
между ширм пусть порхнет сквозняк.

После рылся в дорожном ларце, выбирал палочки туши, кисти на завтра. И сокрушался, глядя на свои исхудавшие руки, шершавые пальцы в заусенцах, обломанные ногти: каким предстанет перед царем Хайра, не позор ли это для господина У Тхэ? Волосы пропылились, стали тусклыми, ломкими. Белила, краски для лица в коробочках ссохлись, рассыпались пылью. Сколько времени понадобится, чтобы приобрести должный вид? Должны быть у царя слуги сведущие, а то ведь тамошние снадобья Сю-юну незнакомы, а свои пришли в негодность…

Горсть на ладони розовой пыли,
дунь — красота улетела…
Из былых друзей более всего
зеркала страшусь.
И самым последним записал вот это:
Не умру от печали:
и умереть жалко так далеко от тебя.

И слушал не умолкающий звон колокольцев на шеях верблюдов, что не дают растеряться вытянувшемуся от края до края земли каравану.

О бесприютных

К маленькому селению в горах вела каменистая тропа, вилась по склону сквозь заросли орешника. Выше, встав друг другу на плечи, карабкались хижины. От них тянуло дымком, сладким хлебным запахом. И звуки, доносившиеся оттуда, были обычными звуками человеческого жилья, и не вселяли тревоги.

Держась друг за друга, Илик и Атхафанама быстрее переставляли сбитые ноги, измученные лица их осветились радостью. Дым, хлеб, нетревожные голоса: там живые люди, живые и здоровые.

— Дадут ли нам хлеба? — в сотый раз, задыхаясь, спросила Атхафанама.

— Дадут, — терпеливо ответил Илик. — Путника оставить без помощи — грех.

Первые камни упали им под ноги. Они не поняли сразу и продолжали подниматься по тропе, еще не слыша как затихло селение и только один плакал ребенок, обиженно и сердито, пока камень не ударил Атхафанаму в грудь, а другой попал ее спутнику в голову, и Рукчи упал, и сним упала цеплявшаяся за него Атхафанама.

Она просила: впустите нас, мы здоровы, у нас нет болезни. Мы просто устали, нам нужен отдых. Она просила: мы не войдем в селение, мы останемся здесь, на дороге, но вынесите нам немного хлеба и молока, у вас ведь есть козы. Немного хлеба, сыра и лука, у нас есть чем заплатить, люди. Мой брат ранен. Дайте нам воды и огня, дайте нам еды. Мы уйдем подальше и переночуем где-нибудь там, за горой. Мы четвертый день без воды и пищи, но у нас есть чем заплатить, люди, не дайте нам погибнуть у вашего порога.

Но ответом ей было молчание, потому что жители стыдились отказать ей, а впустить путников боялись, и едва Атхафанама делала хоть маленький шаг в сторону селения, в нее летели камни. У нее не было воды, чтобы побрызгать Илику на лицо, и когда она сама пошла искать здешний источник, за ней следили и стрелами отогнали ее от воды. Она пошла бы и под стрелами, но если бы она умерла, какая была бы в том польза для Илика? И она вернулась и села так, чтобы своей тенью укрыть его голову от солнца, и сняла платок и махала им над его лицом, и вытирала кровь.

Илик очнулся, похвалил ее, что все сделала правильно, ощупал рану.

— Бровь рассекли. Всегда много крови. Испугалась? Это не

страшно.

— Ты был как мертвый.

— Ты на себя посмотри. Разве можно плакать, когда лицо в пыли? И нельзя плакать на виду у больного, джаит.

Атхафанама всхлипнула, растерла по лицу слезы, засмеялась вместе с Иликом.

— Как ты?

— Живой. Давай переберемся отсюда в тень. И лучше уйти подальше, пока не стемнело. Они так боятся, что могут убить нас, лишь бы мы не прокрались в селение ночью.

— Они к нам близко не подойдут.

— А стрелы?

Атхафанама вздохнула.

Илик с трудом поднялся, опираясь на руки и плечи Атхафанамы. Они побрели сквозь заросли орешника и в глубине упали на землю и прижались друг к другу, обнялись, ища и находя друг в друге утешение и надежду.

— У меня нет сил идти дальше, — шептала Атхафанама, — что с нами будет?

— Завтра все будет хорошо, — обещал Илик, сам не веря, потому что боль в голове усиливалась и он с трудом сдерживал тошноту. — Завтра все будет хорошо. Сон вернет нам силы.

— Почему они так с нами поступили?

— Они боятся хассы. Они правы. Если бы я был лекарем в этом селении…

И замолчал.

— Илик! — испугалась Атхафанама. — Что с тобой?

— Тише. Спи. Нам нужно спать. Спи.

Атхафанама вздыхала, вздыхала, да и заснула. Илик еще долго маялся, перемогаясь, но наконец и его подхватил сон, закачал, закружил — едва он успел оттолкнуться от царицы, отвернуть лицо. Его вырвало на камни желчью и слизью, и он долго кашлял и всхлипывал, и не мог унять икоту. Атхафанама вытерла ему лицо краем платка и поднялась на ноги.

— Ты куда?

— За водой.

— А знаешь, где?

— Знаю.

— А что раньше не принесла?

Атхафанама ничего не ответила.

— Не ходи, — окликнул ее Илик. — Тебя убьют, и я умру. Завтра найдем воду.

— Завтра мы умрем, — кусая губы, крепясь из последних сил, пообещала Атхафанама. — Никто не пустит нас к воде.

— Иди сюда. Ложись. Завтра все…

И замолчал опять.

— Илик! Не надо, Илик, не смей, не оставляй меня, я тебе не велю, не смей!

И причитала тихо и страстно над братом своим, и не потому не кричала, что боялась назвать на их голову жителей селения. А страшно было голос возвысить: голосят над мертвыми. Чуть не шепотом бранила царица Рукчи, чтобы не смел умирать: что ей делать тогда, куда идти? В темноте и страхе путалась, не умела разобрать, жив ли — или можно и впрямь голосить, оплакать и себя заодно. Приникла к груди Илика, но свое сердце так билось и ухало, что опять ничего не смогла разобрать. Вспомнила, как учил Илик, стала искать бьющиеся кровяные жилы на шее. А в ладонях своя кровь билась тугими толчками.

И не услышала сразу шороха и треска в зарослях, а когда услышала, совсем близко, испугалась так, что руки-ноги отнялись. Либо зверь охотится, либо из селения убивать пришли. Не дыша, повернула голову.

Высокий человек, одетый странно, вышел к ней, одной рукой отводя ветки, другой прижимая к груди широкогорлый, узкий книзу сосудец. Из него выходил розоватый свет и лежал на спокойном лице незнакомца, на красных кудрях, на ярко-белой одежде, окутывавшей плечи.

Он посмотрел на Атхафанаму, и она, встретив его взгляд, тут же и расплакалась от облегчения, что не одна уже и не самая сильная.

— Не бойся, — вытирая слезы, попросила она. — Он не болен. Это не хасса. Клянусь, он ранен только.

А незнакомец кивал ей ласково, словно наперед зная все, что она скажет, и как все на самом деле, и что с этим делать, — и зная самое главное: все будет хорошо.

Атхафанама успокоилась, приняла из рук незнакомца сосудец с огнем (глиняные бока обожгли ладони) и стала послушно собирать сухие ветки и складывать костер. А он сам опустился на землю и взял голову Илика себе на колени, обхватил ее ладонями, поднял лицо, закрыл глаза и так замер.

Атхафанама ловко сложила костерок, но не решалась поджечь его, ожидая слова незнакомца. Смиренно сложила на коленях руки, опустила ресницы, чтобы и взглядом не помешать удивительному гостю.

Лицо Рукчи наконец порозовело, ресницы дрогнули, он задышал глубоко и открыл глаза. Встретился взглядом со своим исцелителем и остался лежать неподвижно, давая ему закончить работу. Спустя небольшое время незнакомец убрал руки с его

головы и улыбнулся.

— Не будешь спать три дня и три ночи. И не старайся заснуть. Бодрствуя, сам себя исцелишь. При ударах головы надлежит поступать так.

— Меня учили по-другому… — пробормотал Илик.

— Лечу я, мне и отвечать, — сказал незнакомец. — Я начал по-своему, так и продолжим.

— Согласен. Испробую на себе, тогда и буду судить о твоем способе.

— Так, — согласился незнакомец. — Тебе нужно много пить, а есть как можно меньше.

— С этим не поспоришь, — заметил Илик. — Тем более, что ни воды, ни пищи мы не можем достать.

— У вас все будет. Огонь уже здесь, остальное несут следом… Мне пора. Запомни: лежать в покое, но не спать, пить, но не есть. А ты, разумная женщина, плесни из горшка на хворост, когда я уйду. Будь осторожна, этот огонь прилипчив, и не просто его погасить. И проследи, чтобы твой спутник в точности соблюдал мои наставления. Дважды я ни к кому не прихожу. Прощайте.

Он с осторожностью опустил голову Илика на землю, легко поднялся и пошел от них, раздвигая руками ветви орешника, и так быстро, что Атхафанама едва успела окликнуть его.

— Назови нам свое имя, — сказала царица, — чтобы мы могли произносить его с благодарностью и сохранить в памяти до конца наших жизней.

Незнакомец остановился, обернулся к ним.

— Славьте Обоих богов. Если я напомнил твоему сердцу кого-то, кто ему дорог, зови меня его именем. Это справедливо и угодно тем, кому я служу. А других имен мы не носим.

И поклонился, и исчез в сгустившейся темноте.

— Джая… — тихо сказал Илик.

— Потому что исцелил тебя?

— Про Джаю говорится, что его красота остановила меч врага. Разве этот не таков? Как говорят в Удже, чистый хрусталь. Что он сказал о воде и пище?

— Что все у нас будет. А ты, Илик, все же к мужской красоте неравнодушен, я вижу.

— Я вообще к красоте неравнодушен, ты знаешь, царица.

Атхафанама смутилась, жалея, что заставила Илика вспомнить о его возлюбленной. Наклонив голову, она поправила веточки в костре и со всей осторожностью наклонила над ним сосуд. Огонь выплеснулся, охватил хворост. Атхафанама не отрывала глаз от огня, раздумывая, нужно ли сказать Илику, что она жалеет о своих словах и сказала, чего вовсе не думает, — или

лучше уж молчать?

Опять раздался шорох в зарослях, Илик и Атхафанама обернулись на шум и увидели, как из кустов выбирается женщина. Лицо ее было замотано вышитым платком так, что видны были одни блестящие глаза, но тихий голос — нежен и приветлив.

— Вот, — с облегчением произнесла она. — Хорошо, что вы зажгли огонь. Я давно вас ищу. Меня зовут Райя, я прошу вас войти под крышу моего бедного дома.

Еще до рассвета, опираясь на плечи Атхафанамы и Райи, потихоньку, шаг за шагом, на подгибающихся ногах Илик перебрался в маленькую хижину, сложенную из камней, под плоской, покрытой дерном крышей, лепившуюся к склону горы в стороне от селения. Женщины уложили его у очага на грубую полосатую тканину, которая и была единственной постелью в доме, а сами принялись хлопотать у очага.

— Я сама здесь не так давно, — рассказывала Райя. — Там, где я была, все умерли, все до одного, кто был рядом со мной. Тогда я ушла, и хасса не увязалась за мной. Я была в Аттане, а пришла сюда, так далеко, потому что остановиться было негде: везде стоны и крики, плач и проклятия. Или тишина. Вы слышали, какая тишина бывает после хассы? Я бежала, пока не падала, поднималась и бежала опять. Здесь только нашла себе место. Но она придет и сюда.

— Здешние жители осторожны, — сказала Атхафанама.

— Да, их напугал бродячий лекарь. Рассказал, что в царстве хасса, предостерег, чтобы не подпускали чужих к своим домам и источникам. На мое счастье, я пришла сюда раньше него.

— Что ж, — сказал Илик, — если они будут так осторожны и впредь, может быть, хасса к ним не проберется.

— Не верю я, что от нее можно уберечься. Я ее видела. Она придет сюда и войдет в селение, если захочет. Солнце не пощадит тех, кто забрасывает камнями путников у своего порога.

— Они спасают своих детей, — возразил Илик.

Девушка упрямо вскинула замотанную в платок голову.

— Они могли вынести вам воды и лепешек и попросить вас идти своей дорогой. Лекарь, напугавший их, не запрещал им этого.

— Кто это был? Ты знаешь его имя? — приподнялся на локте Илик. — Каков он собой? Может быть, я знаком с ним.

— Имени не помню, а сам он был ростом с меня или даже меньше, кругленький и быстрый, как укатившийся клубок, и на лице ни волоска. Все думали сначала, что он евнух, но после женщины подсмотрели, как он скреб подбородок ножом у ручья.

— Смеялись? — заулыбался Илик.

— Чему ты радуешься? — вздернула брови Атхафанама. — По его совету тебя чуть не убили насмерть.

— Он здесь ни при чем. Маленький, толстый и проворный… Это Савса. Но кидать камнями в чужаков он не учил, ручаюсь. Сама знаешь, царица, какой страх внушает одно ее имя.

О том, что хасса уже здесь, они узнали на рассвете третьего дня.

Илик все еще отлеживался, созерцая закопченный потолок, Райя ушла к источнику за водой, Атхафанама возилась у очага.

— А дыма! — возмущенно отмахивалась она. — Глаза вытекут.

— Не дворец, — рассеянно заметил Илик.

— А я и не жалуюсь, — рассердилась Атхафанама. — И не такое повидала, между прочим.

Но Илик о чем-то своем думал и не ответил ей. Атхафанама в ярости дернула плечом и принялась ожесточенно размешивать варево единственной в доме щербатой ложкой в единственном горшке.

— Это странно, — заговорил Илик.

— Что? — фыркнула царица, не прекращая своего занятия.

— Ее платок. Она не снимает его ни днем, ни ночью.

— Но ты — посторонний. Девушка стыдлива, в этом странного нет.

— Она из Аттана, столичная жительница, а там даже девушки из приличных домов едва прикрывают лица.

— Верно. Ну и что? Может быть, она как раз из приличного дома, потому и боится, что ее узнают в таких жалких обстоятельствах. Или, может быть, она некрасива. Так бывает, Илик. Что с того? На что нам ее тайны?

— Как эта женщина нелюбопытна!

— Как любопытен этот мужчина!

Илик засмеялся:

— Твоя взяла! Но сама посуди: в доме утвари — один горшок, один кувшин и одна ложка. Еще это одеяло. И все. А ее платок… Ты рассмотрела вышивку?

— Дорогая вещь, — признала Атхафанама, бросила ложку и стала обеими руками тереть слезящиеся глаза. — Ну и что? Если она из приличной семьи, почему бы ей не носить такой платок? Тебе глаза не ест?

— Во-первых, царица, где же тогда ее дорогое платье и украшения? Если бы она просто хотела скрыть, что богата, она и платок взяла бы попроще. Но — и это во-вторых — платок мужской.

— Верно. Даже странно, почему я этого не заметила.

— Мне тоже кажется, что, скорее, ты должна бы мне все это объяснять.

— Но ладно с этим, — застучала ложкой Атхафанама, — что все это значит?

— Я не знаю.

— Не знаешь? А зачем говоришь об этом?

— Думал, может быть, ты что-нибудь придумаешь. Это странно. Вышивка на платке — та самая.

— Ты уверен?

— Платок в точности такой же, как тот, который мне предлагал Нурачи и от которого я отказался.

— Но, Илик! Это невозможно. Ты думаешь, это она? Как такое может быть?

— Это было бы слишком. Конечно, невозможно. Но я, наверное, не смог бы заснуть и без чар нашего спасителя: из головы этот платок не идет.

— Спросить, откуда у нее?..

— Нет. Она объяснит, и все исчезнет. Не хочу. Потом, когда соберемся уходить, спрошу — или ты спросишь. Сделаешь это для меня? У меня губы немеют, когда подумаю об этом. Но, в самом деле, это странно. Откуда столько дыма?

— А я говорю! — Атхафанама всплеснула руками. — А меня неженкой дразнил!

— Посмотри, — сказал Илик, приподнимаясь на локте. Дым лез снаружи, сквозь щели в шаткой двери, и наполнял уже всю хижину.

Атхафанама двинулась было к двери, но Илик остановил ее:

— Не высовывайся наружу. Если нас заметят, что будет с Райей?

— Я одним глазком, в дырочку.

— И что ты там разглядишь? Подожди, вернется Райя и все расскажет.

— Райя! Ты вот заговорил об этом… Много странного в ней. Еду готовить она не умеет. Похлебку простую из муки и лука — и то я ее научила. Пол мести она не умеет, только пыль поднимает. Сноровки нет, привычки. Она не похожа на вздорную неряху. Она просто не знает, что и как. Прорехи на ее платье даже не заштопаны — такой гладью зашиты, что не у всякой мастерицы выйдет.

— Ты заметила? — обрадовался Илик. — Я даже думать об этом боялся.

— Рабыни в мастерских не готовят и не прибирают. Для этого есть неумехи, чье время не дорого. И штопать рванье, как

царицам платья вышивают, станет только та, для кого это совсем просто и привычно. Илик, а ведь и правда…

Но распахнулась со стуком дверь, с клубами дыма ворвалась Райя — с пустым кувшином, упала плечом на стену, задыхаясь в своем платке.

— Что случилось? — кинулась к ней Атхафанама.

— Выйди, посмотри.

Атхафанама выскочила наружу. Илик поднялся и пошел за ней, придерживаясь рукой за стену.

Со стороны селения ветер гнал черный дым.

— Пожар? — жалобно спросила царица.

— Жгут дома, — ответил Илик бесцветным голосом.

— Аиз и его братья, — боязливым шепотом объяснила Райя. — Никто не знал, что Аиз вернулся. Братья сговорились и встретили его, провели домой ночью, тайно. Если там еще остались живые, огонь убьет их вместе с хассой.

Атхафанама оглянулась на Рукчи.

— А мы уже здесь. Когда пойдем в селение?

— Завтра, думаю. Сегодня они так испуганы, что…

— Пойдем завтра, — согласилась Атхафанама и закрыла лицо руками.

— Зачем? — испугалась Райя.

— Затем, что мы джаиты, — сказал Рукчи. — Джаиты, как и тот лекарь, о котором ты нам рассказывала. Это значит, что утром я соскребу, как ты говоришь, эту щетину, которая выросла, пока я тут валялся, и мы пойдем в селение, потому что, даже если ясно, что больной умрет, нехорошо оставлять его умирать в одиночестве. Кто-то должен подать ему воды и закрыть глаза. Когда мужья оставляют жен и матери детей, мы приходим, как братья. И сестры, — добавил он, взглянув на Атхафанаму. — Если ты начнешь плакать сегодня, царица, как завтра пойдешь к людям?

— Завтра я плакать не буду, — угрюмо пообещала Атхафанама, вытирая ладонями лицо. — Ни завтра, ни во все другие дни.

— И вы не боитесь хассы? — спросила Райя. — Тогда возьмите меня с собой. Я устала убегать от нее. Я боюсь снова остаться одна. Ни за что не хотела бы я снова увидеть то, что там сейчас начнется. Но бежать уже некуда. Возьмите меня с собой. Я буду делать все, что вы скажете. Не оставляйте…

Атхафанама обняла ее.

О песне

— А мотив? — спросил Тахин, сведя брови.

— Похититель.

— Давай.

— Давай? — переспросил Эртхиа, облизнув пересохшие губы.

— Ну.

Эртхиа решительно прижал дарну к груди, а на Тахина взглянул почти робко.

У Тахина лицо застыло, осунулось, а взгляд зажегся, обращенный к густо-золотому пламени.

— Ну же, — выдавил сквозь сжатые губы.

Эртхиа ударил по струнам. И сейчас же выровнялось биение сердца, и чужим показался остывающий на висках пот, и глубоким стало дыхание. Пока перебирал лады, сами собой вспомнились слова, вычитанные в хрупком от времени свитке из заветного ларца далеко в Аз-Захре:

навстречу мне ты идешь
меня не видишь
чужака тебе неизвестного
далекого ненужного тебе
видишь
не меня
навстречу тебе я иду
тебя не вижу
возлюбленного
любовь свою
желание
горечь и огонь вижу
не тебя
мимо ты проходишь
мимо я иду
здравствуй
прощай

И Эртхиа выкрикнул первые слова в лицо огню и краем глаза успел заметить, как дрогнуло лицо Тахина: веки и губы. И Эртхиа запел, прилежно выводя мелодию. Но Тахин вдруг, перебив, вступил тоже, повторяя слова и мотив, но чуть запаздывая. Эртхиа уронил голос и повернулся всем телом к Тахину:

— Что ты делаешь? — потому что в Хайре, если пели вместе

двое, то пели одинаково или вступали по очереди, перекликаясь и как бы споря друг с другом.

— Так тоже можно петь, — сказал Тахин. — К этой песне очень подходит так петь.

— А я никогда такого не слышал. И не умею. Ты сам это придумал?

— Да нет, слышал про такое, захотел попробовать. Эту песню так и пели. Давай попробуем?

— А выйдет?

— Да тут нечего уметь. Просто пой свое, а я — свое.

— А как играть?

— Ты играй для себя, а я уж подлажусь. Давай, все получится.

— Ну, хорошо. Ладно. Давай.

Эртхиа глубоко вздохнул — и повел мелодию, высоко вознося над огнем, над чернотой ночи к пристальному свету медлительных ночных светил. И Тахин подхватил, чуть запаздывая, так что слова ложились друг на друга как бы наискось, и искажался их облик, как отражение в колеблющейся воде. Этому не было конца и не могло быть. Но, как было над долиной Аиберджит: если не приглядываться к тропе, а только идти по ней без робости, сама несет тропа, — так и теперь: не бояться, не сомневаться, только петь свое, — и слышать, как голоса, споря, удерживают друг друга в прозрачной вышине.

— Обещай. Поклянись. Слышишь, — зажмурившись, прошептал Эртхиа, когда все кончилось, — поклянись, что не в последний раз мы пели вместе.

— Хорошо бы, — сказал Дэнеш.

Они все трое переглянулись согласно, и тут ветер подхватил витую прядь с головы Тахина, и она с готовностью вспорхнула, полыхнула, забилась языком золотого огня, и следом занялась вся яростно-рыжая грива, разрослась, загудела, дохнула жаром в лицо Эртхиа. Тот уклонился, зажмурив глаза. Тахин вскинул руки, обхватил голову, унимая пламя. Оно тут же прикинулось рыжими кудрями, легло вольно и покойно на плечи.

— Смотри-ка, — возмутился Эртхиа. — Ресницы мне спалил!

Тахин виновато пожал плечами, но сказать ничего не успел. Забеспокоились кони.

— Не волки бы… — нахмурился Эртхиа. Тахин покачал головой. Эртхиа притих, прислушался. Кто-то приближался верхом, с заводной в поводу.

— А у нас гость, — задумчиво сообщил Дэнеш. — Господин У Тхэ из Унбона.

— Ты его видишь?

— Я знаю.

— Откуда?

Дэнеш пожал плечами.

Вскоре господин У Тхэ, пеший, появился в круге света. Поклонился, как в Ы принято, прижав ладони к сердцу.

— А я слышу — поют. Отчего бы, думаю, не навестить знакомых?

— Добро пожаловать, добро пожаловать! — вскочил обходительный Эртхиа. — Милости просим!

И, отложив на потом вопросы, кинулся вместе с Дэнешем помогать обихаживать лошадей. Тахин подвинул к огню котелок с похлебкой и носатый сосуд с отваром из девяти трав, составленным ашананшеди.

— Как же так? — спросил, наконец, Эртхиа, когда гость был накормлен и уже неторопливо прихлебывал отвар. — Ведь исполнились все ваши надежды, и ваш законный повелитель вернулся из ссылки и обрел почтение и покорность своих подданных. Как же вышло, что вы теперь в степи — один, без приличной вашему званию свиты, даже без вьючной лошади с припасами?!

У Тхэ скорбно кивал головой, соглашаясь с его недоумением.

— Но я мог и предвидеть такой поворот. Наш повелитель есть опора законности и справедливости. Зная, что я недоволен воцарением его старшего брата, он справедливо заподозрил меня в причастности к гибели узурпатора. Я узнал — отец моей драгоценной супруги весьма влиятелен во дворце, — что готовится крайне неприятный для меня указ. Нарушить его я не смог бы, но пока он еще не принят — кто может упрекнуть меня в неподчинении? Я немедленно покинул дом и отбыл следом за вами, надеясь, что еще догоню вас.

— А как же ваша семья? — выпалил Эртхиа. — И как же госпожа Хон?

— Что же делать? — сокрушенно вздохнул У Тхэ. — Жену пришлось отослать в дом ее отца, теперь она — только дочь важного вельможи, который в милости у императора. В ближайшее время отец выдаст ее замуж, не сомневаюсь, удачно… И ничто больше не связывает ее со мной. Благодарю мудрое небо, которое до сих пор отказывало нам в счастье иметь сыновей. Мнил это наказанием — оказалось благословением. Никогда не знаешь, чем обернутся твои обстоятельства.

— Так а что же с госпожой Хон? — не успокаивался Эртхиа.

— Да вы и не знаете! Как же, она удавилась на другой день после вашего отъезда. Что ж, это лучше, чем идти певичкой в веселый дом, она ведь из благородной семьи. А куда бы ей теперь деваться? Родители не укрыли бы ее, во дворце ее наказали бы до

смерти. А в домах с цветными перилами не спрашивают, откуда, — спрашивают, почем…

Эртхиа оглянулся на Дэнеша: так ли он понял? Может ли это быть? Дэнеш кивнул, стал смотреть в сторону.

— Смерть на руках моих! Как зараза. К кому ни прикоснусь…

Эртхиа вскочил и стремительно зашагал в темноту, подальше от света, подальше от друзей.

Много позже Тахин нашел его в темноте, лежащего лицом в землю. Присел рядом.

— Разве мне ты не подарил жизнь?

Эртхиа перевернулся, впился глазами в Тахина.

— Не верю! Ты это говоришь? Ты сам? Ты называешь жизнью то, что я причинил тебе? Эту боль? Эту невозможность всего? О, Тахин, о, сердце мое! Можешь ли ты — когда-нибудь сможешь ли — простить несчастного Эртхиа, который приносит смерть и несчастье всем, кого любит? Брат мой Акамие и Дэнеш, ведь у них одно на двоих сердце, и я разорвал его пополам. А господин У Тхэ и Сю-юн? Разве я хотел этого? О, это еще не все! Ты не знаешь. Оттого что я нарушил запрет, наложенный Судьбой, умерли, должно быть, уже мои женщины, мои дети, мои побратимы и весь мой народ. Куда я иду? Чего ищу? Что нужно мне еще в этой жизни? И не удавиться ли и мне тоже, чтобы никого больше не задело проклятие, которым я проклят? И уж во всяком случае я не допущу, чтобы этот У Тхэ ехал с нами. Пусть уходит, куда угодно. Может, хоть так спасется.

Но убедить У Тхэ следовать своим путем не удалось.

— Мне неприлично оставаться самому по себе, без господина, которому я служу, — сказал ыский вельможа. — Такого позора в моем роду никому еще не выпадало. Но и служить человеку низкого происхождения я не могу. До того, как Шан Ань объединил Ы, страна была разделена на сотню княжеств, непрестанно воевавших между собой. Князья были умервщлены вместе со своими семьями и всей родней, но одной из наложниц князя По удалось спастись, а она носила его ребенка. Родившуюся девочку вырастил один из приближенных императора, он и взял ее в жены. Вот какова кровь, текущая в моих жилах. Могу ли пойти на службу к кому-нибудь ниже царя, и царя великого? И раз мы уже убедились, что наши жизни связаны в девяти рождениях — а в этом не может быть сомнений! — то кого же мне еще искать? Если и господин Дэн-ши, происходящий по прямой линии от самого Шан Аня, служит вам, чего же и мне желать? Позвольте быть вам преданным слугой, иначе жизнь моя не имеет смысла и нет нужды мне стремиться оставить потомство, которому тогда не передам служения и чести. Останется мне

удавиться или зарезаться.

— Я вот не понял, отчего ваш император оказался так несправедлив к вам? — спросил Тахин, видя, что Эртхиа не торопится с ответом. — Судя по тому, что я успел понять, смерть его брата — спасение для страны.

— Да, это так, и он это понимает.

— Ну так что же он?..

— Он не может попустительствовать сохранению жизни преступника, поднявшего руку на Золотого Дракона. Это немыслимо и несообразно. Это посягательство на самые основания Ы. Я преступник, это ясно. Я сам это знаю.

— Но далеки от того, чтобы жалеть о содеянном, — улыбнулся Тахин.

— Конечно! — с жаром воскликнул У Тхэ. — Ведь это было единственное средство вернуть государству истинно законного правителя. Что же делать, так было предопределено.

— Как я понимаю, — медленно и осторожно произнес Дэнеш, — вы не должны были… покидать Унбон.

— Благодарю вас, но нет нужды щадить мою гордость. Скажем прямо: я сбежал, вместо того, чтобы с достоинством принять положенную кару. Но я знаю, это разбило бы сердце императору, ведь с раннего детства он удостоил меня своей высокой дружбы. Ему еще неоднократно придется прибегать к необходимой строгости. Пусть лучше он сожалеет о том, что его друг оказался недостойным, а не о том, что начал правление с казни старого друга.

— Какая тонкость! — воскликнул Эртхиа. — Когда бы все подданные так заботились о своих правителях! Но я вынужден отказать вам. Во-первых, позвольте указать вам на вашу ошибку: никто измоих спутников не служит мне, это мои друзья и братья. Я приношу несчастье, это во-вторых.

— Сохранить верность господину в несчастьях — гораздо более достойно, чем разделять с ним удачу. Позвольте мне все же…

— Но вы могли бы стать мне братом, а не слугой.

— Разве ваши благородные родители готовы усыновить меня?

— Мой отец умер, а мать слишком далеко отсюда. Но побрататься…

— Ах, нет! — с отвращением заметил У Тхэ. — Этот варварский обычай, коему следуют дикари-кочевники, глубоко противен мне, как и любому жителю Ы.

— Мда… — задумался Эртхиа. — Что ж, нет средства вам ехать с нами. Это и к лучшему, поверьте!

— Что ж, значит и это предопределено, — пожал плечами У

Тхэ и молниеносно выхватил из-за пояса длинный нож. Лезвие метнулось вкось поперек шеи У Тхэ.

Дэнеш едва успел перехватить его руку, а Эртхиа вскочил, замахал на него руками и закричал:

— Согласен, согласен! Будьте моим слугой, чтоб вас ночные духи посетили неоднократно! Провалиться вам — где ж это видано!

У Тхэ так же спокойно вернул нож за пояс и отвесил глубокий поклон новому господину. Обескураженный Эртхиа отер рукавом пот со лба и в раздражении вывалил на У Тхэ первый перечень его обязанностей.

— С этой минуты говоришь мне «ты», как и я тебе. Вместе с ними вот всячески надо мной подшучиваешь и смеешься надо мной, когда я смешон. Споришь со мной, когда тебе представится, что я не прав. Даешь мне советы, когда я их не прошу. Ну, потом еще посмотрим. А, вот еще: никогда, никогда, никогда не называешь меня господином. Ну что — справишься?

У Тхэ низко поклонился и торжественно изрек:

— Приложу все усилия к этому.

Эртхиа с облегчением перевел дух. Но Дэнеш нахмурился и повел бровью вправо. Эртхиа переглянулся с Тахином, и оба чуть изменили позы, готовые вскочить и сражаться. У Тхэ положил руку на меч.

И тут в освещенный круг вступила девушка. Легонькие шаги не нарушили тишины. Смущенно улыбаясь, она поклонилась. В воздухе разлилось незнакомое благоухание. Эртхиа словно соринка в глаз попала, он заморгал часто и не сдержал восхищенного вздоха. Да и Дэнеш с У Тхэ как-то незаметно приосанились, и набок склонил голову изумленный ан-Араван.

— Не найдется ли места у огня для несчастной, отставшей от своих спутников? — тоненьким голоском спросила незнакомка и заглянула в глаза каждому, по очереди. Тишина повисла после ее слов, словно каждый прислушивался к эху ее голоса в душе и переживал ее взгляд. Наконец очнулся Эртхиа.

— Сколько угодно места, и немного еды, все, что есть, и вот — прекрасный отвар из душистых трав, который подкрепит твои силы и успокоит тревоги. Вот, — он сорвал с плеч кафтан и расстелил его на земле, — присаживайся и ни о чем не беспокойся. Поешь и спи, а мы будем стеречь тебя и утром догоним твоих спутников. Ты ехала с каким-нибудь караваном, должно быть? Непременно отыщется след, вот Дэнеш — лучший следопыт во всех частях света, а караван не мог уйти далеко… А это вот мои друзья…

— Эртхиа, — тихо позвал его Дэнеш. — Девушка, должно

быть, устала, и вовсе не интересно ей слушать, что ты о нас расскажешь. Мы девушке, конечно, поможем, но теперь пусть она поест и укладывается, нам недосуг занимать ее длительной беседой: с первым светом тронемся в путь.

Девушка изящно отщипнула кусочек лепешки, пригубила травяного отвара и тут же свернулась уютным клубком на кафтане. Эртхиа рукой потянулся к У Тхэ. Тот, подозрительно косясь на гостью, снял стеганый верхний халат. Эртхиа заботливо укрыл им девушку и сел рядом с ней.

— Вы спите, пожалуй. Мне не хочется вовсе. До утра самая малость осталась ночи. Я посторожу.

— Как хочешь, — пожал плечами Тахин, а глазами сказал: осторожно!

У Тхэ еще раз неодобрительно покосился на пришелицу, но не сказал ничего, а лег на землю, положил меч, как привык, где изголовье, и закрыл глаза. Дэнеш сделал то же.

Время замерло над их стоянкой или кралось на цыпочках, медленно-медленно, а утро все не наступало. Эртхиа пару раз ловил себя на том, что проснулся, а раз проснулся, то, выходит, и заснул перед тем. Он подумывал уже, не разбудить ли Дэнеша, но и шевелиться было лень.

Острый взгляд блеснул из-под стеганого халата, гибкая ручка высунулась наружу и коснулась колена Эртхиа.

— Так ты не спишь? — разом пробудился Эртхиа. — Отчего?

— Ночь так холодна, — сообщила девушка, приподнимаясь на локте. — Ты продрог, должно быть. И скучно сидеть ночь напролет. Все спят. Иди ко мне.

Эртхиа посмотрел на нее. То, что было в ней, снова коснулось Эртхиа, обволакивая, проникая в нутро, подчиняя. Благоухание снова поплыло в воздухе, но стало ярче, горячее, острее. Эртхиа сглотнул, чувствуя, как напрягается плоть.

— Как я могу обидеть гостью? — сквозь ком в горле выдавил он. — Ты здесь одна, без защитника, ты мне все равно что сестра.

— Да какая же обида, если я сама зову? — усмехнулась красавица. — Ты мне понравился, вот я и пришла. Испытала твоих спутников. Они тебе верны. Вот только, если бы я братца с собой привела, уж не знаю, как бы обернулось… Ну да нечего о том думать!

Красавица скинула халат и села, уткнувшись подбородком в колени. Искоса, лукаво поглядела на Эртхиа.

— Нечего о том говорить, — повторила. — О тебе поговорим. И тебя я испытала. Хоть легко тебя приманить, но и привычка к благородству в тебе сильна. Хороший ты. Нравишься мне. Иди ко мне, без опаски иди, беды не причиню.

— Отчего же мне опасаться тебя, женщина? — изнемогая, прошептал Эртхиа. — Ты меня опасайся. Не касайся меня, убери руку.

— Опасаться? Мне? — звонко рассмеялась красавица. — Тебя?

Придвинулась, обвила руками, лицом прижалась к лицу.

— Тише, разбудишь всех, — простонал уже Эртхиа, отлепляя ее руки от себя.

— Не проснутся, — пропела она ему в самые губы. Едва-едва коснулась их и отдалилась, посмотрела строго в глаза:

— Зачем пугаешь? Чего мне от тебя опасаться?

— Я — смерть, — прошептал Эртхиа. — Я убиваю. Все женщины мои — умирают. Как мне жить? Что теперь делать? Куда я иду, зачем? Ооо…

И тогда она, вдруг вся как-то изменившись, перевернувшись, обняла его совсем по-другому, обняла и стала гладить по голове, по спине, утешая. И утешала так, пока он не утешился, пока не подхватил ее на руки и не унес в темноту, дальше от стоянки, и там были они одни в темноте, а рассвет все не наступал.

Утром друзья кинулись искать его. Нашли на вершине холма неподалеку, и он спал, и не могли его разбудить. Проснулся, когда солнце вскарабкалось на самую середину неба. Долго зевал и мотал головой, озирался в недоумении, но ни словом не обмолвился о ночной гостье — и друзья молчали. Когда же стали собираться в путь, У Тхэ поднял свой халат и, выколачивая рыжие шерстинки, проворчал досадливо:

— Так и знал.

— Что же не предупредил сразу? — без упрека спросил Дэнеш.

— Так ведь и ты разве не понял — какие спутники, какой караван? И одета не по дорожному, и путь караванный далеко в стороне. Все понимали. Так, с краешку. А додумать не дала. Лисьи чары. Ничего не поделаешь. Только бы беды не вышло, — понизил он голос, косясь на Эртхиа. — Такой уморить мужчину ничего не стоит.

Эртхиа зевнул, встряхнул головой.

— Она хорошая. Сказала, куда идти. Не придет больше, — вздохнул с сожалением.

Дэнеш переглянулся с Тахином и развел руками.

О прибывшем издалека

Долгий путь подобен тяжкой болезни и неблагоприятен красоте.

Плетеный короб, — все, что осталось от парадного экипажа, в котором Сю-юн покидал Унбон, — водрузили на носилки. Занавеси в нем, истрепавшиеся во время пути, были заменены, повешены новые плетеные шторы, подновлена позолота на стенках, — все это было сделано за то время, пока Сю-юн поправлялся и отдыхал в уютной келейке самого дорогого из столичных ханов.

Тарс Нурачи принял все меры к тому, чтобы о прибытии его каравана говорил весь базар. Когда же его торопили открыть тюки и вынести товар на продажу, он отговаривался тем, что привез диковинные подарки для царя из дальних стран, в которых до него никто не бывал, и не может начать торговлю, пока не поднесет их повелителю. К концу первой дюжины дней ему предлагали огромные деньги за еще нераскрытые тюки — не глядя, и купцы спорили между собой, кто даст большую цену и получит товар. Нурачи всем кивал, поглаживал бороду и ничего не обещал.

Когда Сю-юн, готовясь предстать перед царем, вынул из ларцов и плетеных укладок наряды, и слуги купца развесили их проветриться на перилах галереи и расселись поблизости, охраняя, когда из келейки потянуло незнакомыми ароматами, которыми Сю-юн загодя окуривал одежды, выбранные для первого появления во дворце, — множество любопытных набились во двор хана поглазеть на шелка, играющие цветами невиданной, вдохнуть будоражащие ароматы, каких здесь не нюхивали.

Тарс был доволен. Доволен был и хозяин хана, потому что неудобно было заглядывать во двор просто так, без дела, вот и садились под навесом за скатерти, заказывали если не бараний бок, то хоть миску фула, хоть чашечку мурра, или уж на худой конец брали за мелкую монетку чистой холодной воды в запотевшей чашке, а кому неудобно обойтись так дешево — фруктового льда.

Сю-юн видел суматоху вокруг, и не замечал. Сильно беспокоило его то, что он совершенно неосведомлен в здешних обычаях и правилах. Впопыхах собираясь в неожиданное и нежеланное путешествие, он не придумал расспросить подробно господ Эр-хи или Дэн-ши, а теперь безжалостно бранил себя за скудоумие. Как узнать, семь или восемь одежд положено надевать

в присутствии здешнего царя, или даже девять? Если одеться меньше положенного, можно оказаться непристойно раздетым, а если больше — не оскорбит ли он царственную особу, имея на плечах больше одежд, чем сам повелитель? Должно ли войти в покой и только тогда опуститься на колени, или в помещение, где находится повелитель, надо сразу на коленях и вползать? А если идти — сколько раз нужно остановиться и преклонить колени? Тарс Нурачи не знал ответов на эти и столь многие еще вопросы, которые чем дальше, тем сильнее беспокоили Сю-юна. Впервые предстать перед царем и нарушить все мыслимые правила и приличия! Навлечь несмываемый позор на самого себя и, что страшнее, на господина, отличившего своим выбором и доверием самого никчемного из слуг! Сю-юн не мог ни есть, ни спать от этих мыслей, и красота не возвращалась к нему. Тогда Тарс, обеспокоенный этим еще сильнее, чем Сю-юн — парадным церемониалом хайрского двора, заставил его пить травяные отвары, от которых сон приходил как вражеское войско, скорое и беспощадное. Но эти отвары были еще приятны на вкус. А вот для того, чтобы Сю-юн не отворачивался от еды, Тарс пичкал его снадобьями такими горькими, что Сю-юн принялся есть через силу, лишь бы успокоить купца и избавиться от лечения. Тарс ликовал: помогает! И правда, обильная еда и долгий отдых вернули свежесть лицу, блеск глазам, плавность движениям. Пора, решил купец, и Сю-юну сказал: пора.

Что же было делать? В конце концов, решил Сю-юн, кто такой этот здешний царь? И надо ли так переживать, будто должен предстать перед самим Золотым Драконом? И разве Сю-юна вина, если у здешнего владыки не найдется более девяти парадных одеяний? Сю-юн снова раскрыл ларцы и укладки, перебрал наряды и выбрал пять нижних одеяний, одинаковых, цвета бледно-алого винограда, еще одно из багряного шелка, поверх него — из весенне-зеленой парчи, и два самых верхних: одно алое с узорной каймой, а другое прозрачное из шелковой дымки, с синим узором по белому фону. Прическу он сделал самую простую, потому что это всегда надежней, если нельзя рассчитывать на помощь специально обученных слуг, и потому что нечему в мире сравниться с красотой хорошо выхоленных, густых волос, соперничающих длиной с парадными одеяниями. Так что Сю-юн только две пряди по бокам лица смочил рисовым крахмалом, разведенным в воде и высушил у жаровни, придав нужную форму. Серебряными щипчиками удалил волоски бровей, тщательно набелил лицо и тушью провел две широкие черты на лбу, придав лицу выражение сосредоточенной почтительности, но в то же время не лишенное и нежной беспомощности, выражение,

как раз вошедшее в моду при ыском дворе, в точности как показывала ему госпожа Хон. Алым мазнул по верхней губе, как раз посередине.

Нарядившись, вышел во двор, где стояли уже готовые носилки, сел в них, с помощью слуг уложив красивыми складками полы всех девяти своих одежд, спрятал в рукаве маленький веер на сосновых планках и приготовился отправиться навстречу своей судьбе, какой бы она ни оказалась.

Тем временем, закончив сборы, Тарс вывел целый караван носильщиков из хана на улицу и послал вперед, во дворец, дабы груды подарков предварили его собственное появление. Расписанная зеленоватыми прозрачными тенями посуда из тончайшей белой глины была вынута из соломы, освобождена от многих слоев обертки и заново уложена в длинные ларцы с перламутровыми узорами на крышках. Шкатулки из черепахи, резного нефрита, ароматного дерева и серебра, свертки прозрачного дымчатого шелка и пятицветной парчи, веера, заколки, вышитые одежды, кипы тетрадей из превосходной бумаги, ковры и узорные циновки — все, сложенное на огромных подносах, предназначенных для подношений царю, было доставлено к воротам дворца к часу послеполуденного приема.

Множество слуг собралось в воротах и выглядывало из окон, потому что давно не видывали во дворце таких подношений. С тех пор как умерли отец и старший брат нынешнего царя — не видели ни разу.

С позволения привратника все вносили во двор и складывали перед широким крыльцом. Ковры развернули и расстелили на ступенях, открыв их мягкие цвета, необычайный выпуклый узор: кудрявые облака, бело-розовые цветы, длинношеих птиц.

Последними внесли и поставили посередине носилки, занавешенные плотным шелком цвета кураги с редким цветочным узором.

Следом вошел купец, одетый по-аттански, сверкающий перстнями, намасленной бородой и золотым шитьем кафтана. Хозяйским придирчивым взглядом он охватил все громоздящееся на белом песке великолепие, почтительно сложил на животе руки и отвесил глубокий поклон в сторону крыльца.

Далеко за его спиной теснились у открытых ворот любопытные, сопровождавшие шествие от хана до дворца. Стража грозно покрикивала и ударами ножен и древок копий возвращала обратно тех, кто под напором сзади вываливался из толпы во двор.

Расписанная зеленоватыми прозрачными тенями посуда из тонкой белой глины была вынута из сундуков, освобождена от

многих слоев обертки, переложенных соломой, и заново уложена в длинные ларцы с перламутровыми узорами. Шкатулки из черепахи, резного нефрита, ароматного дерева и серебра, свертки прозрачного дымчатого шелка и пятицветной парчи, веера, заколки, вышитые халаты, кипы тетрадей из превосходной бумаги, сложенные на огромных подносах, специально предназначенных для подношений царю, ковры и узорные циновки, и многое-многое сверх того было доставлено к воротам дворца к часу послеполуденного приема. С позволения привратника все вносили во двор и складывали перед широкой лестницей. Ковры разворачивали и стелили на ступенях, открывая их мягкие цвета, необычайный выпуклый узор: кудрявые облака, бело-розовые цветы магнолии, нездешних птиц.

Потом внесли и поставили посередине носилки, занавешенные плотным шелком цвета кураги с редким цветочным узором.

Следом вошел купец, одетый по-аттански, сверкающий перстнями, намасленной бородой и золотым шитьем одежды. Хозяйским придирчивымвзглядом он охватил сразу все громоздящееся на белом песке великолепие, почтительно сложил руки на животе и отвесил глубокий поклон в сторону крыльца.

Далеко за его спиной у открытых ворот толпились любопытные, сопровождавшие шествие от хана до дворца и во все увеличивающемся количестве присоединявшиеся по пути. Стража грозно покрикивала и ударами ножен и древок возвращала обратно тех, кто под напором сзади вываливался из толпы во двор.

Купец стоял согнувшись и глядя на загнутые носки своих парадных туфель красной кожи, расшитых цветным шелком. Концы пояса, свисавшие по обеим сторонам, касались бахромой песка. Наконец шум сзади смолк и разлилась торжественная тишина. Выждав, сколько положено, купец распрямил спину. Царь уже стоял наверху лестницы, окруженный свитой, и тени от опахал плавно скользили по его лицу и одеждам.

Он сделал милостивый жест рукой, и купец поспешил приблизиться и опуститься на колени, воздев руки и произнося положенное приветствие.

— И тебе блага по чину, купец, — задумчиво ответил царь. — Чего же ты намерен просить, если владеешь стольким?

— Нет, о счастливый царь! — воскликнул купец. — Все, что ты здесь видишь, принадлежит вовсе не твоему ничтожному слуге, а тебе самому и является подарком от твоего брата, моего государя Эртхиа Аттанского.

Акамие только сложил ладони: неподходящее время, чтобы

давать волю чувствам. Но хотелось удостовериться в том, что купец этот действительно встретил Эртхиа в дальних краях, где-то, где пересеклись дороги торгового человека и странствующего царя, и что привез он свежие новости о брате и его спутнике-ашананшеди.

— Где же ты его встретил?

— Выпало мне счастье встретить моего государя на краю мира, куда до сих пор и караваны не ходили, и сказал мне государь: «Собираешься ли ты домой, о слава купцов?» И я сказал ему: «Повелитель вселенной, я собираюсь домой». И тогда сказал мне государь: «Как же ты собираешься туда попасть?». На что я ему ответил: «Здесь тоже светит солнце, значит, мы еще на этой стороне мира, и раз так — есть путь обратно, и я пойду, пока не приду домой». Тогда государь сказал мне: «Не отвезешь ли ты подарки возлюбленному моему брату, повелителю Хайра?» «Это для меня обязательно и неизбежно!» — ответил я. И я взял то, что мне было поручено, и погрузил на верблюдов вместе с моим товаром, и пустился в путь, преодолевая степи и пустыни, и моря, и высокие горы, и непроходимые чащи, и клянусь, то, что видел я, до сих пор не видели глаза человеческие. И вот я пришел и доставил тебе, о счастливый царь, то, что было повеление доставить, и вот конец моей истории, и все.

Акамие обвел взглядом сверкающие груды, посмотрел на ковры под ногами.

— Большой караван ты привел, купец. Торгуй у нас, и да будет Судьба милостива к тебе за твою отвагу. Не передавал ли мой возлюбленный брат какого-нибудь известия? Что дороже подарка…

— Есть письмо для тебя, прекрасный владыка, собственноручно написанное моим государем. Вели своему вельможе взять его и поднести тебе, ибо я не смею приблизиться к твоему сиянию.

— Приблизься и поднеси мне его сам, ты, пронесший его от края мира.

И царь почтил купца, позволив ему подойти к лестнице и на коленях подняться по застеленным коврами ступеням, и сам спустившись на ступеньку навстречу ему.

Черепаховый футляр сразу занял и наполнил руки, и зазнобило от нетерпения остаться одному, извлечь свиток, развернуть и пробежать его жадно в первый раз, во второй и в третий, а потом медленно, слово за словом, строчку за строчкой… Сначала надо было отпустить купца.

Акамие окинул быстрым взглядом двор.

— А что там? Там, в носилках?

— Это тоже подарок от государя Эртхиа, — ответил купец и лицо его приобрело слегка игривое выражение. — И доставить его в сохранности было труднее прочего. Невольник, искусный в танцах, игре на заморских инструментах, чтении и письме на языке той страны, откуда он родом. Государь Эртхиа посылает его тебе — вместе с книгами, написанными на этом языке, ты найдешь их вон в том ларце и вон в том. В пути, по желанию государя, невольник учил хайри, которым я владею. Теперь он сможет перевести для тебя и, если будет на то твоя воля, продиктовать писцам эти книги, подобных которым не написано в наших землях. Государь Эртхиа сам подробно объяснил мне все это и наказал беречь его и доставить в сохранности, что я и выполнил. И этот невольник прекрасен до предела красоты, если только позволительно говорить о чьей-то красоте, склонившись в лучах твоего совершенства.

— Ты будешь вознагражден, — нетерпеливо кивнул царь. — Какова цена твоих трудов?

— О дивный повелитель, тебе нет нужды беспокоиться об этом, я только выполнял поручение моего государя. Не может и речи быть о вознаграждении.

Царь выслушал его, обернулся и отдал распоряжения хранителю казны.

— Итак, слава купцов, торгуй у нас — тебе выдадут все необходимые дозволения. Кроме того, завтра покажи свой товар распорядителям дворца. То, что они выберут, будет щедро оплачено, — царь взмахнул рукой, отпуская купца. И обернулся к стоявшему рядом ан-Эриди. — Пошли к привратнику, пусть закроют ворота. Непозволительно так искушать посетителей, и сколько стражи потребовалось бы поставить!

Ан-Эриди кивнул и в свою очередь повернулся к придворному чином ниже. Акамие же, передав корону в руки молодого ан-Шалы, сбежал по ступенькам и, огибая расставленные подносы с добром, приблизился к носилкам. Наклонившись, он отвел занавеску и заглянул внутрь.

Рисунок на веере был «Сосновая ветка», и планки, вырезанные из сосны, согретые в руке, испускали тонкий аромат.

Сю-юн держал полураскрытый веер на коленях, сложив руки одна поверх другой, и ни о чем не думал. Это было время ожидания, когда требовалось одно: быть готовым в любое мгновение предстать перед повелителем этой страны. Сю-юн знал, что краски на лице наложены безупречно, волосы гладко лежат вдоль спины, а две широкие пряди по обеим сторонам лица образуют изящный овал, почти сходясь немного выше нарядного пояса. Полы верхнего халата, громоздясь высокими складками,

занимали почти все свободное пространство внутри носилок. Взгляд отрешенно-спокоен, лицо неподвижно. О чем еще думать? Только пестовать в себе и сохранять это состояние полного соответствия каждому мгновению. Поскольку мгновения одно за другим притворялись одним и тем же, наиболее соответствовала им полная неподвижность. Замерли складки, замерли пряди, замерли ресницы. Не было ничего, кроме верности долгу и едва уловимого запаха сосны.

Очень легкие шаги, едва шурша по песку, приблизились. Еще не он. Занавеска качнулась. Совершив малый поклон, Сю-юн поднял глаза.

Тот, кто смотрел на него с любопытством и сочувствием, был молод, светловолос и очень высок: ему пришлось нагнуться, чтобы заглянуть внутрь плетеного короба. Сю-юн не стал пристально разглядывать его, чтобы не показаться дерзким, но успел заметить портившие лицо бледность, длинный шрам и чересчур большие глаза. Слуга? Но слишком много драгоценностей. Должно быть, вельможа, решил Сю-юн, и еще раз поклонился. Все правильно. Отчего он вдруг решил, что сразу предстанет перед царем? Так и должно быть. Прежде чем предстать перед господином, необходимо получить одобрение сведущего слуги.

— Ты понимаешь нашу речь? — ласково спросил молодой вельможа. Сю-юн кивнул.

— Прекрасно. Как тебя зовут?

Сю-юн ответил.

— Как? — переспросил вельможа. Сю-юн терпеливо повторил, зная уже по опыту, что его имени правильно выговорить здесь не могут, и объяснил:

— Имя цветка. Он белый, жить в воде и распускаться по ночам.

Акамие сначала не уловил смысла, следя за тем, как своевольно меняются местами и умножаются числом ударения в порхающей речи чужеземца. Потом понял.

— Я знаю такой цветок. По-нашему — Айели. Сиуджин?

— Сю-юн.

— Тебя проводят во внутренние покои. Мы увидимся позже. О тебе позаботятся.

Помолчал, вздохнул, добавил:

— Добро пожаловать.

И опустил занавеску.

Об отпечатке ладони

«А в доказательство того, что все написанное мною — истинная правда, я попросил его приложить руку к письму, чтобы ты мог видеть, и удивляться, и верить», — прочел Акамие и послушно удивился: ниже, коричневый, как и должна быть слегка обожженная бумага, растопырился оттиск ладони, как будто намазали руку краской и приложили, но кое-где бумага прогорела насквозь и осыпалась черной пылью.

Если это и не было бы истинной правдой, это было слишком прекрасно, чтобы Акамие мог не поверить. Вымысел ведь не смеет быть прекрасней правды, и как только он достигает совершенства, тут же и принимается на веру: так оно и было. Тахин обещал услышать голос своей дарны даже на той стороне мира, вот и услышал, когда Эртхиа сложил песню о нем. Огонь пожрал тело — огонь и вернул его. Во всем этом выражалась такая полнота равновесия, что сомневаться было смешно и кощунственно. Не говорил ли Сирин: «Судьба любит соответствия».

Акамие внимательно изучал отпечаток: уверенный, четкий, длинные пальцы, способные ловко управляться с рукоятью меча и стремительно пробегать по ладам. Акамие положил себе хранить это письмо в отдельном своем ларце вместе с другими памятками его привязанности к всаднику из Сувы. Может быть, Судьба позволит ему своими глазами увидеть Тахина и сказать, как он любит его. Может быть, Акамие даже осмелится просить о чести называть его братом. А Эртхиа — тот, конечно, уже побратался с ан-Араваном. Эртхиа каждому брат, кто тронет его сердце, а сердце у него чуткое, как слух матери у колыбели. Только зачем же он послал в такую даль это чужеземца, такого юного и хрупкого? Не для того же, в самом деле, чтобы переводил книги? Может быть, бедствия и гонения грозили ему дома, и Эртхиа предпринял это, чтобы спасти? Ни слова толком о нем в письме.

Надо идти и говорить с ним, и разбираться самому. Но раньше непременный ужин с сотрапезниками, обычай, восстановленный по настоянию ан-Эриди. Но еще раньше ашананшеди. Им — рассказать о стране Ы.

Не чувствуя в себе сил еще и на это промедление, Акамие просто оставил полураскрученный свиток на столике, похлопал ладонью рядом: читайте. В письме было и описание пути, выведанное у купца, и все, что успели узнать об обычаях и порядках родины Ашанана. И про Тахина. Дэнеш ведь говорил, что имя Кав-Араванского узника, великого мастера парных клинков, не забыто у ашананшеди. Читайте. Прикоснитесь к

отпечатку его руки. Никто из вас не ответит, почему от Дэнеша вести нет. Я и не спрошу.

О нетерпении царя

От сотрапезников Акамие отделался быстро. Прежде он собирал их, раз уж на этом настаивал вазирг, чтобы еще раз просмотреть и обсудить полученные от наместников послания, подтвердить и разъяснить отданные распоряжения, проверить счетные книги. Сотрапезники (тогда ан-Реддиль еще не входил в их число) не смели выразить неудовольствие. И только ан-Эриди однажды попросил царя распорядиться, чтобы унесли вино и лакомства, и отослать певцов.

— Или отдых и удовольствия, или труды правления. Я слишком стар, повелитель, чтобы совмещать занятия столь противоположные!

— Старый хитрец, — пробормотал Акамие, но приказал унести прочь тетради и свитки.

И все же — трудно было превратить собрание людей, полезных трону, в дружескую пирушку. Сотрапезников выбирал сам, и Акамие с ним не спорил, кроме одного-единственного случая. Появление за трапезой Арьяна ан-Реддиля вызвало немалое замешательство, но быстро все уладилось: между удалым насмешником певцом и старым мудрым ан-Эриди вечера потекли, как река между обрывистым и пологим берегами. Много пили, пели и смеялись, и Акамие приглядывался к своим вельможам, а они — к царю, и так привыкали друг к другу.

Но сегодня промедление изводило Акамие. Проницательный ан-Эриди, выждав приличное время, попросил позволения покинуть застолье под излюбленным и удобнейшим предлогом старческого нездоровья. Цену этим жалобам знали все и прекрасно. Вскоре его примеру последовали один за другим остальные сотрапезники, и Акамие осталось только снизойти к их изобретательным объяснениям и отпустить по домам в сопровождении слуг, несших кувшины вина и свернутые скатерти с угощением.

— Приведите его! — потребовал Акамие, едва переступив порог ночной половины.

Один из евнухов смиренными жестами привлек внимание царя, чтобы спросить:

— Повелитель желает, чтобы его умастили и убрали, как положено, или пусть остается в своем?

Акамие остановился, оглядел серьезные, исполненные почтительного внимания лица евнухов. Ай, спасибо, Эртхиа.

— Приведите его — немедленно, как есть.

О прибывшем издалека

Рисунок на веере был — сосновая ветка.

Евнух окликнул с порога:

— Царь желает видеть тебя.

Сю-юн плавно поднялся, оставив кисти опущенных рук соединенными, одна поверх другой, чуть вывернув их тыльной стороной кверху, самыми кончиками пальцев придерживая веер. Складки одеяний ожили, заиграли тенями и бликами, распрямились и потянулись следом за ним, шурша и присвистывая.

Евнухи откинули и придержали завесу на двери, чтобы пропустить поток шелка, заполнивший проем во всю ширину.

С потупленными глазами и смиренно опущенной головой Сю-юн вступил в просторный покой и тут же у порога опустился на колени и пополз, то и дело останавливаясь, чтобы совершить глубокий поклон.

Акамие наблюдал за ним, сидя, по своему обыкновению, на подоконнике. Он был озадачен и даже расстроен, но сделать ничего было нельзя, по крайней мере, теперь, сразу. Зачем ему еще один слуга — и слуга с такими глазами, как два узких черных зеркальца, в которые не заглянуть, с таким именем, от которого горько во рту и наворачиваются слезы?

Сиуджин остался на коленях, со склоненной головой, посередине комнаты, не смея поднять взгляд на господина. Акамие смотрел на него и молчал, не зная, что сказать, и смотрел так долго, что сквозь пелену в глазах и сквозь эту склоненную фигуру в ворохе шелков проступила другая, на этом же месте, в такой же поздний час, с такой же покорностью в склоненной шее и плечах, в сложенных руках, в терпеливой неподвижности. Акамие не мог не узнать — и узнал, и согласился с этим узнаванием. Он сам, это он сам.

И Акамие быстрыми шагами приблизился и опустился на ковер перед чужеземным рабом, взял за руки и заглянул в лицо. И такую растерянность, такое горькое разочарование он увидел в его лице, утратившем неподвижность, что сам растерялся.

— Что ты? Что с тобой?

— Я думать… Смею сказать… Прошу меня простить… Мне сказать… — торопливо забормотал Сю-юн, меняя местами ударения, путая слова хайри с родными.

— Что случилось? — всерьез забеспокоился Акамие.

— Мне сказать — царь… что к царю…

Акамие сдвинул брови, вслушиваясь в его шепот. Подумал

немного. Осторожно спросил:

— Ты ожидал увидеть царя?

Сю-юн кивнул:

— Прошу меня простить.

— А увидел меня. И огорчен?

Сю-юн промолчал. Акамие слегка сжал его руки и отпустил.

— Ну конечно, конечно… Ты надеялся — к царю, а тут…

— Если высокородный господин считать меня достойным, — вкрадчиво произнес Сю-юн.

— Да. Я понимаю.

Сю-юн тоже кое-что понял. Этот вельможа, видимо, очень близок к царю, может быть, даже состоит при его опочивальне. Может быть, даже… Но этот шрам? В Ы такого и близко ко дворцу не подпустили бы. Но если шрам был не всегда, если на здешний вкус такие большие глаза вовсе не уродство, то очень может быть, что прежде… Да, конечно. И теперь, зная вкусы государя, он отбирает для него наложников? Да. Почетная должность. Огромная власть. Сю-юн понял: во что бы то ни стало надо добиться благосклонности вельможи. Для начала он совершил еще один поклон, из самых глубоких, почти как царю. Но запомнил: пальцы у вельможи сплетаются, ему то и дело приходится расцеплять их, и взгляд убегает куда-то в сторону, и плечи сводит, как в ознобе. Отчего бы это?

— Царь не примет тебя сегодня. И завтра тоже. Твоей вины здесь нет — он занят.

Сю-юн кивнул.

— Расскажи мне о себе. Как случилось, что Эртхиа… государь Эртхиа Аттанский вздумал послать тебя м… моему царю в подарок?

— Мой господин сказать мне, государь Эр-хи просить его найти для своего брата, повелитель Хайра, такой же или лучше, чем его недостойный слуга.

— Чем — кто? — переспросил Акамие.

— Чем я, — скромно потупил глаза Сю-юн. — Но не найти.

— И поэтому…

— И поэтому мой господин оказать мне честь повелеть отправиться служить повелитель Хайра.

— Так у тебя был уже господин?

— Да, — качнулся в поклоне Сю-юн. — И быть всегда доволен мной. Именно он советовать государю Эр-хи выбрать меня.

Этот красивый, с набеленным лицом, с нелепыми черточками вместо бровей — прислан, чтобы стать рабом? Эртхиа искал лучшего. Чтобы переводить книги? Нет. Для чего? Непонятно это закрашенное лицо, непонятны эти зеркальные глаза. Что там с

господином, который отослал его так далеко — его, лучше которого не нашлось? Почему?

— Царь поручил мне заботиться о тебе, пока сам он занят.

Да, так. Назваться сейчас — приобрести слугу, раба, которых и так в избытке. Прежде стать другом — потом открыться.

И Акамие уже уверенно повторил:

— Позаботиться о тебе. И сначала устроить тебе удобное жилье, чтобы тебе не было тоскливо в непривычном. И приставить к тебе толковых слуг. Но это все завтра. Ты успеваешь за мной? Я хочу сказать — ты понимаешь, когда я так быстро?

— Каждое слово — нет. Все — да.

— И я понимаю тебя. Вот! Хорошо бы… Царь повелел, чтобы ты начал учить меня своему языку. Я хочу… То есть, чтобы я тоже мог читать царю эти книги — если они покажутся ему занимательными.

Сю-юн понял, чего добивается вельможа. Посмотрел еще раз на его сцепленные пальцы. Печально стать соперником человека могущественного, когда ты сам даже не очень хорошо понимаешь здешний язык. Ну что же. Так, видно, суждено. У Сю-юна было еще кое-что в запасе.

— Прошу меня простить…

— Что такое?

Сю-юн извлек из рукава листок полупрозрачной зеленоватой бумаги, сложенный в узкую полоску и завязанной сложным узлом.

— Срочное дело. Смею сказать: письмо господина Дэн-ши. Вручить повелителю. Срочно.

— От господина… как? — Акамие переменился в лице.

— Дэн-ши.

Рука Акамие мелькнула, но так же стремительно рука Сиуджина юркнула за отворот одежды, а сам он низко склонился, самым почтительным образом, однако письмо оказалось совершенно недосягаемо для Акамие.

— Прошу меня простить.

Акамие нахмурился.

— Дай мне. Я отнесу его царю.

— Только я сам. Только ему. Смею сказать: письмо написано на дэй-си. Только я мочь читать для царя.

— Да?

Акамие покусал губы, сцепил и расцепил пальцы.

— Послушай, царь будет недоволен. Дай мне письмо.

— Ни в коем случае, — твердо ответил Сю-юн, понимая, что благосклонность приближенного утрачена безвозвратно.

— Ну тогда переведи мне, а я пойду к царю и передам ему

слово в слово…

— Прошу меня простить. Ни в коем случае невозможно.

Сю-юн выпрямился, решительно глядя перед собой, веером прикрывая отворот одежды, за которым скрывался заветный листок. Он делал только то, что должен был сделать. Господин Дэн-ши сказал: только царю, из рук в руки, сразу по прибытии.

Акамие кусал губы, исподлобья глядя на Сиуджина.

— Я должен получить это письмо.

— Я умирать — высокородный господин взять. Я навеки опозорен.

Лицо забеленное, неподвижное.

— Ну хорошо, — согласился Акамие после долгого молчания. — Спрячь его получше, да смотри, не потеряй. Нет сомнений: родина ашананшеди именно там, откуда ты родом.

О сомнениях царя

Оставшись один, Акамие не мог заснуть. Не надо ли было сразу открыться? К чему эта игра?

Прости, Судьба, мою неблагодарность, какое счастье — не быть царем. Чем были годы, проведенные на ночной половине? Не самое счастливое время в его жизни, так, но… Все, что он знал, все, из чего мог выбирать: ложе и трон. Что бы он выбрал?

Выбора-то и не было.

Но вернуть, хоть ненадолго, свободу быть существом, хоть бы и мнимо, подневольным, беззаботным, не виновным ни в чем из того, что с ним происходит.

Он не знает, кто я, он не знает, повторял Акамие. Как заклинание.

У него был друг — старый мудрый Ахми ан-Эриди, вазирг, учитель.

У него был друг — бесстрашный и беспечный Арьян ан-Реддиль, воин, поэт, непоседа.

У него был друг — умница Хойре, евнух.

Но ему так не хватало Айели, такого же, как он сам, только слабее, кому он мог бы стать опорой, и кто его понимал бы, говорил бы с ним на одном языке. Ничто не повторяется. И чем настойчивее прельщают сходства и соответствия, тем пристальнее следует искать губительную разницу. Акамие знал это, но знанием вычитанным, не своим. Сиуджин. Айели. Чужеземец, беззащитный здесь. Нежный. Брат. Маленький брат. Айели. Нежность пришла на смену горечи.

Так и не заснув, провел ночь, разглядывая листы с картинами, на которых изображались вершины гор и верхушки сосен, облака, водопады между ними, гнутые крыши сквозных беседок. И люди, лицом похожие на Дэнеша, играли на флейтах, на маленьких барабанчиках, подносили к губам чашечки не больше лепестка розы, взмахивали голубыми клинками, хмурили брови, страшно выкатывали глаза и кривили угрюмые рты.

Рано утром, задолго до облачения в царское, поспешил в покои, отведенные Сиуджину. Следом несли накрытые для утренней трапезы столики.

Сиуджин спал на полу, стащив два одеяла с постели: на одно лег, другим накрылся. Вместо подушки из-под щеки выглядывал плоский ларец. Распущенные волосы лежали рядом на полу, их было так много, что они казались посторонним существом, отдельным от Сиуджина. Они были больше Сиуджина.

Акамие приблизился, чтобы лучше разглядеть его, пока спит.

У него в самом деле не было бровей, лицо казалось смуглым, с болезненной желтизной. Белила размазались, запятнав одеяло. Неужели он лег, так и не смыв краску, потому что ожидал все-таки встречи с царем?

Сзади послышался придавленный вздох: кто-то, долго не дышавший, попытался вздохнуть неслышно. Два евнуха из младших, принесшие столики, наблюдали за царем, вытянув шеи. Достаточно было слегка нахмурить брови — они исчезли за колыхнувшейся завесой.

Акамие снова повернулся к Сиуджину. И встретил острый взгляд — ни следа сонной дымки. От неожиданности этот взгляд показался враждебным. Акамие вздрогнул. Хотел сказать: вот ты какой! — а теперь, после этого взгляда, говорить было трудно. Рукой повел в сторону столиков. Сиуджин отбросил одеяло, поднялся на колени, согнулся в поклоне. Знаками показал, что должен поправить краску на лице.

— Просто умойся, — предложил Акамие. Он был смущен и расстроен.

Сиуджин перевязал волосы бумажным крученым шнурком и принялся стирать остатки белил листками тонкой бумаги. Акамие онемел: такой тонкой он даже не видел раньше никогда, а уж ему привозили много всяких диковинок из принадлежностей для письма.

Они уселись возле столиков, Акамие — скрестив ноги, Сиуджин — подобрав под себя.

— Сегодня отдыхай весь день, — сказал Акамие. — Вечером я приду, чтобы ты учил меня своему языку.

— Нужно ли мне быть готовым предстать перед повелителем сегодня? — озабочено спросил Сиуджин.

— Сегодня — нет, — чувствуя, что краснеет, ответил Акамие. — Отчего ты так торопишься?

— Нет. Я ждать столько, сколько угодно повелителю, но надо знать заранее, чтобы…

— Да. Я обещаю, что не дам застать тебя врасплох. Но послушай, кланяться во время еды вредно, так учат наши врачи: это беспокоит желудок и нарушает равновесие соков.

Так и пошло: он приходил утром, приходил вечером, не оставляя ни крохи себя Арьяну и Хойре, и только с ан-Эриди он бывал подолгу — ради дел правления. Он приходил утром и наблюдал, как Сиуджин рисует себе лицо, как укладывает волосы шелковыми облаками над головой, как вонзает длинные шпильки с резными навершиями, запахивает на себе немыслимых отливов шелка, завязывает пояса удивительными узлами. Вечером он приходил, и они садились в библиотеке, окружив себя

светильниками, вооружившись один — тростниковым каламом, другой — хорьковой кистью, и просиживали по полночи, толкуя друг другу мудреные слова, объясняясь при помощи рисунков, на пальцах, устраивая порой целые представления. Акамие восхищала точность и красота всех движений и поз Сиуджина. Он был такой же, и он видел, что Сиуджин понимает это о нем самом ответным пониманием, и так же восхищается движениями и позами, жестами и походкой. Они старательно подражали друг другу, выговаривая чужие слова, и Акамие казалось, что Сиуджин больше преуспел в этом, хотя его выговор порой смешил до слез.

Каждый раз Акамие спрашивал, не потерялось ли письмо, и требовал показать его хотя бы издалека. Сю-юн вынимал из рукава плоский ларчик, тот, что служил ему изголовьем, приподнимал крышку. Край зеленоватого листка призрачно светился. Акамие кивал, и Сиуджин прятал ларчик в рукав.

За это время перестроили покои для Сиуджина, сделав, как на рисунках. Удалили стену, отделявшую комнаты от сада и пристроили веранду с деревянной крышей, перекопали и заново насадили принадлежащий к этому покою уголок сада, вместо фонтана выкопали небольшой пруд, проложили русло для извилистого ручейка, устроили крохотный мостик. С гор привезли несколько старых арчовых деревьев с перекрученными, извитыми стволами, с корнями, выступающими из земли, в глубине сада соорудили горку из камней, рядом посадили молоденькую горную вишню. Царя развлечет это, уверял Акамие. Не передумал ли ты, не отдашь ли мне письмо? Нет. Ну хоть покажи.

— Ты надежный сторож. Что, если царь внезапно заболеет и умрет, так и не прочитав письма? — Акамие незаметно сложил пальцы в отводящий злое знак.

— Я выполняю свой долг, — потупился Сю-юн. — А высокородный господин — свой?

В его вопросительной улыбке Акамие почудилось осуждение.

— Ты думаешь, это я не допускаю твоей встречи с царем?

Сю-юн уклончиво улыбнулся.

— Я выполняю его волю, — отрезал Акамие. — Я должен получше узнать тебя, прежде чем…

— Как угодно повелителю, — согласился Сю-юн, непонятно поблескивая глазами. — И высокородному господину.

Сю-юн терпеливо ждал, когда повелитель удостоит его своим вниманием. Днем, когда вельможа, опекавший его, бывал занят, Сю-юн садился на веранде с пиба или тинем. Он начинал с того, что кланялся в сторонукомнаты, где, как он хотел представить, сидел господин У Тхэ, извинялся за то, что не имеет возможности

познакомиться с последними столичными новинками, — и странные, беспокоящие созвучия бередили, расталкивали тишину и будили дремлющих на ночной половине евнухов. Сю-юн наигрывал поочередно все мелодии, которые когда-либо исполнял для господина У Тхэ, и декламировал поэмы, которые читал для него, и пусть здесь никто не мог оценить его искусства, он старался проделывать все это наилучшим образом, и если ему казалось, что исполнение его недостаточно хорошо, он начинал сначала, порой помногу раз, и тогда каждый раз он представлял себе, что господин У Тхэ вот только что пришел и выразил желание послушать музыку или стихи. И когда приближалось время посещения вельможи, господин У Тхэ сообщал, что теперь ему пора, и Сю-юн провожал его до дальней стены (там он придумал калитку) и, кланяясь, прощался с ним.

И этого ему хватало, чтобы выжить.

О том, что было дальше

Акамие видел, что Сиуджин старается во всем ему угождать, и сам окружал его пристальнейшей заботой. И все-таки Сиуджин пребывал в постоянном и неизменном отчуждении, вежливо прикрытом услужливостью, многочисленными поклонами и извинениями, восковыми улыбками.

Однажды, когда они сидели с вином и музыкой, Акамие неожиданно даже для самого себя спросил:

— Ты и с царем будешь таким?

— Нет, — не задумываясь ответил Сю-юн. — С царем я таким не буду.

— Ты умеешь быть другим? — недоверчиво улыбнулся Акамие.

— Умею, — глядя спокойно и просто, сказал Сю-юн. — И я буду с царем таким, как должно.

— Почему?

Сю-юн удивился.

— Я приехал для того, чтобы служить ему. Мой господин доверил мне это поручение, и я ни в коем случае его не подведу.

Акамие задумался.

— Очень нелегко угождать царям… — сказал он наконец. — Не знаю, как в других местах, но в Хайре это очень нелегко. Тебе не кажется, что лучше было бы иметь друга, на которого можно положиться, советам которого можно доверять? Отчего ты сторонишься меня, когда я предлагаю тебе искреннюю дружбу?

Сю-юн помолчал, потом открыто посмотрел ему в глаза.

— Прошу меня простить…

Акамие терпеливо вздохнул.

— Прошу меня простить, но, как говорится, одна жемчужина не может жить в двух раковинах. Мы не можем быть друзьями, хотя я благодарен высокородному господину за его расположение ко мне. Думаю, царь до сих пор не захотел взглянуть на меня, потому что… Мы соперники, разве не так? Прошу меня простить.

Сю-юн потупился, но складка губ была прямой и твердой. Акамие подвигал кубком по столу, наполнил его и медленно, по глоточку, выпил.

— Скоро ты убедишься в том, что неправ. Смотри только, не оттолкни от себя царя своей холодностью и расчетливостью. Если я оттягивал час твоей встречи с повелителем, то для твоего же блага. Ты не ошибся: он мне… дорог. Конечно, я стремлюсь уберечь его от разочарований и боли. Насколько это позволяет Судьба. Если он… удостоит тебя своей привязанности, а ты

бесчувственный, как евнух, и не способен даже на дружбу…

— Это не так, — не поднимая глаз, возмутился Сю-юн. — Я не бесчувственный. Прошу меня простить. Но я вижу, что эта часть дома пуста, здесь нет ни одной женщины, кроме служанок, и никого, кто мог бы делить ложе с повелителем. Кроме высокородного господина. Разве он может желать, чтобы кто-то другой уменьшил его долю?

— Ты правильно рассуждаешь, мой прекрасный Сиуджин, и я не стану с тобой спорить. Скажи мне, можно ли приготовить твои покои к посещению повелителя за один или за два дня?

— Осталось немного, — с тихим вызовом ответил Сю-юн. — Завтра к вечеру все будет готово.

— Я распоряжусь, чтобы поторопились. Постарайся закончить все до темноты. После вечерней трапезы царь навестит тебя. Раз ты так хочешь. Но уж, прошу меня простить, — Акамие очень похоже поклонился, — ничему не удивляйся. Ничему.

И, как обещал, пришел вечером. Евнухи распахнули перед ним завесу, сдвинули в сторону бумажную дверь.

Сю-юн во всем великолепии шелковых одежд, слоями выглядывавших одна из-под другой, и огромной прически, неведомо как державшейся всего на двух длинных прозрачных шпильках, качнулся в низком поклоне и застыл, выпрямившись, но не поднимая головы. Курильница у стены выпустила извилистую струйку дыма, на свой лад повторившую изгибы складок, каскадом окружавших Сю-юна, извивы облаков на ширмах.

Акамие задвинул дверь за спиной. Он стоял и молчал, а потом сказал вовсе не то, что собирался.

— Прости. Ты действительно прекрасен. И я не хотел посмеяться над тобой. Я искал твоей дружбы, потому что одинок здесь, потому что… Ты ожидал другого? Нет, меня ты не обманешь, ты не смог бы никому отдать твое сердце, хоть бы твой господин тысячу раз приказал тебе это. Я понял, тебе нельзя оставаться здесь. Ты поедешь домой — через несколько дней, не позже, как только соберут караван. Я найду этого купца, и он доставит тебя невредимым, так же, как привез сюда, не будь я царь этой благословенной страны. Я дам хорошую охрану. Лучшую, какая бывает на свете. Прости меня. Прости.

Он только на миг осмелился заглянуть в распахнувшиеся глаза на белом, как белая бумага, лице, и, забыв о новом устройстве дверей, стремительно шагнул прямо сквозь.

Тут же вернулся, с досадой перешагнул разорванный край, протянул руку.

— Письмо.

Сю-юн, путаясь в многослойных рукавах, достал листок. Сжав его в кулаке, Акамие кинулся прочь.

О…

Там, где был затянут узел, бумага смялась и волнилась мелкими морщинками. В середине в несколько столбцов выстроились черные значки, похожие на спутанные клубочки. От волнения или еще почему Акамие не мог найти ни одного знакомого. Хрустящий листок в пальцах ознобно подрагивал. Я успокоюсь, сказал себе Акамие. Я успокоюсь и попробую прочесть его. Сам. И от своей вины, и от обиды стало невозможно обратиться за помощью.

Но успокоиться долго не удавалось, а когда удалось, он понял, что заснул, и его будят. Он рывком поднялся, прикрывая глаза ладонью.

— Что?

Ашананшеди посторонился, и Акамие увидел второго, стоявшего чуть поодаль и державшего за руку выше локтя Сю-юна, поникшего, в разметавшихся одеждах. Узел волос, полурассыпавшийся, лежал на плече, единственная шпилька косо торчала из него. В свободной руке ашананшеди держал длинный нож с чуть изогнутым голубоватым лезвием и косо срезанным острием.

— Что это? — повторил Акамие. Он не вполне пришел в себя после внезапного пробуждения, и его растерянность только возросла.

Первый ашананшеди распахнул одежду на Сю-юне и стала видна как бы тонкая красная линия, начинавшаяся над левой ключицей и спускавшаяся на втянутый живот, она оплывала потеками, и складчатые белые штаны пропитались красным.

— Он пытался убить себя.

— Откуда у него это?

Первый ашананшеди раскрыл перед Акамие узкий ларец и вытащил из него дощечку.

— Двойное дно.

Акамие подавил дрожь.

— Оставьте нас.

Ашананшеди тут же исчезли вместе с ножом и обманным ларцом. Акамие поднялся, взял Сю-юна за руку и усадил рядом с собой на постель. Сю-юн прятал взгляд.

— Что это ты задумал?

— Это единственное средство для меня избежать бесчестия, — ровно выговорил Сю-юн, не поднимая головы.

— Объясни-ка мне это дело.

— Мой господин назначил мне службу. Я оказался

непригоден, не справился, вызвал неудовольствие. Повелитель отсылает меня обратно. Я не посмею показаться на глаза моему господину. Я недостоин жить.

Акамие опустил лицо в ладони.

— Какова должна быть твоя служба? Развлекать царя? Угадывать желания? — Акамие повернулся к Сю-юну и с силой встряхнул его за плечи. — А большего ты не хочешь? Мне не нужны игрушки. Что такое твоя служба? Ты не принял моей дружбы, когда считал меня равным. И ты каждую минуту думаешь только о своем господине. И не спорь! — шепотом крикнул Акамие, когда Сю-юн встрепенулся. Сю-юн опустил ресницы. Акамие вытер ему щеку. На пальцах остались белила.

— Я знаю о тебе больше, чем ты можешь поверить. И я совсем не понимаю тебя.

— Повелитель все, все понимает, — в отчаянии прошептал Сю-юн. — Я ничего не могу скрыть от него.

Акамие притянул его к себе за плечи.

— Неправда. Помнишь, как ты сказал: не каждое слово, но смысл. А я понимаю слова. Но смысл ускользает.

— Прошу меня простить.

— Перестань кланяться. По крайней мере, не сейчас. Ты можешь?

Сю-юн посмотрел в недоумении.

— Я не знаю, как угодить повелителю.

— Меньше думай об этом. Как бы я хотел, чтобы ты просто мог уехать. Но теперь я ни за что не отпущу тебя. Не хватает малости: чтобы ты сам хотел остаться.

— Не имеет значения, чего я хочу.

— Кажется, я уже понимаю, — вздохнул Акамие. Огляделся. Письмо лежало возле подушки. — Помоги мне разобраться, что здесь к чему.

Сю-юн почтительно расправил листок.

— Господину Дэн-ши пришелся по душе обычай обмениваться короткими посланиями в стихах, и он изволил передать со мной такое послание повелителю.

— Он сам написал это? — удивился Акамие.

— Кажется, нет, — смутился Сю-юн. — Господин Дэн-ши не умеет писать на дэй-си. Он мог заказать надпись. Есть мастера, которые делают надписи за плату. Эта сделана у очень хорошего мастера.

— Прочитай.

Сю-юн произнес. И прижал пальцы ко рту:

— Теперь я понимаю…

Акамие тоже понял.

— Почему я не мог прочесть это? — спросил он.

— Существуют различные способы начертания, — запинаясь, произнес Сю-юн. — Мы читали написанное уставным почерком, придворными знаками и такими, которые используются для исторических сочинений. Личные письма… такого содержания… пишутся иначе.

Акамие подумал и произнес на хайри:

Без тебя
не жизнь
и не смерть.

— Да, — подтвердил Сю-юн. — Это так. Прошу меня…

— Хватит. Могу я положиться на тебя? Ты, может быть, меня ненавидишь. Я невольно стал причиной того, что ты разлучен со своим господином.

— Нет-нет, я буду преданно служить повелителю! Я должен загладить свою оплошность. Повелитель может быть уверен во мне.

— Разве можно приказать быть другом? — пожал плечами Акамие. — И для этого-то прислал тебя мой брат Эртхиа, да поможет ему Судьба!

— Будет очень, очень нетрудно выполнить такой приказ.

— Ложись, — велел Акамие, поднимаясь с постели. — Не хочу, чтобы об этом знали.

На растерянный взгляд Сю-юна ответил:

— Я сам займусь твоей раной. Никогда больше так не делай.

И полез в сундук за нужными снадобьями. И вот его руки смывали кровь, размачивали в вине травяные порошки, накладывали кашицу на чистую ткань и заботливо примащивали ее к ране. А сам он в это время бормотал непонятные Сю-юну слова, повторяя слово в слово за наставником Эрдани, но думал о другом. И, наложив повязку, присел на край рядом с Сю-юном и сказал ему так:

— Я вижу, что тебе не суждено счастье. Может быть, ты из тех, кто любит один раз. Мне казалось — и я такой. Но… Скажи мне, кто знает, какая любовь — любовь? Может быть, тебе суждено иное счастье, чем ты себе загадал? А если нет, то запомни: мы одной породы, нас Судьба держит в левой руке. В левой — не к добру, понимаешь?

— Понимаю.

— Неправильно я говорю. Нельзя так. Мы не знаем, что на следующей странице. Понимаешь?

— Понимаю.

— Но и если то же самое, что на этой — все равно, другой книги нам не дадут. Что я хотел сказать? Счастья тебе не дали. По крайней мере, сейчас. Не рви сердце. Я тоже. Ты читал письмо господина Дэн-ши. Он сказал за нас обоих. И за тебя?

— Да, — шевельнул губами Сю-юн.

— Ты не можешь вернуться?

— Ни в коем случае.

— Так будь со мною, как слуга и как друг. Мы не можем помочь друг другу. Но есть то, чего нам никто другой не даст, в чем нам никто друг друга не заменит: я могу не прятать от тебя мою боль, ты можешь не прятать от меня твою боль. Понимаешь?

— Понимаю.

— И боль, и надежды, и радости наши будут — общие. Научи меня всему, что умеешь. И я, если хочешь, буду учить тебя. И так незаметно пройдут наши ненужные жизни.

О том, что сделали ашананшеди

Из складок занавеси выступил невысокий, тонкий, темнолицый, с высоко подрезанной челкой, схваченный шнуровками и перевязями.

Сердце не глаза — не обманешь. На миг окатило счастьем, но кровь еще только приливала к щекам, а в груди уже оборвалось.

Не он.

И так каждый раз, когда по его зову или по необходимости ашананшеди представали перед царем. А он все уговаривал себя, и все не мог привыкнуть. Если бы сказать: на кого ни смотрю, вижу тебя.

На кого ни смотрю, тебя не вижу.

Нет утешения.

Ашананшеди поклонился, жестом показал, что должен говорить. Акамие так же безмолвно позволил.

— Повелитель. Мы уходим.

И замолчал.

Акамие кивнул по привычке поощрять собеседника. Только потом понял, что сказал ашананшеди. И понял уж все сразу. Снова кивнул, сказал:

— В страну Ы.

— Да, повелитель. Царям Хайра мы уже не служим, ибо ты дал нам волю. Тебе служить обещали, потому что не знали над собой истинного повелителя. Теперь наш долг — немедленно явиться в его распоряжение.

— И вы оставите меня?

— Мы не можем тебя оставить, потому что ты дал нам не только волю, но и саму родину нашу, которую отыскал шагата, отправившийся в странствия по твоему приказу. С тобой останется сотня лазутчиков, из тех, у кого уже есть сыновья, чтобы их род мог продолжиться в земле Ашанана. Об этом не будут знать, пусть все думают, что ты, как прежде, под нашей защитой — и никто не осмелится…

— Идите.

Ашананшеди оставался на месте, как будто ожидая еще каких-то слов, но у Акамие их не было, и не потому он молчал, что жалел слов для него или для его старших, пославших его. Через силу повторил: идите, и сделал знак рукой: уходи. Но все равно не мог остаться один, кто-то из них, невидимый, был рядом. Детская обида, которая так легко смывается слезами, от этого была остра и неотвязна как дурное предчувствие, и надо было заглушить его, а нечем. Акамие присел на постель рядом со

спящим Сиуджином.

— Хоть ты никуда не денешься от меня.

О строящих козни

Но следующей ночью забылись печали.

Когда за вечерней трапезой Акамие сидел с приближенными, сделал знак ан-Реддилю. И тот вскоре стал просить у царя дозволения уйти, и получив его, поспешил к потайной калитке, где Хойре встретил его и шептался с ним. А тот, кто сидел среди сотрапезников и видел, как переглянулся царь с ан-Реддилем, тоже стал проситься уйти, но Акамие подумал: «Не годится, чтобы он шел вслед за Арьяном, если он соглядатай — добра не будет». И отпустил его позже, вместе со всеми. И тот поторопился известить сообщников, что нынче день и час подходящие, и хоть долго ан-Реддиль не посещал внутренние покои, нынче, наконец, будет там.

И сговорившиеся евнухи собрались у покоев царя, прихватив кто скамеечку, кто курильницу потяжелее, чтобы ударами по голове сбить с ног ан-Реддиля, которого они опасались из-за его силы; и подняли крик, и ворвались в покои, но нигде царя с ан-Реддилем не нашли, ни в библиотеке, ни в опочивальне, ни в других покоях. И пришлось им уйти ни с чем, пристыженным и смущенным до крайности, опасаясь для себя царского гнева, когда все откроется.

А тот, кто все затеял, поспешил к царице и закричал:

— Отчего твои ашананшеди не предупредили этих евнухов, что царя нет?! Зачем допустили, чтобы случилось то, что случилось?

— А что случилось? — удивилась царица.

Он ей рассказал.

— Отчего же твой евнух, который тебе обо всем доносит, не предупредил тебя? И где он сам был? — спросила царица.

— Удача, что он не участвовал в деле нынче ночью. Хоть он останется при царе соглядатаем, а с этими и не знаю, что будет. Пропали они совсем — а царь вовсе евнухам доверять перестанет. Где же были твои ашананшеди?

— Слушай, что я тебе скажу: ашананшеди ушли из Хайра.

— Быть не может! Чего не придумает женщина, чтобы оправдаться!

— Мои, те, что были моего сына Эртхааны, мне сообщили под большим секретом, — и рассказала о письме Эртхиа, о земле Ашанана и об исходе ашананшеди из Хайра. — Но нам от этого не легче. При царе оставили сотню — лучших из лучших. И из моих остались двое, но нынче ночью они не одни в его покоях, и ничего не могли сделать: другие не дали бы им. Вот в чем причина.

— Значит, теперь мы не можем рассчитывать на твоих лазутчиков?

— Не можем — кроме крайнего случая. О мой сладкий, что же делать? Мы знаем теперь, что он проводит ночи в доме ан-Реддиля. И что? Там нет евнухов наших, чтобы подтвердить…

— Но все же!

— Да нет же, сладкий мой, нет свидетелей — нет и виновных, а в чем его уличить, в том, что ночует не во дворце? А кто запретит царю? Только пища для новых слухов…

— Хоть это.

— Да, ты прав. Это пусть, это хорошо. Надо распускать такие слухи. Нет свидетелей, и его не обвинить, но и ему не оправдаться. Но мало, мало! Неужели и впрямь ашананшеди — препятствие неустранимое?

— Погоди-ка, погоди… Есть одно… Но нечего и говорить об этом. Если б он был царем!

— Что это значит?

— Если б он был царем, как его отец!

— Тогда не было бы нужды уличать его…

— Я о другом. Знаешь ли ты, о женщина, что царь непременно должен идти с войском и что в походе царя охраняют не ашананшеди — всадники! Среди своего войска царь в безопасности. Есть при нем телохранители, и все — из знатнейших семейств Хайра. Понимаешь?

— А что тогда ашананшеди?

— Они заняты разведкой.

— Все?

— Все. А теперь, когда их всего сотня осталась, даже если бы сын рабыни вопреки обычаю оставил бы при себе нескольких, что с того? Но нечего об этом говорить. Сын рабыни воевать не станет.

— Это правда. Он малодушен и изнежен, воспитанный для ложа. Я слышала, что ему противно даже упоминание о войне. Сам он войны не начнет. Но, сладкий мой, разве нет средства начать войну за него?

— Начать войну за него? Что это значит, женщина?

— Хайр так велик, а царь в Хайре так слаб. Не найдется ли правителя…

— … Который поднял бы мятеж? Женщина! Что нам с этим делать?

— Убить сына рабыни.

— А потом?

— Но, сладкий мой, разве ты не смиришь бунтовщиков, если встанешь во главе войска?

— Я? — испытующий взгляд.

— А кто же? Наследник еще мал, кто-то должен опекать его до его совершеннолетия. Кто же, мой сладкий?

— Я? — взгляд лисы перед приманкой: и хочется, и верить нельзя, но хочется — сильнее.

— А ты сомневался? Наследник ведь останется в Аз-Захре, а ты будешь с войском. Устрой все как надо, и станешь первым человеком в Хайре, пока царевич не войдет в возраст. Да и мало ли что может изменить Судьба за это время. Она изменяет одни обстоятельства за другими. Джуддатара мне внук. Но сын мне был бы роднее. Что ты на это скажешь, сладкий мой?

— Скажу: да плодоносит твое чрево мне на радость. Кого же из правителей склоним к мятежу?

— Сладкий мой, а откуда родом ан-Реддиль, обманувший наши надежды?

— Но у правителя Ассаниды здесь в заложниках дети. Согласится ли он?

— Разве нет у него детей, кроме этих? И у кого из правителей дети не в заложниках? И, главное, скажи мне: сможет ли этот мягкосердечный казнить детей? Ассанида нам подходит: сын правителя, живущий здесь заложником, не старше Джуддатары, а девчонка, его сестра, и вовсе мала. Она еще, говорят, мочится в постель. Их ли не пожалеть? Говори об этом правителю Ассаниды, обещай твердо, рассей его сомнения и укрепи в нем надежду. Обещай, что за содействие в избавлении от позора Хайр вернет Ассаниде волю.

— А ты давно все обдумала, о владычица моя?

— О чем мне еще думать, одинокой, когда наши заботы уводят тебя надолго от моего лона? Утешься в сегодняшней неудаче: Судьба переменчива. А скажи, сладкий мой, если его убьют всадники, они ведь убьют его… не сразу? — и щурит, щурит длинные глаза.

— А как бы тебе хотелось, царица моя?

— Ну… — вздохнула равнодушно, — разве их удержишь…

О мнящих себя в безопасности

— Это такая игра — путешествие в Ла. В моей стране есть такая пристань. Между Ла и Унбоном дорога. А это селения по дороге. Нужно переставлять камушки по очереди, как выпадут кости. Кто первый доберется в Ла, тот и победил, — объяснил Сююн.

— Сиуджин научил меня этой игре, и вот: это доска, а на ней дорога. Только мы теперь едем из Аз-Захры в Кав-Араван и обратно.

— А почему в Кав-Араван? — спросил ан-Реддиль. — Разве не оттуда был ан-Араван, опозоренный и казненный?..

— Такова моя царская воля, — важно молвил Акамие, и все засмеялись, а он улыбнулся и опустил глаза.

На самом деле он выбрал дорогу в Кав-Араван, потому что путь этот был когда-то для него страшен, но в Кав-Араване он жил надеждой, и ждал, и дождался встречи. А возвращение из Кав-Аравана было любимейшим его путешествием. Ехали вчетвером: Эртхиа, озаренный весь своим чудесным возвращением с той стороны мира и нетерпением обрести обещанное царство и своих прекрасных жен; Айели, живой, заплаканный и счастливый надеждой увидеть повелителя Лакхаараа; молчаливый как всегда Дэнеш — и сам Акамие, еще не царь, еще свободный, еще вправе сквозь тревогу предчувствовать счастье.

И теперь, день за днем повторяя в игре два эти путешествия, он заклинал Судьбу, не выпрашивал и не приставал назойливо, но как бы невзначай напоминал: приведи ко мне его, ты ведь сделала это однажды, что тебе стоит? Теперь я знаю, что я выберу, и даже Эртхиа не удастся отговорить меня…

— Вот горы и долины, вот реки и водопады. Вот города и сады вокруг них, — объяснял тем временем Хойре, — а это постоялые дворы. Кто попал в город, пропускает ход.

— Почему?

— А базар! А красавицы!

— Хм… Ну ладно. Но ты потише о красавицах, — буркнул ан-Реддиль, покосившись на завесу, отделявшую часть комнаты.

Там, скрытые от посторонних взглядов, сидели Уна и Унана. Они тоже участвовали в празднике: разве не их проворные ручки приготовили лучшие лакомства для драгоценного гостя? Теперь и им можно было повеселиться за чашей вина и веселой беседой, и, поскольку ан-Реддиль принимал своих гостей запросто, можно было не чиниться и время от времени вставить словечко в беседу

мужчин. Им было видно все сквозь нечастое переплетение, потому что они сидели близко к завесе, а вот их видно не было, только тени от их рук взлетали и падали.

Арьян понимал, конечно, что при таких гостях не стоило и прятать женщин: Акамие ему сам давно сказал про себя, на Сиуджина достаточно было раз взглянуть (он хоть и оделся, и причесался попроще, но белилами не пренебрег и веер держал изящно в легких пальцах), а про Хойре и говорить нечего!

Но можно ли было лучше выказать уважение к странному и удивительному повелителю Хайра, чем приняв его в доме, как мужчину?

А перед завесой лежали, придремав, собаченьки, свет переливался на их вычищенных лоснящихся шкурах, когда они приподнимались, чтобы сладко зевнуть, выгнуться, нетерпеливо заклацать зубами, зарыв нос в шерсть над хвостом, почесаться хорошенько, с сопением и стоном.

— Да что в этом дурного? — шепотом оправдывался Хойре. — Это ведь игра только…

— Что ты можешь понимать в женщинах… — под мгновенно поймавшим его взглядом царя Арьян проглотил следующее слово и опустил глаза.

— Уж таковы они: сегодня будут смеяться, а назавтра скажут, что я нарочно в городах задерживался, — пошутил он виновато.

— А вместо камушков, — сказал Акамие, — мне сделали фигурки всадников из разных видов дерева, чтобы отличались цветом. Серебристый — из самшита, белый — из кизила, из сумаха желтый, а этот светло-коричневый, как наш Хойре, — из вишни. Про другие не помню. Сыграем?

— А если два всадника окажутся на одной черте, второй убивает первого, как в «Погоне», — загорелся ан-Реддиль.

— Что такое «Погоня»?

— У нас в Улиме есть игра, похожая на эту, с преследованием.

— Хорошо. Но тот, кого «убили», может начать путешествие сначала, — попросил Акамие.

— Только когда выпадут шестерки, — уточнил Арьян.

— А карту нам рисовали ашананшеди, и она точная, и по ней разрисовали доску для игры, — сказал Акамие. — Но тот, кого убили, пусть начинает игру сначала.

— Если выпадет дюжина.

— Мы тоже хотим играть с вами, — послышался нежный голосок из-за занавески.

— Да-а! — вторил ему еще один.

— А как же вы будете играть? — весело спросил Акамие.

— А мы возьмем свои кости и будем здесь кидать, а вам — говорить, что выпало. Вы наших всадников и переставите.

— А если вы станете хитрить? — покачал головой Арьян и посмотрел на царя: в самом деле им — можно?

— Не станем! — отвечали из-за завесы.

— Я буду присматривать за Уной.

— А я — за Унаной!

И стали играть вместе. Полночи играли. Потом, засидевшись, вышли на воздух, и Арьян показывал им, как умны его собаченьки: объяснив про гостей, что они все друзья, приглашал желающих спрятаться в темноте сада, а Злюка или Хумм мигом находили их по запаху, да не просто так, а из троих спрятавшихся на выбор — кого хозяин назовет. Найдут, возьмут руку между зубов мягко-мягко, и ведут к Арьяну.

— Дома так играли, — вспомнил Арьян. — Взрослым некогда, а эти — нашим детям и сторожа, и няньки.

Потом попросили ан-Реддиля спеть, и он спел им песен во множестве. Решили, что непременно в следующий раз Сиуджин захватит с собой пиба — он меньше тиня и его можно будет пронести незаметно.

— А услышат? — обеспокоился Хойре.

— И что? — беспечно отмахнулся Акамие. — Кто узнает пиба, если его не слышал никогда? На нас все равно не подумают. Никому не догадаться ни за что, где мы. Какая радость! Я так устал томиться во дворце. Узником был, узником и остался.

— А хорошо было бы выехать за город, в сады или в долину у реки, поставить шатры, взять с собой певцов и плясуний, пить вино и веселиться! — замечтался Арьян. — Охотиться поехать в горы. Хумм и Злюка валят медведя один на один, ты такого еще не видел, мой царь! — большой, грузный, заговорив о мужской забаве, он оживился, вытянулся вверх, тяжелые черты его лица осветились радостью.

— Не надо об охоте, дорогой мой ан-Реддиль. Единственная моя охота мне дорого стоила — и если бы только мне! А вот просто выехать в степь, хоть ненадолго… Оно, конечно, можно, но… Обо мне слухов не прибавится — некуда уже, и нового ничего не придумают. А вот тебе, Арьян, потом не отмыться.

— Если переодеть царя должным образом, так, чтобы его никто не узнал, то можно это устроить, — заверил Хойре.

— Не узнают, как же! — привычно отмахнулся от евнуховой мудрости ан-Реддиль. — С такой-то походкой! Тут хоть как переодевайся.

— Что походка! — так же привычно отмахнулся Хойре от поспешного суждения улимца. — Верхом он себя ничем не

выдаст.

— Ты неправ, мой дорогой, — сказал Акамие. — Брат мой Эртхиа бранился, что в седле я недостаточно ловко держусь.

— Я не знал, что ты умеешь держаться в седле… — удивился Арьян.

— Вот что за слава у меня! — пожаловался Акамие Сиуджину. — А ведь я участвовал в аттанском походе.

— Правда, — смутился ан-Реддиль. — Как я мог забыть? Ну так беды нет. Что ты не можешь отучиться от того, чему был обучен в детстве, — это беда. А в седле держаться ты просто недоучился. Это можно исправить. Видно, твой брат жалел тебя, и зря. Я берусь в три дня сделать из тебя всадника, какого не отличишь от прочих. Вот только…

— Да, — сразу понял и согласился Акамие. — Плеть — благо в руках учителя.

— А я, — сказал Хойре, — дам твоему учителю такую плеть, которая не оставит следов на твоей спине.

— Я один ничем не полезен господину, — сказал Сю-юн. И сразу Акамие наклонился к нему и шепнул:

— А ты утешишь меня после урока.

— И я дам тебе мои волосы, чтобы сплести косу.

— О нет! — воскликнул Акамие. — Что ты!

— Совсем немного, — одобрил Хойре. — Мы обошьем края головного платка, и наш повелитель будет совсем как раб, недавно получивший волю. Даже если он и будет неловок в седле, никто этому не удивится.

— Давайте выпьем еще, — предложил ан-Реддиль и потянулся за кувшином. — Как, ты говоришь, поется у вас в застольной песне? — спросил он Сю-юна.

— Чарочка вина, чарочка вина и еще раз чарочка вина! — пропел Сю-юн, принимая чашу из рук Арьяна.

— Не слыхал ничего подобного этой строке по краткости и полноте!

— Разумный человек, — строго поднял палец Акамие, — должен избегать употребления вина. Оно вредно для мозга и нервов, вызывает спазмы, помешательство в уме или еще какое-нибудь заболевание. Так говорится в Каноне врачебной науки.

— О мой повелитель, — сейчас же откликнулся Хойре. — Там говориться: «должен избегать употребления вина натощак»… А наш хозяин заботливо не допускает подобного.

— Ну так вот вам еще страшнее, — улыбнулся Акамие. — Пьянство вредно, оно портит натуру печени и мозга, вызывает заболевание нервов, сакту и внезапную смерть.

— Там сказано: «постоянное пьянство», — возразил Хойре.

— А что такое сакта? — с опаской спросил ан-Реддиль.

— А сакта — это утрата органами способности к ощущению и движению…

— Вследствие закупорки! — вставил Хойре, подставляя свою чашу, чтобы ан-Реддиль ее наполнил.

— И говорят знающие, — закончил Акамие, — что если сакта сильная, то больной не выздоровеет, а если слабая, то вылечить его нелегко. А как лечить от нее, я не знаю.

— Я тоже, — вздохнул Хойре и выпил чашу до дна. И все сделали то же.

— А что давно не слышно женщин? — шепотом спросил Акамие.

Ан-Реддиль заглянул за завесу.

— Спят, — так же шепотом объяснил.

— И нам пора.

О Ткаче

Скользя по вырубленным в скале ступеням, вчетвером они поднимались к башне. Тахин рвался идти первым, но ему не дали. Лед под ним шипел и вскипал пузырями.

— Все равно мне, хоть вам будет легче…

Но Эртхиа упрямо полез вперед, а за ним Дэнеш и У Тхэ, потому что сил больше не было это видеть. Всю бесконечную осень, всю вечность унылых моросей и беспощадных ливней, всю зиму непроглядных метелей, сугробов по грудь, морозов, от которых небо звенело тонким зловещим звоном, весь путь, с тех пор, как, повернув на север, они пересекли степь между гор и через непроходимые леса шли и шли и вышли к Последнему морю и пошли на закат по его берегу, так у точно надеясь не пропустить баши Ткача, — все эти бессчетные дни Тахин был для спутников спасением и единственной надеждой. Он был их огнем, согревал промокших до нитки и до костей продрогших, не давал замерзнуть насмерть морозными ночами, он был огнем неугасимым, единственной надеждой на безлесных пустых берегах.

Но Дэнеш, Эртхиа, У Тхэ знали: время пути было для Тахина временем пытки. Вода, льющаяся с небес, вода тающих под его шагами снегов причиняла ему боль, не было ему отдыха от нее.

И когда берег поднялся и навис над гремящим прибоем, когда показались обнажившиеся от ветра каменные горбы и Тахин смог выбирать себе удобный путь и хотя бы изредка отдохнуть от пытки, улыбки вернулись на лица его спутников, иссеченные ветром, обожженные морозом, исхудавшие.

Они стали двигаться быстрее и вскоре увидели перед собой скалу среди скал, указывающую ввысь воздетым перстом одинокой башни, сложенной из валунов, к подножию которой карабкалась узкая лестница со ступенями неравной высоты. Она начиналась так низко, что волны окатывали нижние ступени и брызги доставали едва не до середины лестницы, и там она была покрыта рваной ледяно коркой.

Им пришлось спуститься к началу лестницы и начать медленный, трудный подъем, и одолеть его. А наверху их ждала распахнутая дверь и на пороге хмурый человек, закутанный в меховой плащ. Он подал каждому из них руку, помогая преодолеть последние ступени и выбраться на узкую каменную площадку. И только Тахин помотал головой и не принял руки. Хозяин башни посмотрел в его глаза и кивнул.

— Не мне, — сказал он.

И широким взмахом руки пригласил их в башню.

— Я знаю, зачем вы пришли. Но прежде всего вы трое спуститесь вниз. Горячая вода и сухая одежда, а после — сытный ужин и теплые постели. И ни слова о деле до завтрашнего утра. Вот дверь, вот лестница, факелы горят, вода кипит. У меня нет слуг, послужите друг другу по-братски.

— А ты, тебе нужно другое, — сказал он, обращаясь к Тахину. — Оставь беспокойство о твоих спутниках и отдохни. Все вы здесь в безопасности — до утра.

— А что за беда нагрянет утром? — спросил Тахин, едва шевеля бледными губами. Они дошли, и теперь силы оставляли его.

— Утром твои спутники захотят торговаться с Судьбой, и тут я ни за что не ручаюсь.

— В чем же опасность?

— В том, что выбор за ними. Тот, кто не видит дальше десяти шагов, — как ему выбирать на распутье.

— А они на распутье?

— Здесь все на распутье. Оставь это. Всегда и везде человек на распутье, даже не зная. Глаза у тебя закрываются и ноги тебя не держат, ты бледен, твой огонь едва дышит. Оставь заботы. Нет у меня для тебя ничего мягче камней моего очага. Ложись и спи. Этот огонь вернет тебе силы. Твой путь еще долог и цель твоя из тех, что недостижимы.

— Ошибаешься, Ткач. У меня нет цели и нет пути, кроме пути моих друзей.

— Ошибаешься, Пламень. У тебя есть цель, и ты ее знаешь, и она тебе желанна.

— Она недостижима.

— Я так и сказал. Ложись здесь. Твои спутники разумны и не затаят обиды, если ты не сядешь за трапезу с ними. Вот твое омовение, трапеза и ложе. Спи.

И едва голова в тускло-медных спутанных кудрях опустилась на камни очага, едва сомкнулись блеснувшие новым золотом ресницы, едва огонь коснулся зарумянившейся щеки, Ткач подхватил пальцами завившуюся, заигравшую бликами прядь и скрутил, и помял, как бы примериваясь к пряже. Покачал головой. Глаза его опустели, налились иным, отдаленным светом.

— Ты увидишь больше, чем могут увидеть глаза, и ослепнешь, и красота сожжет в тебе то, чего не одолело пламя. Останется то, что неодолимо. Спи. Это еще далеко.

И выпустил прядь, и сунул в рот обожженные пальцы.

Когда Дэнеш, Эртхиа, У Тхэ вошли наверх, они увидели огромный зал, высокие стены которого увешаны коврами всех

видов, какие бывают на свете, и войлочными кошмами в крючковатых узорах, и густыми ворсистыми, и мохнатыми беспорядочной пестроты, и жесткими тугими из грубой шерсти, и составленными из кусочков меха, и даже циновками, какие делают в стране Ы. Посреди зала жарко пылал огонь. Тахин свернулся, положив голову на камни, обрамлявшие круглый очаг, концы волос, сильно отросшие за время пути, терялись в пламени, ладони, сложенные под виском, щека, веки и лоб отсвечивали золотым.

Ткач вышел из-за высокого огня. Теперь они могли разглядеть его. У него были темно-серые глаза, яркие на белом лице, яркие от света, бушевавшего в них. Казалось, если бы этот свет вырвался, он затмил бы пламя очага. А так просто трудно было в них смотреть. Его облик не имел никаких примет возраста, и так же нельзя было сказать, насколько ткач стар, как нельзя было сказать, насколько он молод. Просто высок, угловат, узколиц. Белые волосы валились на плечи, рассыпались жесткими остроконечными прядями.

— Зовите меня — Данхнэл. А ваши имена мне известны.

Не удивляясь и не рассуждая они уселись за стол, на котором в соседстве оказались жареная дичина и печеные на углях рыбы, вареные овощи и рассыпчатый рис, пышные хлебы и тонкие лепешки, горячее вино, распускавшее ароматы семнадцати трав, и пиво в увенчанных искрящейся пеной кувшинах, миски с лесной ягодой и розовый виноград.

— Вы люди разумные и опытные, — сказал ткач, садясь с ними за стол, — вам все равно, откуда берется здесь еда, а мне недосуг объяснять. Вы ведь не в ученики пришли проситься? Я так и знал. Думаю, каждый из вас сможет найти здесь что-нибудь по вкусу.

Насытившись, они увидели три кипы отлично выделанных шкур, тканых одеял и одеял пуховых. Уходя, ткач пожелал им доброго сна и движением пальцев пригасил огонь в очаге.

И прежде чем наступило их завтра и они проснулись, все в одно и то же время, солнце раз пять или семь проплыло над башней и столько же раз ночь вывешивала над ней сверкающие сети созвездий.

— Откуда ты знаешь, зачем мы пришли?

— Сюда все приходят за этим. Я не могу прямо предупредить или предостеречь вас. Но могу рассказать вам одну историю, о чем она каждому из вас скажет, в том и будет для него предупреждение.

Вечерний Король проезжал своим путем по берегу реки, свита следовала за ним. Мельникова дочь вышла унять тоску светом

первых звезд. Но ярче звезд глаза обитателей Вечерней страны.

С той поры не знала утешения мельникова дочь, пока не отважилась отыскать башню Ткача. Пришла выпросить у него такой ковер, в котором соединились бы судьбы ее и Вечернего Короля. Ткач отказал ей.

Но она не ушла, мокла и мерзла на ступенях, кричала, что лучше умрет здесь, чем вернется в отцовский дом, где ей сужден в мужья немилый.

Никто не должен умереть на этом пороге. И Ткач открыл.

— Чем заплатишь за ковер? — спросил.

— А что попросишь?

— На много ли согласна? — спросил.

— На все.

— Добро. Плату сама принесешь, после.

— Так что ты хочешь?

— Что сама принесешь, — сказал.

И соткал ей ковер.

Она вернулась в дом и вышла на берег реки, и в тот же вечер Король увез ее с собой, потому что мельникова дочь была красива.

Но утром ее нашли беспамятную на берегу, и, очнувшись, она твердила, что семь лет прожила у своего мужа, короля, во дворце.

Жених отказался от помешанной, а вскоре обнаружилось, что девица в тягости, тогда и родные выгнали ее — от позора.

На берегу реки, под ивой, разрешилась она сыном, не хватило духу утопить его, понесла к Ткачу: кто во всем виноват, кто ненастоящее счастье соткал?

Принесла и положила на пороге, и тогда вспомнила об условленной плате, и заплакала, и ушла.

— И что с ребенком? — спросил Эртхиа.

— Это я.

— А где же Ткач?

— Это я.

— А тот, прежний?

— Тебе нет нужды знать об этом.

Эртхиа тряхнул головой, помолчал. Хотел спросить, но тут его опередил Тахин.

— Но цена и теперь та же?

Эртхиа закивал, соглашаясь с вопросом.

— Цена та же во все времена. То, что окажется лишним.

— И это всегда больше обретенного?

Ткач пожал плечами.

— Что сочтете лишним…

— Только заранее этого никто не знает, — удивился Эртхиа.

— Так о чем вы будете просить? — напомнил им Ткач.

— Вот, — сказал Дэнеш, — я пришел сюда как спутник, у меня нет к тебе просьбы.

И, помолчав, добавил:

— Я рад этому.

Тахин сказал:

— Я не знаю, о чем просить. Из того, что может быть, я ни в чем не нуждаюсь. А невозможное разве откликнется на просьбы? Надо искать.

У Тхэ только головой покачал в знак отказа. Тогда заговорил Эртхиа.

— Я пришел сюда, чтобы обрести больше, чем то, что у меня было, чем то, что я потерял. И если все это придется отдать в уплату, я и не знаю, зачем было идти. Лишнего у меня в жизни нет ничего. Зря мы шли сюда. Мне ничего от тебя не нужно. Зря мы шли сюда.

— Не зря, раз ты здесь это понял, — ответил Ткач. — Разве ты не знаешь того, в чьих руках средство исправить судьбу? Не нашел его в странствиях?

— Я думал, это ты, — разочарованно ответил Эртхиа. — А так… Раз это не ты… — он оглядел своих спутников задумчиво, не торопясь. — Нет, — твердо ответил. — Я его еще не нашел.

— Так иди ищи, — рассердился Ткач. — Не трать время попусту. Поворачивай домой. Если не найдешь на обратном пути — без толку дальше искать. Я не собираюсь помогать тебе в поисках, но приведу к берегу корабль, который обогнет мир по краю и отвезет вас поближе к дому. Может быть, это хоть немного сократит твой путь… Сколько времени ты потратил впустую!

— Но я искал тебя!

— Да не меня тебе надо было искать, а…

— А кого?!

Но Ткач вдруг стал спокоен, даже улыбнулся уголком рта.

— Если тебе суждено, ты успеешь, а если не суждено… Нечего жалеть о потерянном времени. Теперь отдыхайте, пока я найду корабль, который вам подходит, и подманю его поближе.

И он подманил им корабль. Тарс Нурачи, купец аттанский, оказался на нем, довольный, торжествующий: открыл новый путь с юга на север.

— Так вокруг всего мира на корабле и плыть! Ни товар перегружать, ни пошлины на заставах платить, ни разбойников лесных. Обратно тем же путем пойду. Отсюда вдоль берега сто дней, там перегрузимся один раз, караваном до Авассы, там в Шад-даме поторгую — как раз к тому времени они от своего великого праздника в себя придут, — и, считай, дома! —

торжествовал Нурачи, ничуть не удивляясь новой встрече с царем. Носит ветер человека по всему лицу земли, что ж такого? Нурачи и сам такой.

— Да ведь я тебя в Хайр отправил, — тормошил его Эртхиа. — С подарками. Как же?

— Да это когда было? — удивлялся купец его беспокойству. — Благополучно доставил, все в сохранности. До подарков ли теперь повелителю Хайра, не знаю, но наградил меня выше всякой меры.

— Что значит: до подарков ли? — тут же оказался рядом Дэнеш.

Купец и рассказал, что в Хайре междоусобица великая, царь пустился в бегство, на трон воссел было малолетний наследник ан-Лакхаараа, повел дело круто, да царствовал недолго, и теперь резня по всему царству, только в Удже спокойно: купцам все равно, кому пошлины платить, лишь бы не мешали, а между Аз-Захрой и Уджем отличная большая пустыня, прекрасно проходимая для каравана, но не для войска. И думают в Удже, что и вовсе не нужен им никакой царь, а купцы, если уж базар в порядке держат, могут и с целым городом не хуже управиться, а войско можно держать наемное.

— Погоди ты с войском, — перебил не поспевавший за его скороговоркой Эртхиа. — Что с царем-то? С Акамие?

— Скрылся где-то в горах. В брошенном замке. Держали его в осаде, а к зиме осаду сняли: снег ему осада. Говорят, там даже лазутчику не пробраться. А я вовремя из Хайра убрался. Как услышал, какие песенки про царя поют…

Эртхиа с Дэнешем переглянулись.

— Кав-Араван!

— Больше негде.

— С ним должны быть ашананшеди, — хмуро напомнил Дэнеш.

— Да нет их больше в Хайре! — встрял всезнающий купец. — Все ушли. Тайно. Говорят, в страну Ы, откуда родом их предки. Ни одного не осталось.

— Тахин, а мы к тебе в гости, — вскинул голову Эртхиа. — Из Авассы сначала в Хайр, заберем брата, а потом и домой — все вместе. Сколько дней ты сказал, купец?

— Сто.

— А не заходить в порты?

— Как же торговля?! — ужаснулся Нурачи.

— Никак! — отрезал Эртхиа. — Сколько дней?

— Десятка два отнимется… Но нельзя так!

— Сколько хочешь выручить за твой товар?

Купец побледнел, покраснел, выпучил глаза и бухнул цену.

— За половину беру! — рявкнул в ответ Эртхиа, и пошла торговля. Ударили наконец по рукам, когда волосы у обоих уже висели сосульками от пота, а сорванные голоса еле хрипели.

— Как дома побывал, — просиял Эртхиа.

— Да уж, по всему базару слава, как ты торгуешься, повелитель.

— Это еще не тот торг, — помрачнел Эртхиа. — Деньги получишь в Аттане. А товар — за борт. Сейчас. За сколько дней дойдем?

— Убиваешь… — просипел обезголосевший купец.

— Сколько? — схватил его за воротник Эртхиа.

— Еще дней двадцать прочь.

— Успеем раньше — проси, чего хочешь.

— Э! — с отчаяния махнул рукой купец. — Пожалуешь мне одному право возить пшеницу из Авассы?

— Элесчи потеснить хочешь? Тестя моего?

— Так ведь не тесть еще…

— Идет. Из-за Элесчи вся эта каша и заварилась, — нашел виноватого Эртхиа. — Надо было сына как следует воспитывать.

О том, как царю привиделся Старик

Как часто бывало, после пира с сотрапезниками сидел царь со своим вазиргом в крайнем покое, ибо дальше, во внутренние покои, не было хода вазиргу, хоть пустовали они.

Несмотря на поздний час старый ан-Эриди одет был строго, во все положенные ему по чину одеяния, и отчетливо гремели друг о друга изломы золотогошитья, оправы камней в кайме, и звук этот, среди многих подобных неслышный днем, в окружении так же наряженных придворных и при царе, чьи одежды еще тяжелее и звонче, теперь был странен. Царь сидел, как любил, запросто, на подушках, кинутых у окна, в легкой белой рубахе, совсем простой — только жемчуг в дюжину рядов на плечах и по краям широких рукавов. Ногой в легкой туфле покачивал царь и шлепал подошвой по голой пятке.

Отца его никогда не встречал в подобном виде старый вазирг. Отец его растил наследником себе старшего из своих сыновей — Лакхаараа. А вырастил вот этого, сам, по своей воле предназначив новорожденного сына для ночной половины. Непорядок жестокий и отвратительный был в этом, хоть не пристало кому бы то ни было обсуждать дела царя в сокровенных покоях его дома. За этот непорядок платить Хайру, потому что царство — это царь, и глубже эта связь, чем могут вообразить непосвященные.

Но не при отце нынешнего царя наступило время расплаты. Теперь, когда на троне этот. Ан-Эриди посмотрел на царя снова, и смягчилось в нем сердце: совсем мальчик, и кости в нем еще мальчишеские, и губы, и глаза. Вдвое старше он нынешнего наследника Джуддатары, всего вдвое — девятилетнего мальчишки. Такой же ученик, наставлять его и наставлять. Хочет отдать престол власти наследнику, едва тому минет четырнадцать. А того не понимает, что ребенку и престол — игрушка. Сам-то царь внимателен к наставлениями и вразумлениям, прилежен в науке управления, усерден в исполнении своих обязанностей. Таков ли будет Джуддатара…

Большую ошибку делает царь, что не призывает наследника во дворец присутствовать в совете. Те, кто окружает мальчишку, рады нашептать, мол, дядя погубил отца, а сына не пустит к престолу. Но и это не вся беда. Нерадив, неусерден Джуддатара, не хочет начинять пустую голову премудростями государственного разумения, драгоценными сведениями о делах времен и людей, от чего зависят благо государства и спокойная жизнь людей, его населяющих, либо разруха, смута, восстания. И

хоть бы так с ним было, как с царевичем Эртхиа, который был непоседлив, но имел трепет перед мудрыми и не стал бы пренебрегать разумным советом. Стал бы царем, охотился бы, веселился бы, песни пел бы, пропадал бы на ночной половине, не мешал бы вазиргу править. Воевал бы, когда скажут, женился бы, когда скажут. Когда нельзя жениться — наложниц бы брал. Не таков Джуддатара. Учиться не любит, а мнит, что знает больше всех в семи частях света. Что ни скажи ему — неодобрение во взгляде, пренебрежение. И еще — ожидание, спокойное, несуетливое ожидание своего часа. От такого взгляда словно холодное железо совали за шиворот вазиргу. Знакомый был взгляд. Словно не Лакхаараа — Эртхааны был сыном наследник. Эртхаана тоже долго рос при царице Хатнам Дерие. Болезненный был, не годился к воинскому воспитанию. Джуддатару же царь сам упустил. Раньше надо было отнимать у бабки.

А может быть царь чуял что? Много непостижимых качеств в этом царе, воспитанном не для царствования, а для угождения царствующему. Говорили ведь, что он единственный почуял смертельную опасность для царя Эртхабадра, когда пировали в захваченном Аттане во дворце аттанских богов. И он же принес исцеление бывшему уже все равно что мертвым царю. Ко многому скрытому от глаз есть у него чутье. А уж дух Эртхааны он должен бы чуять издали-издали.

И, может быть, прав этот царь, что не выводит перед всеми Джуддатару, как своего наследника, хоть и объявил, — и следует вазиргу подождать и посмотреть, что сделает Судьба. Если до сих пор не уличен царь в том, чего все от него ждут, может быть, иное ему предначертано? Ведь может быть и изменен порядок наследования. Не братья один за другим по старшинству, а потом — старший сын старшего брата и опять все сначала… Если бы вдруг женился царь и родил сыновей — как многое могло бы измениться! Может статься, Хайр простил бы ему его детство, проведенное на ночной половине, может статься, и Джуддатара не дожил бы до совершенных лет. Людям свойственно болеть, и многие болезни смертельны.

Ахми ан-Эриди снова поглядел на царя. Были у вазирга сыновья и младше, но вдруг почувствовал к царю нежность, как к младшему сыну. Увидел: несчастный ребенок сидит перед ним, с рождения подвергшийся бесчисленным унижениям, ведь так и воспитывают предназначенных для ложа — чтобы не осталось в них гордости, не осталось их самих ни в одной жилке, и высшим мнили бы доставить наслаждение господину, а об ином помышлять им и незачем, и вредно. И этот так же — но где-то в тончайших складках сквозного шелка, в шелесте и звоне

украшений, в тени потупленных ресниц утаил себя — не гордость, но кроткое достоинство, которого ни царская милость, ни немилость не смогли уничтожить. Но как ему — царем?

— Ничто ведь не препятствует тому, чтобы повелитель снял с себя тяготы правления и только наслаждался своим положением. Разве не доказал я моей верной службой, что царь может…

— И ты сделаешь все как должно, но не так, как согласен я? — вздернул брови царь.

— Повелитель всегда ведь со временем видит разумность моих советов, — сказал ан-Эриди. Вот еще доказательство того, что не способен к власти этот юноша. Разве посмел бы вазирг такое сказать его отцу или любому из его братьев, даже Эртхиа?

— Когда увижу разумность, тогда и соглашусь. Да. И не всегда ведь я соглашаюсь с тобой?

— Да повелитель, это правда. Еще не во всем мы достигли согласия.

— Ах, как ты повернул: еще не во всем! — царь уронил с ног туфли, стал на ковер босой, подошел к вазиргу и сел рядом. — Хорошо же. Скажи, разве не достаточно того, что по моему указу все важные дороги мостятся камнем для удобства проезжающих. Разве не достаточно, что разбиваются новые сады вокруг городов и заложены прекрасные дворцы, что людей мудрых и ученых я собираю здесь, чтобы прославился Хайр у всех народов? Или что крытые рынки, как в Аттане, приказал я строить, чтобы больше караванов приходило к нам и чтобы Хайр богател, не проливая ни своей, ни чужой крови? Что мне сделать, чтобы любили меня? Чего им не хватает?

— Повелитель мой знает, чего, — с искренней заботой сказал ан-Эриди. — Любить тебя не будут, бояться не будут. Но можно устроить, чтобы терпели.

— И получается, что для мира в стране я должен занять всадников, для мира во дворце — евнухов. Нет у меня желания ни воевать, ни жениться, — пожаловался.

— Ты должен жениться, мой повелитель, — погладив его по голове, сказал ан-Эриди.

— Как отец ты мне, — прошептал Акамие. — Говори.

— Ты должен жениться, это во-первых. Наполни ночную половину твоего дома.

— Ты не видел столько изнеженных и сварливых от ненужности женщин, сколько видел я. Это ли покой в доме?

— Да, мой царь. Ты говоришь справедливо. Ты видел, потому что жил среди них, а я не видел, потому что это — забота евнухов, а самому тебе ни к чему теперь слушать ругань и жалобы. А если бы ты женился, мой царь, может быть, обошлось

бы и без войны, ты прав, не впрок Хайру новые земли.

Акамие еще раз вздохнул.

— А что мне делать с женой? Ты не сидел ночь напролет, ожидая зова. А я сидел. Нет горше этих ночей. Нельзя ли решить иначе? Уже десять сыну моего брата. Еще несколько лет пусть ненавидит меня Хайр. Тем сильнее будут любить нового царя. Я уйду, оставлю ему престол. Скажи, ан-Эриди, отец мой, продержимся ли еще четыре года?

— Не хочешь занять евнухов — займи воинов, — медленно и безучастно ответил старик. — Решай, с кем будешь воевать.

— Это ты? — обмер Акамие, узнав его.

— Тебе предсказать?

Акамие замотал головой.

— Не надо предсказывать. Ничего хорошего я не жду, а о плохом лучше не знать наперед. Но умоляю, объясни мне все. Я кожи своей не чувствую, окован царством. Не могу поступать как царь, не смею — как человек. Что ни сделаю — все не ладно. Для чего все это было нужно? Почему не сидеть на этомпроклятом троне брату моему Лакхаараа, который был — царем? И Шаутара справился бы. Мог бы и Эртхиа украсить собой трон Хайра, и при нем некогда было бы бунтовать ни воинам, ни евнухам! На худой конец, Эртхаана… Не знаю, каково пришлось бы Хайру, но сам царь — не был бы несчастен, как я. Зачем все это? Для чего? Почему все устроилось наихудшим образом и для страны и для меня? Из всех возможностей выбрана самая… бессмысленная! И это — Судьба?! Горе мне, что я подвернулся ей под руку, когда она страдала несварением. Хуже! Женщина она, и в тот день я ей попался на глаза, когда она недомогала по-женски. Уходи, я знаю, ты ничего не объяснишь мне, так пропади ты пропадом, что я слушался твоих советов и радовался твоим обещаниям! Горе мне, нет у меня жизни, есть — судьба.

Старый ан-Эриди с трудом дозвался слуг: голоса лишился, когда вдруг опустели глаза царя и залепетал он бессвязно, когда повалился на пол и забился у колен старого вазирга. Невнятно мычал он в глухую толщу ковра и рыл белыми пальцами глубокий ворс. Только Хойре оказался поблизости, молоденький евнух, неожиданно попавший в милость, и рабыня из тех, что поддерживают огонь в нишах. Вместе вбежали они в Крайний покой, девушка поднесла ближе светильник, евнух принялся разжимать и растирать сведенные пальцы царя.

Из-за плотных завес, отделявших покои ночной половины, выскочил новый раб повелителя, тот заморский, с набеленным лицом, просвистел шелковыми полами, упал на колени рядом с царем, выкинул ловкие пальцы из огромных рукавов, что-то

сделал с лицом, шеей царя, отнял его руки у евнуха, склонился над ними.

Ан-Эриди с недоумением и опаской следил за его хлопотами. Но когда обратил взгляд на лицо царя, распустил окаменевшие плечи: царь лежал с ясным лицом, смотрел в потолок. Хойре приподнял ему голову, и девушка ловко подвинула подушку. Сейчас же евнух выскользнул наружу, громко требуя к повелителю врача.

Заморский раб внимательно взглянул в лицо царю, спрятал руки в рукавах, дважды поклонился, поднялся с колен, и тихонько вышел.

О недозволенной любви

Все успокоилось и стихло во дворце, и царь уже мирно спал в опочивальне под присмотром врача, а Хойре снова ждал на том же месте, где застиг его тревожный крик вазирга.

И она пришла. Вступила в темноту из освещенного коридора и замерла. Он протянул руку так, что на нее упал отсвет, и Юва тут же руку поймала в свои горячие ладони. Вдвоем они углубились во тьму.

— Почему я? — снова задал Хойре вопрос, не зная, что его задают все и что он никогда не имеет смысла, и даже в его устах.

Но она ответила, прильнув к нему движением звериного детеныша:

— Я тебя не боюсь.

Хойре не понял.

— Если бы у нас был другой царь, я сделал бы так, чтобы ты стала его любимой женой. Вот что я сделал бы для тебя. Я сумел бы. Да.

— Не надо, — покачала она головой. — Не делай этого.

Как будто все в жизни зависело от того, что они сейчас решат.

— Почему? — наклонился Хойре к ее глазам, блестевшим в темноте.

— Не надо. Я не хочу быть любимой женой царя. Мне хорошо с тобой.

— Со мной?

— Я тебя не боюсь, — еще раз сказала Юва, пряча лицо у него на груди.

Хойре помолчал, привыкая к новому. Вот оно что. Купцы, перекупщики… Глаза у нее не здешние, аттанские у нее глаза.

— Издалека привезли тебя?

— Из Аттана.

Вот оно, вот оно что. Военная добыча. Хватило ей уже. Ей теперь Хойре — в самый раз.

— Но ведь, — сообразил Хойре, — но ведь аттанских возвращали?

— У меня никого не осталось из родных, а во дворце спокойно… Я не сказалась.

— Так что же это получается… — вздохнул Хойре. И больше ничего не стал говорить. Обнял ее, и она подняла руки и обняла его. Оказалось, этого достаточно. Ночь текла сквозь дворец медленно, величаво. И в ее глубине нашлось укромное место для этих двоих.

А если она передумает, решил Хойре, если для нее все изменится, — а так будет когда-нибудь, — я не стану ей врагом…

И тут он вспомнил, что судьба его невольничья неверна, и то, что он задумал, может привести его к гибели, и тогда некому будет защищать ее и заботиться о ней. Он покачал ее в объятиях и коснулся губами ее кудрей, и опустил в них лицо — сразу вслед за тем мгновением, когда все решил за нее.

— Повелитель, — тихо позвал Хойре.

Акамие приподнял голову с подушки.

— Повелитель, я нашел жену для тебя. Такую, которая не станет сердиться, если ты не позовешь ее в опочивальню. Она красива до крайности и умеет вести приятные речи. Она не будет в тягость тебе, повелитель, не возгордится и не станет говорить о тебе того, чего не следует. Правда, о ней нельзя сказать, хорошего ли она рода, потому что род ее неизвестен, но красивая девушка всегда достойна почестей. Правда, нельзя сказать и того, что она девушка, потому что взята она в добычу в Аттане, а повелитель мог своими глазами видеть, как там было. Но я готов поручиться, что здесь, во дворце, никто ее не касался. И даже, господин мой, я готов, если надо, засвидетельствовать ее невинность, а если повелитель назначил бы меня главным евнухом, моего слова было бы достаточно.

— Ты этого хочешь? — удивился Акамие. — Я думал, что со временем ты мог бы стать начальником над писцами.

— Нет, если повелителю угодно, чтобы я спорил с ним.

— Угодно.

— Нет, ибо если бы я стал начальником над писцами, это унизило бы их и усилило бы в них недовольство, а этого нельзя допускать. Как можно иметь писцов, которым не доверяешь? Разве у тебя есть время перечитывать все, что они записывают с твоих слов? Или уж писать самому? Царю необходимо назначить на эту должность кого-нибудь из тех, чей отец был писцом, а лучше — и дед. А мне хватит старшинства на ночной половине. И ты, повелитель, можешь быть спокоен, если поручишь ее мне.

— Как можно быть спокойным? Ты знаешь, конечно, что брат мой Эртхиа пробирался ко мне на ночную половину, несмотря на запреты. Если для дружбы не нашлось достаточных преград и препятствий, — что остановит страсть? И недаром ведь говорят, что женщины способны измыслить такое, что смущает разумных и пристыжает мудрецов. Не ревность остерегает меня: нельзя допустить урона царской чести.

— Говорю, не о чем беспокоиться повелителю. Эта девушка сторонится мужчин и всегда будет сторониться. После взятия Аттана…

— Это пройдет со временем.

— Бывает, проходит. Но не у нее, если она будет спрятана на ночной половине, и никто не увидит ее, и она — никого.

Акамие промолчал в ответ. Он признавал справедливость всех доводов Хойре и необходимость последовать его совету и настояниям ан-Эриди. Но самая мысль об этом утомляла его до изнеможения. Потом, хотел он сказать, потом… Но знал, что «потом» будет означать в его устах «никогда», и принудил себя ответить:

— Так распорядись приготовить девушку. И пошли к ан-Эриди с известием. Столько теперь… Свадьба — великие заботы. Кому платить цену невесты?

— Повелитель! — воскликнул Хойре. — У тебя достаточно слуг. Ты и не заметишь, как окажешься женат.

— Да будет так, — согласился Акамие.

О жестокой необходимости

А назавтра:

— Что нового сегодня в Хайре, ан-Эриди?

— То, чем не хотелось бы нарушать покой моего повелителя.

— Еще один дерзкий певец? Веди его сюда.

— Нет, мой господин. Судьба приняла решение, которого ты боялся.

— Что ты хочешь сказать?

— Война.

— Что?!

— Правитель Ассаниды поднял мятеж. Сегодня я получил известие об этом — и оно подтверждено ашананшеди.

— Так это точно?

— Сожалею, повелитель.

— Что же делать?

— Кому и решать, как не тебе. Но первое…

— Да?

— Первое, что должно быть сделано…

— Говори же, вазирг!

— Казнить заложников.

— Нет! — вырвалось у Акамие. — Нет, только не это.

— С этого и надо начать — непременно. Так было всегда и всегда будет, это самый разумный и необходимый шаг. Тебя проверяют. У твоего отца, царя Эртхабадра, да будет Судьба к нему милостива и на той стороне мира, не было необходимости казнить заложников. Это ему обеспечил его отец. Мир и спокойствие наполняли Хайр под их твердой рукой. А тебя проверяют. Не казнишь детей правителя Ассаниды — найдется множество охотников последовать его примеру. Раньше, чем собирать войско, ты должен казнить заложников.

— Вели привести их сюда.

— Не делай этого, повелитель, — взмолился ан-Эриди. — Тебе легче будет, если казнят незнакомцев. Твой разум проворен и тверд. Но твое сердце жалостливо. Ты отменил ежегодное испытание казначеев огнем — и насколько обеднела сокровищница! Это все жалость… Испытание пришлось ввести заново — но и казнить несчастных, соблазненных безнаказанностью. Мой отец, бывший главным казначеем у твоего деда, перенес испытаний по количеству лет, пока занимал эту важную должность, — и оставался безупречен и неподкупен; и был доволен. И был так вознагражден повелителем, что не имел причины сожалеть о своих увечьях. Ходить он не мог, и не владел

правой рукой, но в доме не было недостатка в рабах, готовых перенести его, куда ему нужно, подать все, чего он желает, кормить и поить его, одевать и прочее; а также в юных рабынях, которые сами делали все, что необходимо, — и без подсказок, прошу прощения у моего повелителя за дерзость. Так что пусть эти двое обреченных как-нибудь проживут свой последний день не удостоенные созерцать солнцеподобный лик повелителя Хайра, а если любопытство твое так велико, господин мой чрезмерно милостивый, ты все равно увидишь их завтра, так как обязан присутствовать при их казни.

— Я знаю, — сказал Акамие.

— Жалеешь их, так жалей. Если их приведут к тебе, чего никогда прежде не случалось, они поймут, что судьба их решена. А зачем им мучиться в последнюю ночь? Пусть спят спокойно, в этом твоя милость к ним. Большего ты им дать не можешь, повелитель.

— Но если все равно воевать с Ассанидой, зачем казнить детей?

— Придется. Их отец казнил их — не ты.

— Нет. Лучше отпустим Ассаниду.

— Но тогда все области восстанут. Ты хочешь мира, а получишь мятеж.

— Хочу мира не ради себя.

— Никому не будет хорошо. Один великий трон вызывает меньше междоусобиц, чем сотня малых. Ты и себя погубишь, и детей этих не спасешь. Их отец и тот отказался от них, они мертвы с тех пор, как отосланы в Аз-Захру. Их жизнь — малая цена за мир, который ты восстановишь, направив войско в Ассаниду.

— Нет! Я — царь! Я сказал, так будет.

И спорил, и спорил, и впервые прогнал от себя старого ан-Эриди, запретил показываться на глаза. И до ночи медлил с решением: воевать с Ассанидой или отпустить, как отпустили Аттан? Вот оно: отпустили Аттан, теперь придется отпустить Ассаниду. Кто следующий? Далекий Удж, Бахарес — пристани и караваны? Нельзя. Но только не казнить детей.

А рано утром Хойре шепнул:

— Посланные из дома ан-Эриди. Умер он. Ночью умер.

Акамие побелел.

— Горе Хайру. И горе мне.

Потому что, хоть и назывался он царем Хайра, хоть и соблюдал все, что должен был как царь соблюдать, хоть и сидел на престоле власти, но только ан-Эриди мог, стравливая между собой врагов, удерживать их от совместных действий во вред

царю, только ан-Эриди, с юных лет стоявший у трона, знал все обо всех, имел в друзьях всех, кого надо, и мог даже ненавидящих Акамие убедить служить ему, пока не войдет в возраст наследник Джуддатара.

И вечером, собрав в библиотеке Сиуджина, Хойре и Арьяна ан-Реддиля, он повторил свои слова.

— Горе мне. Обязанности царя жестоки. Я щадил себя. Но умер мой ан-Эриди, и отпала Ассанида, и многим придется оплатить мою слабость. Я принял решение. Если Судьба поставила меня владыкой над Хайром, то прежде я должен щадить Хайр, а потом — мое слабое сердце. Заложники из Ассаниды будут казнены. Завтра. На площади перед дворцом. Я буду присутствовать при казни. И наследник. Я не был воспитан по-царски, от этого беда всему Хайру. Пусть приучается.

О казни заложников

Два помоста за ночь устроили перед дворцом. Один повыше, ближе к дворцу, над ним на шестах растянули ткань с бахромой, выставили удобные сиденья: одно для царя Акамие ан-Эртхабадра, другое, маленькое — для наследника Джуддатары ан-Лакхаараа. Другой помост — пониже, пошире, и на нем ничего не было, кроме обрубка древесного ствола, предназначенного для плахи. Утром оба помоста окружила стража. Царь и наследник взошли на свой помост. На другой поднялся палач.

Волосы девчушки сплетены были до половины в две тугие толстые коски и пушились длинными хвостами почти до колен, цепляясь за богатое шитье широкой юбки, тянулись по нему паутинками. На них и еще на мелко переступавшие ножки в бархатных туфельках и смотрел Акамие, не отрываясь, не поднимая взгляда выше, чтобы не встретиться глазами. Уже раз встретился. Ожидал любопытных блестящих непонимающих глазенок, ожидал и ужасался заранее.

А глаза у нее были большие, темные, блестящие, в огромных ресницах. Готовые к любой беде. Нет, она не знала, конечно, для чего пришла сюда за руку с братом. Ей было мало лет. Брат шел, примериваясь к ее мелким шажкам, наклонившись, что-то говорил ей, улыбался, покачивал в ласковой руке ее ручку. В другой руке комкал платок, розовый, шитый золотом, как платье девочки. Костяшки пальцев побелели. Перед ступеньками подхватил ее, как нарядную куклу внес и поставил перед собой, глядя только на нее, не давая и ей оглядеться вокруг. Она таки огляделась, но понять ничего не могла, конечно: не приходилось ей видеть такого и подобного за те пять или шесть лет, что смотрела на мир большими, какие только у детей бывают, глазами. Видела родителей, нянек, сестер и братьев, украшенные женские покои, сады, деревья и цветы, выложенные цветными камнями водоемы и бегучие ручьи в родной своей Ассаниде, видела долины и перевалы, через которые везли ее сюда, зачем-то одну, без матери, обливавшейся слезами, но безропотно передавшей ее в руки отцу, а тот — с чужим неподвижным, неласковым лицом отдал ее в руки улыбчивым чужеземцам, говорившим непонятно и пытавшимся ее развеселить. От ее крика лицо отца еще больше закаменело, и чужие унесли ее поспешно, и везли сюда, хоть она плакала и просилась обратно. А здесь чужой незнакомый мальчик заговорил с ней наконец-то понятно, по-домашнему, и назвался братом. Утешить не мог, но утешал. Долгими-долгими были их разговоры о родной Ассаниде,

обильной садами, ныне отпавшей от великого Хайра, ощетинившейся и больно укусившей руку, долгие-долгие годы державшую за горло. Потому что прошел слух — верный слух — будто нынешний повелитель Хайра мягок сердцем и слаб руками, и вовсе не для трона рожден. И теперь не только Ассанида, но и все окраины царства, придержав дыхание, смотрели на Аз-Захру.

Не каждый владетель готов был пожертвовать детьми, чтобы убедиться, так ли уж мягок сердцем этот нечаянный царь. Но теперь — почему бы не убедиться всем?

Девочка этого не знала. Но брат ее, внесший ее на руках на помост перед царским дворцом, — он знал. И вот в его-то глаза Акамие не стал глядеть. Так, мельком коснулся взглядом лица.

Рядом с царем сидел другой мальчик, ровесник тому, важный: наследник, Джуддатара ан-Лакхаараа. Акамие поглядывал на его строгое, спокойное лицо и объяснял:

— Необходимо это. Если пощадим детей правителя Ассаниды, следом и Бахарес, и Удж поднимут мятеж.

Джуддатара степенно кивал.

— Не быть царству крепким, если правитель мягок сердцем и слаб руками. Так надо. Кто жалостлив к детям врага — безжалостен к своим. Понимаешь? Пойдут мятежные войска по Хайру — таким же детям понесут смерть и рабство. Лучше, чтобы умерли эти двое. Их отец знал, что делает, когда отсылал заложниками в Аз-Захру. Знал и тогда, когда поднял мятеж. Он их казнил — не мы.

Джуддатара кивал. Все это, и гораздо толковее, уже объяснил ему наставник, отбывший на ту сторону мира ан-Эриди. Убрался со своими советами. Дяде они подходят, не Джуддатаре. А дядя, сам слышал Джуддатара, как сказала царица, будет теперь без ан-Эриди беспомощен. И может быть, — и не удивился бы Джуддатара, узнав доподлинно, что это так, — может быть не сам по себе умер ан-Эриди, хоть и говорили, что вернулся он от царя до крайности расстроенный. Может быть, сама царица повелела, чтобы умер ан-Эриди. И сказала, услышав новость: «Вот теперь никто не помешает сыну рабыни погубить себя».

Зачем дядя пятый раз повторяет то, что всякому понятно? Так должно быть — так и будет. И голос у дяди не тот, чтобы говорить о делах правления. Мягкий голос, нет в нем твердости и силы. Молчал бы уже. У Джуддатары сегодня большой день, праздник. Он участвует во взрослом деле. В первый раз. Скоро — через четыре лета — он сам станет правителем. Сам будет решать и отдавать приказания. Но сегодня, уже сегодня пусть видят все, собравшиеся посмотреть на казнь: вот сидит их повелитель, прирожденный, настоящий. Старший сын старшего сына

Эртхабадра, последнего великого царя Хайра. Последнего, если считать до сих пор, до Джуддатары. Его отец тоже был бы великим царем. Но он не успел. И Джуддатара знает, из-за кого случилось несчастье. Но Джуддатара не станет спешить с местью и вырывать венец из слабых дядиных рук прежде времени. Вот придет его четырнадцатое лето — он станет мужчиной и все возьмет. Ведь малолетний царь в царстве не хозяин. Не для того же брать венец и престол власти, чтобы слушаться взрослых, которые в том помогут, но взамен потребуют повиновения. Нет уж. Не бывать.

Акамие смотрел на племянника и говорил, говорил, а думал: настоящий царь и повелитель Хайра вырастет из этого мальчика, и ждать осталось недолго, а пока самому надо решать и повелевать, и проявлять твердость, и изгонять жалость из сердца.

А другой мальчик, тот, на нижнем помосте, предлагая игру, расправил перед лицом наряженной девочки платок. И опять улыбнулся. Девочка не улыбалась, серьезно смотрела — и кивнула, послушно закрыла глаза. Мальчик торопливо сложил платок и завязал сестре лицо. Заботливо поправил, чтобы складки не жали. Снова, как куклу, взял за бока и понес к плахе. Что-то говорил ей, и она опустилась на колени. Плаха была для нее высока, и палач поднес скамеечку. Мальчик приподнял сестру. Палач ловко вдвинул скамеечку ей под коленки. И не отошел, перехватил рукоять топора обеими руками, примериваясь, покачал им в воздухе. Мальчик положил руку на плаху, ладонью вверх, а другой обнял сестру за плечи и опустил ее голову щекой на свою ладонь. Что он еще мог сделать для нее? Защитить не мог.

— Это необходимо, — сказал Акамие, снова поворачиваясь к наследнику, и заметил тень нетерпения и досады, пробежавшую по его лицу. — Необходимо, — повторил Акамие.

Палач медленно занес топор, повел им, чуть поворачивая лезвие — ловил на него солнце, пускал слепящие блики в глаза собравшимся посмотреть на казнь, ловил на него взгляды, жаждущие скользнуть вниз движением, слитным с движением лезвия. И вот, изловив все, собрав, приподнял топор точно над склоненной шеей с двумя косицами по бокам, над тонким белым пробором, убегавшим под узел розового платка.

— А-канна-тэ! — негромко сказал Акамие. И встал. И пока он поднимался, многое успело произойти. Тонкий пересвист сетью сплелся над толпой. Острый блик резанул палача по глазам и заставил зажмуриться и склонить голову. Три тонких волосяных аркана размотались над толпой и, пролетев над помостом, схватили и дернули в разные стороны: один — за древко топор,

второй — за шею палача, а третий — за плечи мальчика, так и не выпустившего сестру.

Беспомощно повернувшись, топор грохнул обухом о помост, палач, обламывая ногти, скреб аркан, перетянувший горло. Мальчик, дико озираясь, прижимал к себе сестру. Возле каждого стражника выросло по ашананшеди — их всегда много там, где вокруг царя собирается толпа.

И Акамие уже спускался с царского помоста, бегом. Он пробежал между стражников, взлетел по ступенькам, выхватил девочку из обессилевших рук ее брата, прижал к груди. Мальчишка тут же вскочил, отпущенный аркан волочился за ним следом, когда он шел за царем Хайра — слабым, мягкосердечным царем, уносившим на руках малышку, даже не пытавшуюся вырваться или хотя бы снять закрывавший глаза платок.

— Ооо! — выдохнула толпа. Ашананшеди окружили царя широким кольцом, отделив от толпы. И провожали до ворот дворца — и дальше, пересвистываясь с теми, кто оставался в толпе, готовые остановить любого, кто пожелал бы изменить ход событий.

Наследник Джуддатара ан-Лакхаараа, услышав этот свист у себя за спиной, сидел неподвижно и дышал медленно и застывшим взглядом провожал своего дядю, погубившего царство.

О том, что случилось после

В библиотеке он передал девочку в руки одного из лазутчиков, другой уже освободил от петли ее брата и сматывал аркан.

Вбежал Сиуджин.

— Боюсь, тебе все же придется уехать, — улыбнулся Акамие. — Хорошо, если мне удастся снабдить тебя припасами в дорогу. Ох-хо…

— Ни в коем случае!

— Погоди. А где Хойре?

— Разве он не здесь?

Акамие покачал головой.

— Повелитель, — окликнул его один из ашананшеди. — Что ты нам прикажешь?

— А что тут можно сделать? — улыбнулся Акамие. — Уходите. Сделайте для меня последнее — возьмите с собой Сиуджина. И этих детей. Я больше не царь в Хайре. Если кто-нибудь из вас решится — убейте меня. Когда они придут сюда, зачем мне быть живым?

— Я останусь! — воскликнул Сю-юн. — Если ты не позволишь мне защищать тебя, позволь умереть с тобой.

— И я останусь! — подбежал к ним мальчик из Ассаниды. — Пусть они заберут сестру, а я останусь. Я владею мечом! Я могу защитить тебя!

— Как тебя зовут? — улыбнулся и ему Акамие.

— Гури. А сестру — Нисо.

— Ты пойдешь с ними, Гури. И ты, Сиуджин. Мне не нужны провожатые на ту сторону мира. Сам как-нибудь.

Ашананшеди, терпеливо дожидавшийся конца их спора, сказал тогда:

— Мы не оставим тебя. И ты нанес нам обиду, так подумав. Желаешь ли ты закрыться здесь, в библиотеке, или выберешь другое, более подходящее место? Никто не войдет к тебе, пока хоть один из нас жив. Поверь, повелитель, это — долго. Тебе понадобятся припасы: пища, вода. Тебе, и всем, кто захочет остаться с тобой.

— Те, кто придут сюда — мои подданные, а я был им плохим царем. Джуддатара лучше меня годится для этого. Пусть будет так. Я не хочу, чтобы это место стало местом смерти. Несколько дней моей жизни того не стоят. Не будем тянуть. Уходите. Скорее. Сиуджина и детей трудно будет вывести незаметно.

Ашананшеди принялись тихонько пересвистываться и делать

друг другу быстрые знаки руками. Акамие огляделся — как же их было много здесь! И все новые входили в дверь, впрыгивали в окна. Неужели вся сотня собралась? Нет, кто-то должен наблюдать снаружи. А так, пожалуй, около сотни будет. И все погибнут здесь, защищая его. И каждый положит, самое малое, сотню хайардов. Для того лишь, чтобы оттянуть неизбежное.

Нет. Пусть только помогут мне — и уходят, решил Акамие и тихо попросил ашананшеди, того, который с ним говорил:

— Сделайте, что я сказал, и уходите. Эти, — он кивнул на Сиуджина и Гури, — спорить тогда не станут, им ничего не останется, как идти с вами. Сделай это сейчас. Ну же! Я сам не могу, ты знаешь. Не медли. Пока я не боюсь. Давай.

— Повелитель! — Хойре вбежал в библиотеку, расталкивая лазутчиков. За руку он тащил упирающуюся девушку. — Повелитель, тебе надо спасаться, но вот — твоя невеста. Что здесь случится, когда ты уйдешь? Да не причинят ей обиды. Возьми ее с собой.

Все уставились на евнуха, на девушку, вырывавшуюся и тихо причитавшую по-аттански.

— А я-то обрадовался, что жениться не придется… — кривя губы протянул Акамие и расхохотался. И так этот хохот был похож на тот, недавний, когда в ан-Эриди померещился царю сам Сирин, что Хойре выпустил девушку и сделал шаг к царю, и сказал:

— Прости, повелитель, но вот как делают на ночной половине, — и тут же ударил царя ладонью по лицу, несильно, но хлестко, раз и другой.

— Спасибо, — пробормотал Акамие, отдышавшись. — Да я больше и не повелитель. Но куда же я твою невесту возьму, я сам не знаю, куда мне теперь, даже если мы придумаем, как нам выйти отсюда. Видишь, сколько нас уже собралось? И как нам взять коней из конюшни и припасы из кладовых?

— Об этом не беспокойся, повелитель! — заулыбался Хойре.

— Разве мы не приготовили все в доме ан-Реддиля? — поддержал его Сиуджин. — Там и кони, и одежда, чтобы нам переодеться.

Акамие посмотрел на них и покачал головой.

— Даже если бы и возможно было скрыться от погони, когда нас так много, нам надо еще выйти из дворца и выбраться из города, а это…

— Господин, мы теряем время, — тихо, но настойчиво перебил его ашананшеди. — Смотри, скольких людей ты хочешь бросить. За тобой они готовы идти, и в этом их спасение, а по-отдельности они обречены.

Акамие окинул их всех взглядом. Кроме ашананшеди, здесь были еще Гури и его сестра, и им не спастись, и Сиуджин, всем чужой в Хайре и заведомо желанная добыча для насильников, которые ворвутся во дворец, а еще Хойре, про которого все знают, что он был в милости у царя, и девушка, которая смотрела на евнуха с такой обидой, что даже не плакала, и так смотрят только на обманувших сердце. Вот они — его царство. Он их должник.

— Если ты решишься уйти, мы это сделаем, — сказал ашананшеди. — Отсюда можно выйти за городскую стену, и мне этот выход известен. Его всегда держали в тайне, даже мы сами не пользовались им, и не все из наших о нем знают. Он совершенно безопасен. Если, повелитель, здесь уже все, кого ты желаешь взять с собой, то нам лучше уходить немедленно. О припасах не беспокойся. Тебе не придется ни голодать, ни идти пешком.

— Тогда — поспешим, — решился Акамие. — Есть ли у нас еще немного времени? Я хочу собрать кое-что.

И старший из ашананшеди распорядился, чтобы его люди частью остались охранять беглецов, частью — пошли с ним, чтобы приготовить безопасный путь для царя и тех, кто с ним.

— Стойте! — закричал Хойре. — Так нельзя. Там засада.

— Как?

— Откуда ты знаешь?

— Этого не может быть, — сказал ашананшеди, — или среди нас — предатель.

— Не знаю ничего об этом, — сказал Хойре, — но вот что мне доподлинно известно: меня подговорили идти сюда, дождаться, когда ашананшеди предложат царю бежать из дворца этим путем, и убедить царя следовать этому совету, но там, за стенами Аз-Захры, царя уже ждут для расправы.

— Кто? — в один голос спросили Акамие и несколько ашананшеди.

— Откуда стало известно о тайном ходе — и кому? — нахмурился старший.

— Почему ты говоришь «меня подговорили» — разве не известно, что ты из моих приближенных? — нахмурился Акамие.

— Да, мой повелитель, я долго уверял их, что я на их стороне, — твердо сказал Хойре. — Но тебе не о чем беспокоиться, я верен тебе. Я все расскажу тебе об этом деле, но не сейчас, умоляю. Кроме тех, кто ждет тебя в засаде, есть еще те, кто собирается ворваться во дворец, как только закончат переговоры с дворцовой стражей, а этого недолго ждать: они всего лишь заранее делят добычу.

— Можешь ты доверять ему после того, что узнал теперь? —

спросил старший ашананшеди.

— А тебе?

Ашананшеди задумчиво кивнул.

— Среди нас есть предатели, — сказал он, имея в виду не только своих людей. — И мы не знаем их и не имеем времени искать. Что ты намерен предпринять, повелитель?

— Я намерен подвергнуться опасности и посмотреть, на чьей стороне Судьба. Что ты мне посоветуешь?

— Часть моих людей останется с тобой, часть — пойдет со мной. Мы выйдем из дворца открыто и скажем, что не желаем служить… мы найдем, что сказать, но тебе, повелитель, это слушать не пристало. С нами не станут связываться, побоятся, — раз уж мы все равно уходим. Мы скажем, что во дворце больше нет ашананшеди. Если поверят — ворвутся сразу; но если подумают, могут заподозрить ловушку, и это даст тебе больше времени. Но мы и так уйдем только после того, как закроем за вами потайную дверь, и ее не найти. Вы же идите не торопясь, в нишах вдоль стен сложены факелы, все ступени целы, все приготовлено — мы следили за этим постоянно. Когда поднимитесь к выходу, ждите, пока мы не откроем снаружи. А мы позаботимся о припасах и конях. Подходит ли это тебе, повелитель?

О том, как об этом узнал ан-Реддиль и что он сделал

А в доме Арьяна ан-Реддиля служанка, ходившая на базар за зеленью, захлебываясь, в третий раз пересказывала услышанное: сначала рассказала госпоже Унане, хлопотавшей на кухне, а она готовила кушанья и напитки, облегчающие страдания от непомерного употребления вина, и как жалко любимого, ведь это из его родной Ассаниды те двое деток, которых должны убить сегодня по повелению царя, такое вином не зальешь, — и дорогого друга жалко, ведь пришлось ему ожесточить сердце и отдать такое повеление… и жалостливая Унана в который раз вытирала катившиеся к подбородку слезы, чтобы не падали в кушанье, а уж если она вчуже плачет, каково самому дорогому другу? — ах, не было ли иного средства? — и даже если не было, что ни говори, деточек жалко! — страшные времена наступили! — ах, когда же и они с сестрицей… Так вот, служанка рассказала Унане, а та сначала обрадовалась, позвала старшую сестру, а та испугалась и побежала разбудить господина, чтобы он сам выслушал и рассудил верно: радости ждать от этого или беды?

И по лицу Арьяна сразу стало видно, чего ждать, и не просохшие еще глаза Унаны еще горше увлажнились, а Уна стояла не дыша, прижав к губам кулаки, словно готова была заголосить, и не давала себе. Сам же Арьян, как вышел из опочивальни с растрепавшейся косой, с лицом опухшим и темным, с угрюмой мукой в глазах — так и стоял сначала сгорбившись, привалившись к косяку, потом, выпрямляясь, яснея, подавался и подавался вперед.

— Унес? — переспросил. — На руках унес? От плахи? У всех на глазах? Ну, теперь ему одно из двух: либо умереть, либо спасаться бегством. Вспомнит ли, что здесь у него и кони готовы, и друг есть верный?

— А если не вспомнит? До того ли ему сейчас? — заговорила Уна, а Унана только всхлипывала. — Детей этих не кинешь теперь? А Хойре и Сиуджин? Одному ему бежать никак невозможно, он не такой, храни его Судьба. Кто с ним?

— Лазутчики с ним, но хорошо бы ему… Вот что сделаем: я — бегом во дворец, проберусь к нему как-нибудь, скажу, здесь можно детей укрыть. А вы — пошлите на базар, пусть купят крытую повозку и нагрузят в дорогу. Придумайте что-нибудь. Деньги в ларе возьми, Уна, что останется — с собой заберем.

Пусть повозку сюда пригонят, а вы сами — соберите все, что нужно, что найдется в доме из еды, и воды возьмите с запасом. Злюку с собой беру, Хумм вас постережет.

Унана опомнилась, схватила приготовленный кувшин, кинулась к мужу:

— Вот, попей, господин, легче станет, от головы помогает…

— Что? — опешил Арьян. — Какая голова? Не до того сейчас… Впрочем, дай! — и одним духом осушил кувшин, фыркнул, отер рукой рот, стряхнул капли с бороды. Влажными руками пригладил волосы. — Собирайтесь.

Вот так и вышло, что, когда Акамие со своими и с четырьмя лазутчиками уже бегом торопился к потайной двери, Арьян привычным путем проник во дворцовый сад — замок на калитке пришлось сломать, и Арьян сделал это так решительно, словно давно мечтал об этом. Злюка бежал впереди: ошейник в шипах, грудь, бока и спину закрывают кожаные доспехи, сверкающие узорными бляхами. Подбегая ко дворцу со стороны внутренних покоев, ан-Реддиль негромко приказал:

— Ищи повелителя, ищи!

Злюка приостановился, завертел головой, потягивая воздух в чуткие ноздри. Сорвался с места — вырванная трава пополам с землей брызнула из-под задних лап.

— Скакун ты у меня, а не собаченька, — похвалил ан-Реддиль и рванул следом.

Ашананшеди его знали и не стали останавливать, только предупредили повелителя:

Здесь улимец.

Акамие обернулся, пошел ему навстречу, не успел испугаться — здоровущая псина налетела, повалила на спину, облизала лицо.

— Ух ты, — отбивался Акамие, — Ах ты, собаченька…

Арьян с руганью оттащил псину за ошейник под неодобрительными взглядами ашананшеди: дома, мол, у тебя царь, если ему угодно, может чудить, как ему вздумается, но здесь — держи привязь покороче…

— Ничего, ан-Реддиль, — Акамие встал, поддерживаемый Хойре и Сиуджином. — Зря только ты сюда. Мы уходим, и времени нет прощаться…

— Я не прощаться, — возмутился Арьян. — Я — напомнить, что в моей конюшне отменные скакуны твои стоят, под тебя, повелитель, и под твоих слуг выезженные, и одежда тебе и им переодеться, и…

— Я об этом помню, дорогой, но там еще твои жены, и нам туда — нельзя.

— Я их там не оставлю, — насупился ан-Реддиль. — Я сюда шел — видел, что перед дворцом творится. Если к царю в дом так ломятся — что с моим сделают? Я ведь улимец, из самой что ни на есть Ассаниды. Ты что ж такое творишь, кроха? — это он зашипел уже на дочь правителя Ассаниды, бесстрашно карабкавшуюся сесть верхом на Злюку. Злюка страдальчески сморщил морду, но действий никаких не предпринимал. Ан-Реддиль подхватил девочку на руки и сказал царю:

— Я с тобой, повелитель, я — твой должник. Говори, что делать.

Акамие оглянулся на старшего ашананшеди, который пошел с ними. Тот кивнул, царь в ответ кивнул ему, и ашананшеди сказал:

— Незаметно вернись к себе домой, возьми повозку, припасы — сколько успеешь, одежды теплой и всех коней, и выбирайся из города. По дороге на Суву, у моста, остановись и жди. Да торопись — мы-то тебя ждать не сможем.

О том, что увидел царь, выйдя из подземелья

Они на ощупь спустились по лестнице, и ашананшеди шли впереди и сзади, Хойре нес девочку, а Гури шел за ним и поддерживал Юву, которую Хойре, воспользовавшись неразберихой и сумятицей, ввел вместе со всеми в подземный ход, Акамие же держал за руку Сиуджина, не потому что один из них нуждался в поддержке, а потому что так было лучше. Они прошли в железную дверь, бесшумно повернувшуюся на хорошо смазанных петлях, зажгли отлично просушенные и обернутые промасленной паклей факелы. Пол под ногами был посыпан толстым слоем песка, и оступавшимся в скачущем свете факелов падать было не больно, но главное — если бы кто-то прошел потайным ходом до них, он неминуемо оставил бы следы. Но если это был ашананшеди, он сумел бы их скрыть. Но другие ашананшеди, наверняка, сумели бы разгадать и это. Акамие посмотрел на старшего из лазутчиков, но по его лицу ничего не смог понять: надеяться ли им на спасение или опасаться засады и в самом подземелье? Ход то опускался, то шел ровно и прямо, а то принимался петлять. Акамие и Сиуджин высоко поднимали полы одежд, но идущие сзади то и дело наступали на них, потому что шелк выскальзывал из рук. Хоть ничего не было бы слышно наверху, даже если бы они запели в полный голос и пустились в пляс, все, кроме лазутчиков старались ступать тихо и хранили молчание. Лазутчики шли, как ходят всегда, и их шагов не было слышно совершенно, а вместо слов они подавали друг другу непонятные знаки пальцами рук, и Гури, до этого дня никогда не видевший ашананшеди, вертел головой, наблюдая за ними: как над опущенными головами его спутников на быстрый взмах и покачивание руки отвечают соприкосновением ладоней, тихим коротким свистом, особым резким выдохом. Девочка несколько раз принималась плакать, Хойре наконец устроил ее на руках так, что, положив подбородок ему на плечо, она могла видеть брата, идущего сзади, и он разговаривал с ней и успокаивал ее на своем ассанийском наречии, и похожем, и не похожем на речь Аз-Захры, и смешном, и чудесно певучем. Так она и заснула, уронив голову и маленькую руку на плечо Хойре и покачиваясь у него на руках.

Пол начал подниматься, шагать стало труднее, но не намного: подъем был очень пологим. Наконец они оказались перед дверью.

— Подождем, — сказал старший ашананшеди.

Акамие опустился на песок, потянул за собой Сиуджина. Хойре, не выпуская из рук девочки, спиной осторожно съехал по стене и тоже уселся, Юва устроилась между ним и Гури. Песок был сырым, но ашананшеди обещали, что ждать долго не придется. Двое из них остались в глубине хода, остальные встали возле дверей и погасили факелы, затоптав огонь в песке. Наступила тишина. Акамие захотелось спать. Он удивился такому, но вспомнил, каковы были последние дни, и что бессонница по-прежнему чувствовала себя хозяйкой в его опочивальне. «Вот я и оставил ее во дворце», — смутно подумалось Акамие, и он задремал. Снился ему Сирин, весь сияющий, плещущий бликами, ослепительный, а за ним — тень, с ним неразлучная, верная, вечная, то выстилающая собой путь, то текущая вслед. Просыпаясь, он подумал: не к добру. Но тут проснулся и увидел, что ослепил его свет, хлынувший в открывшуюся дверь, и тень была тенью вставшего в проеме ашананшеди. Можно выходить, позвал он.

И Акамие поднялся и вышел.

Ход вывел их на берег реки, в заросли ивняка. Справа белел недавно выстроенный новый мост, а прямо над выходом из подземелья нависал старый, обрушенный посередине. В обе стороны от нового моста тянулась мощеная камнем дорога. Акамие смотрел на нее, жмурясь от солнца, и думал, что вот дорога, вымощенная камнем по его приказу, и она же — дорога его бегства. Шум и торопливое движение вокруг привлекло его внимание. Он огляделся. Сильно потер лицо и глаза руками и огляделся снова. Ашананшеди ловили и сбивали в табун оседланных и взнузданных коней — у многих из них шерсть и гривы были в темных пятнах, и сквозь конские запахи пробивался другой, от которого неудержимо мутило, который Акамие слышал и знал когда-то, когда-то давно, в жизни, которая была совсем не похожа на ту, что сейчас.

Возле старого моста на берегу, на зеленой траве лежали тела всадников, тех, что ожидали в засаде. Акамие повернул обратно и остановился рядом с ними. Они все были мертвы, и ашананшеди, кто до сих пор не успел, вынимал из их тел свои метательные ножи, тщательно вытирали об их одежду и пристраивали на место, в гнезда перевязей; а другие ловили их коней, а другие брали их самих как попало, кого за плечи, кого за ноги, и оттаскивали под мост.

Три десятка бесстрашных хайрских всадников. Все ждали его. Такой он страшный враг? Акамие усомнился, пересчитал коней. Точно не получилось, но до двадцати он досчитать успел, прежде чем сбился.

Десяток ашананшеди, подкравшись в ивняке, положили засаду, даже не приближаясь.

Он не хотел этих смертей, и даже тем не мог себя успокоить, что думал: зачем эти всадники собрались здесь таким числом, зачем ждали его? И взрослые мужи с холеными завитыми бородами, и безусые юнцы были среди них. Неужели и эти — за тем же? Подумал еще: нет ли здесь тех, кто были друзьями ан-Реддилю и распевали его песни? Неужели и правда — хотели всего этого, что пели про него, на самом деле? И не спросишь уже. Зачем они сюда приехали? Каждый из них? Неужели опасались, что без них сына рабыни некому будет убить? Вот этому и вон тому, безусым, что он успел сделать? Эртхиа был такой, когда примчался на коне своем золотистом и увез Акамие к свободе и достоинству всадника, даже отца не спросившись. А эти — надругаться и растоптать.

Но они были мертвы, а он сам — жив. Им бы другого царя — или были бы живы сейчас, или уж погибли бы в походе, покрыв себя славой, не сгинули бы так бессмысленно и постыдно, не от вражеского меча — от летящих подобно смертельным сверкающим птицам ножей, которые в Хайре карали предателей. Зачем это случилось? И всего-то надо было: дать палачу опустить топор, поднятый над смуглой шейкой в завитках, над косицами по стронам беленького пробора. Тонкая, надорванная уже ниточка судьбы этой малышки оказалась прочнее тридцати туго скрученных нитей? И это он решал. Не зная, а если бы знал?

Вдруг что-то толкнуло изнутри, согнуло пополам: его стошнило, он равнодушно вытер рот руками. Хойре подбежал, повел к реке, вымыл ему руки и лицо, как маленькому. Акамие все время отворачивался от реки, смотрел под старый мост.

На дороге показалась повозка, запряженная парой пятнистых широкорогих волов. Ан-Реддиль примчался верхом, не успел спешиться, как Акамие, вырвавшись у Хойре, подбежал к нему:

— Вот — погибшие из-за меня. Погляди, нет ли среди них твоих друзей.

Что-то неладно было с лицом и голосом царя. Он так говорил, словно сомневался, то ли самое он слышит, что произносит. Ан-Реддиль сошел с коня и пошел посмотреть, в чем дело. Хойре объяснил ему про засаду.

— Вот, ан-Реддиль, не видишь ли среди них своих знакомых? — шел за ними Акамие, голос жалкий.

— Вижу, и не одного, — вздохнул ан-Реддиль. — А зачем они сюда приехали?

— Затем, что я не повел их в поход. Им нужны были походы и слава. А я им этого не дал.

— В этот поход они выступили сами, — отрезал ан-Реддиль. — Милостиво с ними обошлись, что не подвергли тому, чему они хотели подвергнуть тебя.

Акамие поежился, стоя на солнцепеке, и ничего не сказал.

— Если ты жалеешь о них, что тогда мне сделать? — настаивал ан-Реддиль. — Разве не мои песни привели их сюда?

Хойре знаком показал ему, чтобы продолжал. Но Акамие уже очнулся.

— Что ты, ан-Реддиль, нет твоей вины в их смерти! — воскликнул он, словно проснувшись, и схватил улимца за руку. — Если бы им не нравились твои песни, они не пели бы их. А они их пели, когда и ты перестал.

— Но я начал.

— Был бы другой, — покачал головой Акамие. — Горько это и страшно. Но нам надлежит позаботиться о наших спутниках.

А Хойре уже было опасался, что царь утратит разум.

О том, как они тронулись в путь

Акамие же нашел старшего из ашананшеди и сказал:

— Отведи нас в Кав-Араван. Это мое владение, подаренное мне Лакхаараа, когда он был повелителем Хайра. Там бьет источник, и даже если нас возьмут в осаду, без воды мы не останемся.

— Это нам подходит, — согласился ашананшеди. — Вокруг — покинутые наши селения, оставленный урожай, и если будет нужда, мы всегда сможем выбраться из замка для охоты. Даже если войско придет, чтобы осадить замок, лазутчиков у них нет. И замок, мой господин, неудобен для осады: есть одна дорога, чтобы подняться к нему, и он прилеплен к скале и висит над обрывом. Осажденным некого бояться, кроме опытных лазутчиков, но мы-то как раз будем внутри.

— Но я не царь больше, — сказал Акамие. — Вас уже ничто не держит. Разве вы не уйдете?

— Разве ты забыл, что отпустил нас властью Сирина и именем Ашанана? Мы служим не царю Хайра, а тебе, пока ты жив. А теперь — пора торопиться. Один из этих, — ашананшеди махнул рукой в сторону моста, взгляд Акамие дернулся за рукой и метнулся обратно. — Один из этих был жив, и я допросил его. Они должны были отвезти тебя во дворец, после всего. Знаешь, к кому?

— К кому? Кто послал их? — заволновался Акамие.

— Мой господин, это сделала царица Хатнам Дерие.

— Ей-то я чем?.. — и осекся.

— Надо торопиться, мой господин, не дождавшись своих людей, она может послать кого-нибудь узнать, в чем причина задержки.

— Царица жила на ночной половине, — жестко сказал Акамие. — Она должна же знать, что это быстро не делается. Как мы будем добираться в Суву? Надо ли нам прятаться и скрываться?

— В этом нет нужды, мой господин. Нас много, и мы проводим тебя в твои владения с почетом. Малая погоня нам не страшна, а войско за нами не пошлют: войско нужно против Ассаниды.

И вот, усадив в повозку женщин и Сиуджина, едва начавшего учиться верховой езде у ан-Реддиля, разобрав коней, они двинулись в сторону Сувы. Часть ашананшеди, взяв себе заводных коней из тех, что им достались у моста, умчались вперед, чтобы приготовить всем ночлег и пищу. Другая часть отстала, чтобы

наблюдать за дорогой и направить погоню по ложному следу, а не удастся — остановить. Третья осталась охранять Акамие и его спутников.

Арьян и Хойре ехали бок о бок рядом с повозкой. Ан-Реддиль сказал:

— Вот и доигрались.

Хойре глянул удивленно:

— Какие игры?

— А «Путешествие в Ла» — забыл? Вот и едем в Кав-Араван.

Какая-то из женщин ан-Реддиля приоткинула занавеску, показалась ручка, скрытая длинным рукавом:

— Как хорошо, что вы позволили нам играть с вами. Теперь мы вместе.

Ан-Реддиль неодобрительно повел бровями, занавеска упала.

— Все равно. Вас бы не оставил. Итак вон сколько с нами увязалось…

— Не сердись, ан-Реддиль, — почтительно склонился в седле Хойре. — Если ты решился усадить в повозку Сиуджина, не от меня же тебе прятать женщин. Может быть, им еще понадобится моя помощь. Евнух ведь — не только сторож…

— Завтра будет удобная дорога, чтобы повернуть на Ассаниду, — прервал их подъехавший Акамие.

— Разве не в Суву мы едем? — спросил Хойре. Но Акамие положил руку на плечо ан-Реддиля:

— Тебе лучше всего расстаться с нами там.

— Мне? — нахмурился Арьян. — Я думал, ты берешь меня с собой в Кав-Араван.

— А кто же отвезет детей в Ассаниду?

— К отцу, который уж найдет, как их извести, раз теперь не вышло?

— Может быть, ты несправедлив, ан-Реддиль. Не суди о том, чего не знаешь.

— Хха! Или не было примеров, что отдают в заложники старшего сына, чтобы сделать наследником младшего — от любимой молодой жены? Всего-то: поднять мятеж, а когда заложников казнят — сейчас же выразить повиновение. Тебе ли не знать об этом.

Акамие и спорить не стал: правда, бывает.

— Но ты сам, ты разве не хочешь вернуться в Ассаниду? Такой воин как ты не будет лишним сейчас.

— За что сражаться? Пока был мир, неплохо жилось и в Ассаниде. А теперь — кто виноват, что Хайр опять двинет на нее войско? И везти туда женщин? Нет уж, моя Ассанида — вот!

Арьян похлопал рукой по ковровой крыше повозки. Изнутри

раздалось угрожающее ворчание двух глоток.

— Ах вы бездельники! — расхохотался ан-Реддиль. — И забыли про вас, и сидите себе! Я вас для боя растил, не на мясо. Хумм, Злюка, сюда!

И, перегнувшись, сунулся под занавеску, вытащил за холку одного пса и второго, столкнул на дорогу. Псы шумно отряхивались скользя лапами по мостовому камню.

— Вот! Чем не Ассанида? Женщины и дети — и я с моими собаченьками, чтобы защищать их. Правда, собаченьки?

Собаченьки заскакали на задних лапах, передними корябая седло и полы кафтана ан-Реддиля. Хойре на всякий случай приотстал, да и Акамие отъехал в сторону.

— Кыш! — прикрикнул на псов хозяин. — Пошли вперед! — и махнул им рукой. Псы ушли вперед ленивыми скачками и затрусили впереди волов.

— И еще я хочу сказать тебе, что другого повелителя над собой не хочу. Такого царя, который мог бы равным быть тебе, нет на этой стороне мира, я уверен. Казнить всякий может, но унести от плахи, зная, что весь Хайр поднимется против тебя, — как ты это сделал? Самое главное, что я упустил в моей жизни, что меня не было тогда с тобой и я не видел этого. Прости, что думал, будто ты можешь казнить этих детей.

Акамие прикоснулся кончиками пальцев к его руке, стиснувшей луку седла.

— Разве я прогоняю тебя? Если хочешь остаться со мной…

— Благодарю, повелитель.

— Только не называй меня так.

Акамие вернулся к старшему над ашананшеди, с которым говорил перед этим.

— Что ты решил о тех предателях, которые должны быть среди твоих людей?

— Не так легко им что-то сделать, пока мы все вместе и следим друг за другом, а я позабочусь, чтобы никто не оставался без присмотра. Раз такое дело, все понимают: кто вызовет подозрение, тот уже мертв. Если бы у них было задание убить тебя любой ценой, они бы не таились так долго. Ждут удобного случая. Они могут ждать долго. Я тоже. Не бойся. Я обещал шагате, что он застанет тебя живым, когда вернется.

Акамие почувствовал, что щеки его заливает краска, и отвернулся. Ашананшеди, как смотрел, так и смотрел перед собой на дорогу, но подождал, прежде чем спросить:

— А что ты сам решил о евнухе?

— Я расспрошу его обо всем позже. Но в сердце я склоняюсь к тому, чтобы доверять ему и взять его с собой.

Ашананшеди принял это, как веский довод.

О том, как они устроились в Кав-Араване

И немало они прожили в Кав-Араване, добравшись туда без спешки и благополучно. Как добрались, стали наводить порядок в давно пустовавшем замке: вынесли на солнце ковры, перины и шерстяные покрывала, разглядели хорошенько. Те, что еще годились, вымыли и высушили, — придет зима! — остальные, не жалея, сбросили в пропасть; вычистили и вымыли все помещения замка, разобрали утварь в кухне, послали в ближайшее селение за недостающей, не могли ведь уходившие всю забрать с собой. Не один день тучи пыли окутывали замок, по лестницам во двор сбегали потоки грязной воды, а женщины ан-Реддиля и с ними Юва бегали повсюду, завязав платками лица, и ругались на лазутчиков так, что те ежились и потихоньку отходили в сторонку. Женщины знатные, должны были бы скрываться от всех за плотной завесой, но жизнь перевернулась и где теперь те завесы, где служанки понятливые и расторопные? Все самим! В кухне и вовсе от них спасения не было, к кухне и близко подходить боялись, пока, перевернув ее трижды вверх дном, красавицы не угомонились. Одно было средство — заманить под каким-нибудь предлогом в кухню ан-Реддиля. При его появлении Уна и Унана усмирялись и ворковали горлицами, а Юве-рабыне громче них говорить не пристало. Зато малышка Нисо за Ювой ходила, как нитками пришитая. Пленница к пленнице.

Акамие от шума и пыли прятался наверху, на площадке замковой башни, с которой когда-то высматривал Дэнеша. Становился подальше от края и не смотрел вниз: чего искать внизу? — становился лицом к востоку, где долина Аиберджит, и просил Судьбу: приведи, приведи его. Вот я, здесь, как тогда. Под силу ли Тебе свить время в кольцо, под силу ли скрутить еще один узел, который мне будет уже не разорвать, не распутать, расщедришься ли?

Но с востока скала нависаетнад Кав-Араваном. И к ней лицом поворачивался Акамие, и стала она казаться ему лицом Судьбы.

Наконец устроились, расселились. Всего их было сто девять человек и две собаки, а Кав-Араван невелик, не крепость, так, дом для жизни среди врагов, построен был еще когда в горах разбойничали незамиренные араваны. Но как раз все разместились, отделили женскую половину, на ней, кроме Арьяновых жен, поселили Юву и Нисо, и право входить туда имели сам ан-Реддиль, а еще Гури — по малолетству — и Хойре.

Он же сопровождал женщин, когда были у них нужды в других помещениях, или когда на кухне они готовили еду для приближенных Акамие.

По дороге выяснилось, что ан-Реддиль ушел из дворца не с пустыми руками: было чем в пути расплачиваться за еду и ночлег, когда в дождливую погоду нельзя было остаться ночевать в поле.

— Что же, — смущенно оправдывался ан-Реддиль, — я ведь не для себя! Я бы и больше прихватил, да на кого вьючить? Хумм-то дома оставался. Ну, хоть меньше досталось тем, кто пришел грабить дворец. А я — для повелителя.

А когда разгружали повозки (а в Кав-Араван они прибыли уже с тремя), оказалось, что и обе дарны, Око ночи и Сестру луны, и Сиуджиновы пиба и тинь умудрился прихватить с собой основательный во всех начинаниях ан-Реддиль, и ларец, в котором хранились книги ан-Аравана.

— Это-то ты как вынес? — ахнул Акамие.

— Да что там, — отмахнулся Арьян, краснея от удовольствия и гордости. — Сожгли бы и переломали. А тебе — радость.

— Стыдно мне было плакать о книгах, когда люди погибли. Но ты вернул мне радость, правда. Что же раньше не сказал?

— Да все некогда было… — смутился ан-Реддиль.

Акамие встал на цыпочки и обнял его.

Сгоряча послали за ними погоню из Аз-Захры, но ашананшеди запутали, закружили ее на ложных дорогах, так что нескоро открылось, где нашел убежище бывший царь Хайра. Пришел один отряд, в который еле собрали всадников: Хайр воевал, каждый хотел лучше искать добычи и славы, чем сторожить дорогу, ведущую из замка в долину.

Скука их быстро одолела: осажденные в замке не обращали на них внимания.

По вечерам слышались музыка и пение, ветер приносил запахи жареного с пряностями мяса. Ашананшеди распугали всю дичь поблизости, а сами ходили охотиться ниже в горах, где склоны покрыты лесом, а то и спускались в долину. Половина уходила на охоту, половина оставалась в замке. Ворота заложили так, что ни с той, ни с этой стороны не открыть сразу. Над воротами поставили лучников — не подойти.

С добычей и вязанками хвороста поднимались на скалу над замком и спускали на веревках прямо во двор.

Самые отчаянные из всадников попытались добраться туда, наверх. Но только один из троих вернулся, изодравшись о камни, еле живой от усталости и пережитого страха. А сбить ашананшеди стрелами — не получалось: ветер уносил стрелы в ущелье. Хорошо был выстроен замок Кав-Араван.

А когда доходили новости, еще скучнее становилось осаждавшим: вслед за Ассанидой чуть не все подвластные Хайру области поднимали мятежи, прослышав, что хайарды выгнали царя и теперь безглавы. Джуддатара провозглашен был царем, но власть в руках держал Кура ан-Джодия, про которого стали говорить, что он в милости у вдовой царицы, бабки нового царя. Войско рассыпалось, уроженцы мятежных областей разбежались по домам и стали врагами, войска не хватало, чтобы усмирить все восставшие области сразу, тут уж не до славы и добычи стало: удержать бы, сохранить бы, чем владели.

А когда надвинулась зима, и вовсе скучно стало осаждавшим, хуже прежнего навалились на них голод и холод в пустых горах. В селения ашананшеди не было им дороги.

Однажды вернувшиеся с охоты сказали:

— Те ушли.

Выждали, послали искусных лазутчиков проверить их следы. Следы вели в долину, там сворачивали в сторону Аз-Захры.

Больше всадники не появились — ни те же, ни другие им на смену.

Старший ашананшеди сказал:

— Поздно они ушли.

— Успеют еще добраться до жилья, — ответил Акамие, глядя в окно на валивший снег.

— Для нас — поздно. Много ли мы успели запасти на зиму? Чем будем кормить людей? А топить — чем? Вот что беспокоит.

— А что ты раньше не сказал? — повернулся к нему Акамие.

— Что толку? Дороги не было. Ты запретил их трогать. По дороге можно было бы привезти из долины муку и соль, дичи побольше набить. Много ли мы могли унести на своих спинах?

— Сказал бы…

— И ты велел бы их убить?

Акамие отвел глаза.

— Что же, совсем уже поздно? Разве твои люди уже не успеют спуститься?

— Спуститься успеют. Подняться обратно — нет.

— Пусть идут, — сказал Акамие. — Того, что у нас есть, нам, может быть, хватит, если нас будет меньше. Уводи своих людей, пока не поздно.

— Нет, господин. Оставлю дюжину. Остальных отпущу. Пусть идут в долину. Весной принесут нам еду, как только откроется дорога.

— Дюжина — много. Троих оставь.

— Троих мало. О предателе не забудь, господин. Он постарается остаться здесь. А если их даже двое? Дюжину

оставлю.

— А хватит нам того, что есть, до весны?

Навалились снега, грузные, безмолвные, смерзлись пластами, языками высунули скользкие наледи, где можно было пройти еще недавно — не стало пути. Но еще дважды поднимались наверх ашананшеди, пока могли, до снега поднимались по каменистым тропам, выдолбленным за тысячи лет козьими копытцами, а дальше — если умрешь, то умрешь в свой срок, а если останешься жив, не о чем и беспокоиться. Поднимались, волоком волоча огромные вязанки дров. Сколько их смогло подняться в замок и вернуться в долину живыми, знал только их старший, но Акамие не говорил. И Акамие, поняв это, запретил им приходить в замок.

Переселились все в кухню, разгородив ее коврами, забив окна. Пока готовилась еда, собирались все у очага, грелись. Женщины встречали караульных, возвращавшихся с башни, кружкой горячей воды с пряностями. Еду берегли, похлебки варили совсем жидко, как ни сокрушались об этом Уна и Унана. С вечера ставили в воде крупу на утро, чтобы разбухла, размягчела, чтобы меньше стояла на огне — берегли дрова. На ночь забирались под одеяла по двое, по трое, чтобы теплее. Ан-Реддиль устраивался между своих жен, а по бокам их согревали Злюка и Хумм, прижимавшие своими толстыми горячими телами края одеяла, чтобы не выходило тепло. Юва пряталась от холода вместе с Нисо и Гури, девочку они окружали теплотой своих тел, согнув колени друг к другу, обнимая ее. Акамие же ложился с Хойре и Сиуджином. И с каждой ночью все теснее они прижимались друг к другу, потому что холод постепенно проникал в тело и селился в нем, так что согреться по-настоящему уже ни у кого не получалось. Акамие все же настоял, чтобы они менялись и ложились в середину по очереди: одну ночь он сам, одну ночь Хойре, одну — Сиуджин. И ашананшеди спали по очереди, так что большая часть их постоянно бодрствовала, охраняя Акамие.

Стащили постели поближе к очагу, перегородив кухню заново: чтобы получилось тесное, но теплое помещение вокруг очага. Женщинам подвесили один ковер так, чтобы прикрывал их от прямого взгляда, но не препятствовал теплу.

Дни тянулись, похожие один на другой. Рано темнело. Поев теплого и оставив тлеть последние угли в очаге, забирались под одеяла. Лежать было скучно. Тогда Акамие заводил историю из тех, что знал во множестве, которыми когда-то развлекал еще повелителя Эртхабадра, которые выучивал к урокам, чтобы выручать нерадивого Эртхиа, которые слышал у походных костров по пути в Аттан, которые вычитывал в старинных свитках

и сшитых книгах, которыми услаждали слух царя придворные мудрецы и поэты. Нараспев, неторопливо, негромко произносил он обкатанные временем и сотнями уст слова, и они падали в темноту гладкими камешками, вспыхивали, мерцали, катились одно за другим бесконечно, завораживали, наводили сонную истому, заставляли трепетать сердце, поражали ум восторгом и ужасом невероятных случайностей и совпадений, приключившихся с людьми, жившими так давно и так далеко, что не с кого было спросить за ложь и вымысел, некого — благодарить за слезы, обжигавшие веки. И долго молчали после.

И тех, кто уплыл в блаженную дрему, выхватывал из нее голос дарны, и ан-Реддиль, отогревшийся в ласковом тепле между Уной и Унаной, садился к остывающему очагу, а жены накидывали ему на плечи одеяло, и он прижимал к груди Око ночи или Сестру луны и заводил песни — громкие походные песни Хайра и Ассаниды, звучавшие прежде у общих костров, а теперь враждовавшие между собой везде, кроме затерянного в горной глуши, осажденного снегами замка; и опускал шнурок на грифе, и выдыхал нежные тихие песни, которые сам складывал когда-то, влюбленный, и женщины его ревниво вздыхали, а он оправдывался, смущенно бася: «Это друг мой сложил, друг… из Улима… давно, когда я еще жил дома».

А когда у ан-Реддиля вконец отмерзали пальцы и уже невозможно было отогреть их дыханием, из одеял выпутывался закутанный в два кафтана Сиуджин и тихо вздыхал. Где зимние одежды на шелковой вате? Как тут выглядеть изящно и радовать взгляд господина, которому служишь, когда невозможно хотя бы подобрать одежды подходящих друг другу цветов? И как ужасно, что шов, который должен располагаться посередине спины, постоянно съезжает на сторону! И он забивался с тинем или пиба в самый темный угол, надевал серебряные колпачки с коготками на озябшие пальцы и заводил песни далекого Унбона, и ашананшеди дышали тише, слушая песни своей неведомой родины, от которой они отказались, чтобы служить изгнаннику, отпустившему их народ, когда сам он, получив свободу, делился ею со всеми, до кого мог дотянуться милостью счастливого сердца.

И, устав, засыпали.

Ашананшеди перестали подниматься на башню — незачем.

Но каждое утро, карабкаясь по обледенелым ступеням, наверх поднимался Акамие, и став лицом к скале, вершины которой он не мог видеть, молил Судьбу: приведи, приведи его, и дай мне дождаться его, дай дожить.

Все короче становились полоски вяленого мяса, все жиже

похлебка, и пресные лепешки раздавали по-прежнему по две, но сами они стали меньше, а потом стали давать по одной, а потом — по половине. Муки еще хватало, но заканчивался запасенный в горшочках жир, потому что женщины стали добавлять его в похлебку вместо мяса. Есть стало скучно, только что теплого плеснуть в сосущую пустоту чрева, и не наедались. А еще далеко было до весны, до шумных дождей, что смоют снега, расчистят дороги и тропы. И стало ясно, что голода не избежать.

О городе Шад-дам

А в Шад-даме был праздник.

Множество мелких, частящих, торопливых, перебивчивых ритмов спорили друг с другом, вызывая легкое головокружение, как если смотреть на беспорядочно мечущуюся стаю мелких птиц, и этот разнобой прошивали иглами вскрики дудок, вскрики и взвизги, и стоны — ноющие, сводящие низ живота, сосущие нутро.

А по ступеням вниз уже шли девушки, взмахивая распущенными волосами, выкрашенными у всех в цвет яркий, едва не красный, раздражающий, от которого не оторвать взгляда, и вся их одежда была — сетки, скрепленные множеством булавок с головками из блестящих камушков, сетки, в которых нежной пленницей билась плоть плясуний, сетки, увешанные гремящими бубенцами, — и каждая плясунья, извиваясь и притопывая босыми пятками, вела свой ритм. И сегодня — единственный день в году — на них не было поясов с кошелями для уплаты Обоим богам, ибо сегодня боги подавали нищим.

Они спустились по ступеням и вышли на пустую площадь, и вышли навстречу толпе, и толпа качнулась навстречу им и медленно расступилась, давая дорогу. И девушки, приплясывая, пошли вперед, и из толпы к ним тянулись руки, растопыренные пальцы вцеплялись в ячеи сеток, рвали к себе, и где-то лопались сетки, обнажая — только теперь обнажавшиеся, только теперь, — как только теперь становилось видно, что в своих сетках девушки — одеты, — обнажая пляшущие груди, бедра, ягодицы; и где-то лопалась кожа на пальцах, и руки отдергивались, но снова хватали бьющиеся в пляске тела, пятная их кровью. И кровь Эртхиа кидалась то за одной, то за другой, следуя их ритму, и плоть его вздрагивала и твердела, и тяжелела, и он терял себя, безвозвратно, слыша в себе только ритм, перебиваемый другим, и уже безраздельно тот — но вот опять его сбивает звонкое шуршание бубенцов, Эртхиа ищет глазами ту, чье тело бьется в этом ритме, находит, смотрит: она погружена в себя, в этот ритм, владеющий ею, и ее глаза закрыты, ее губы закушены, ее лицо из-под налипших прядей блестит от пота, ее бедра бьются резкими толчками, от которых жар приливает к лицу аттанского царя, и ноги его начинают вздрагивать от ступней до чресел, и переступают, и притоптывают, и он начинает извиваться всем телом — вместе со всеми, так же, как все, кто вокруг извивается, скалит зубы и орет, и рычит, и воет, обливаясь потом, разбрызгивая липкую слюну, содрогаясь.

Праздник только начинался, и в распахнутые городские ворота валили толпы со всей округи и из дальних стран, и толпа набрякала, плотнела, тяжелела и твердела, сбиваясь в одно, спаляясь одним вожделением, но праздник только начинался, только начинался, и Эртхиа слышал, не слушая и не сознавая, как под нестройный изводящий разнобой бубенцов широкими опорами встали первые тяжкие удары нового медленного ритма, редко и лениво ухающего гула. Последние робкие вскрики дудок захлебнулись, раздавленные им. Все перед глазами затянуло каленым маревом, в котором дрогнули и утратили устойчивость стены домов и колонны храма, и плиты мостовой под ногами, и Эртхиа увидел, как из тьмы за колоннами вышли и пошли ряд за рядом, в ослепительно белом под красными облаками волос, из тьмы на яркое солнце, с неподвижными строгими лицами, стальными спинами, прямо опущенными руками, шагая со ступени на ступень, ряд за рядом, шаг за шагом, и это и был тот глухой, глубокий, невыносимый медленный ритм, от которого земля уходила из-под ног и проваливалось сердце. И не могло быть, что это они своими мерными шагами творили эти удары, этот гром, а гром этот поднимался из-под земли, и они наугад, безошибочно прикасались к ее толчкам босыми ногами, невидимыми под ослепительно белым, отчего казались тронувшимися с мест колоннами храма, плывущими по низким волнам мостовой. Они только шли, опустив глаза, и к их белым одеждам не протянулась ни одна рука — еще не время! — но этот был тот самый ритм, который мог развалить вселенную и который разрывал рассудок Эртхиа.

И спасаясь от подземного грома, Эртхиа ринулся, распихивая, разрывая единую плоть толпы, на звук, на нежную сумятицу звуков, перебивчивый металлический шелест, еще слышный там, где над толпой взлетали и гнулись тонкие руки, нежные женские руки, скованные браслетами и оплетенные сверкающими рубиновыми прядями. И толпа дрогнула и повалила за ним.

Он видел близко и уже выкинул вперед растопыренные пальцы — схватить, рвать, обладать. Но огонь заступил дорогу. Толпа шарахнулась в стороны, обтекая, Эртхиа рванулся сквозь огонь — и был отброшен, и толпой снова брошен вперед, в огонь, и обжигающая пощечина ослепила и спалила мир в глазах, и марево исчезло сдернутым покровом, и пошатнувшись, замерли стены, и только осталось задыхание от невозможности вернуть свой собственный, свой родной, всей жизни ритм и приладить к нему сбивающееся сердце и содрогающуюся грудь. И золотой свет пламени над лицом Тахина.

— Ты?!

Но ритм настигал, и марево поднималось, и под ногами дрогнуло…

Пощечина.

— Ооо… Ооо… Оставь… оставь меня…

Пощечина.

— Иди со мной.

— Оставь… меня…

Пощечина.

За рукава, за отвороты кафтана, за шиворот, обрывая тлеющую, расползающуюся в пальцах ткань, Тахин волок его прочь, поперек потока, в сторону ворот, и там пришлось повернуть и врезаться в самую гущу, и против течения — и за воротами, изнемогая, вывалиться из толпы и дать телам упасть на истоптанный песок. Когда Эртхиа открыл глаза, последние жаждущие втискивались в ворота, и все никак не могли втиснуться, город не вмещал праздник в себя, подземный гул дотягивался и сюда, покачивал тугие пески, и стены гнулись.

— Что это, Тахин, что это… Что со мной было — и почему не было с тобой? — Эртхиа обхватил руками голову, согнулся, втиснул ее между колен.

— Это музыка, — сказал Тахин, вжимая щеку в песок, — Ооо…

И застонал, катая затылком по песку. Потом рывком поднялся, сел.

— Меня и зелья никакие не берут, ни курения, ничего из того, что лишает рассудка, — сказал, — никогда не брали. Не хочу. Мой рассудок — мой. Не отдам. Но больно. Ооо…

И тоже, как Эртхиа, втиснул голову в колени.

Они сидели на качающемся склоне песчаного холма, и в солнечном жаре Эртхиа не чувствовал жара от Тахина, и они почти касались друг друга локтями сложенных поверх голов рук.

Потом они одновременно вскинули головы и встретились тревожными взглядами:

— Там Дэнеш!

— И У Тхэ!

— Я!

— Нет, я. А ты оставайся здесь, потому что…

Эртхиа сник, понуро кивнул головой. Тахин потянулся к его кудрям, но вовремя отдернул руку, скользнул кончиками пальцев по плечу.

— Они даже не чувствовали меня, слышишь? Ни ожогов, ни боли.

— Я тоже, — угрюмо согласился Эртхиа. — Иди. Ты сможешь найти их?

— Я буду искать.

И пошел к воротам.

Толпа распадалась на ручьи и ручейки, обнажались плиты мостовой, и прямо на них валились со своей добычей не нашедшие лучшего пристанища, рвались сетки, летели и рассыпались бубенцы, ритм рассыпался вместе с ними. Вскрики и взвизги, но не дудок уже, а человечьих горл, стоны, вопли, смех, рыдания. Забивались в щели между домами, кидались в распахнутые двери чужих домов, догоняли, рвали друг у друга, сыто отваливались, подхватывали, тащили. Мостовая выстлана была охапками алых волос, поверх шевелились бессмысленные тела. Все со всеми. Тахин зажал рот ладонью, заметался взглядом, все поверх, поверх, не желая найти Дэнеша, не желая найти У Тхэ там, внизу. И он увидел, он увидел.

О ты, в ослепительно-белом, о ты, в алом облаке мелких, легких, текущих над толпой кудрей, о ты, так похожий… о, Аренджа! Мой возлюбленный — ты ли? Переживший ценой моей смерти и моего позора, нет, только моего одиночества в смерти и позоре, ты, Аренджа! Твое лицо! Твой взор, обрушивающий стены, обрушивающий мир — мне на голову. Ты, умерший три поколения назад, как умирают равно и верные, и отступники, ты — здесь? Аренджа! Аренджа?..

И множество рук, хватающих, рвущих ослепительно-белое, толкающих, валящих, поднимающих, прижимающих к стене, сгибающих, мнущих алое облако, чтобы наматывать на руки пряди.

Нет.

Не Аренджа.

Нет.

Бегом — прочь. И увидел Дэнеша и У Тхэ, мирно беседующих, неторопливо идущих к воротам, небрежно переступая с тела на тело, не замечая людей под собой, как и те не замечали их. И навстречу — брезгливо переступающего, перепрыгивающего тела Эртхиа, ошарашенного, но в своем уме, и радостного оттого, что — смог, и уязвленного тем, что друзьям это и не стоило труда, и помощь его никому не нужна.

Они ушли из этого города с одной надеждой: забыть. Но только не Тахин, который знал, что прочь бегут не от тех, кто безразличен, и не от тех, кого ненавидят. Но прочь бегут от возлюбленных. И да будет так.

Я вернусь.

Об оазисе Дари

Потому что любил — свободных. Понимаешь ты? Только так. Я никогда не хотел, чтобы ради моей прихоти из человека делали… О, что ты можешь знать, ты, который сам сказал, что никогда не делил ложа с теми, что под покрывалом. И в этом ты мне брат, хоть разного мы желаем и ищем, но подневольных не неволим к тому, что только вольное и бывает, а иначе… Невольник, раб, без воли и гордости, без желаний и без самого себя — нет!

Не этого я хотел, и лишь однажды… И не смог.

Страшнее страшного было мне это. И если бы ты мог представить, или понять, или почувствовать, как он был красив, о, как. И что он был для меня, и что была его красота для меня, и как я никогда не мог и не смогу забыть его лица, и нет такого второго в мире. Ты — разве можешь понять?

Теперь могу жалеть его. Тогда мог только убить. Унижало меня, что тело, столь сходное с моим, и красота, столь меня восхищавшая, не достигали достоинства человека и были низки. Это унижало. Меня.

Никогда с тех пор я и близко не подходил на рынке к тем рядам, где торгуют такими.

И не могу простить ему.

Одно было спасение от бесчестия. Я убил его быстро, и он не мучился. Я только хотел, чтобы его сразу не стало, чтобы его никогда не было. И его не стало. Сразу. И теперь навсегда: он был. О Эртхиа, не удивительно ли, что человек может быть так прекрасен? И не удивительно ли, что я давно думал, что забыл о нем, и много боли мне пришлось испытать, и стал я мягче женщины. Но сейчас вспомнил о нем — и будто его драгоценное тело еще не остыло здесь, рядом, руку протянуть… И мой гнев все еще сильнее горя.

И даже Аренджа не был мне так дорог, как этот, беззащитный.

А Эртхиа, морщась, приподнимался в стременах, чтобы дать ветру высушить промокшую от пота одежду, и мокрой она была только там, где тяжестью тела оказывалась прижата к седлу. В других же местах пот, не успев выступить, тут же иссушался обжигающим ветром, подобным летящему пламени, и Эртхиа думал: не так ли Тахину? И как он живет в огне, если мне и малого жара от высоко в небе подвешенного светила не вынести.

— Видишь те серые камни? — обернулся к нему Дэнеш.

Эртхиа только качнул в ответ головой, обмотанной платком

от солнца, и горячего ветра, и несомого им тонкого песка.

— Что нам до них? — спросил за него Тахин.

— Это гельт, который мы ищем. Там отдохнем, — пообещал Дэнеш и повторил это для У Тхэ.

— Я понял, — ответил У Тхэ на хайри.

Эртхиа набрался сил разлепить сожженные губы:

— Зук? Или хава?

— Ни тех ни других там нет. Место заповедное и запретное, кроме одной ночи в году, но, если я не ошибся в расчетах, нам ничего не грозит.

— Хорошо бы.

И они направили коней к тем камням, которые все росли им навстречу и обернулись грядами изглоданных ветром невысоких скал, и в них нашелся проход, и путники въехали в наполнявшую его горячую тень, и пустили коней по тропе, которая, то поднимаясь, то опускаясь, огибала острые выступы и глыбы, торчавшие из песка. И глаза их наполнились тенью и увлажнились, и они жмурили их и раскрывали широко, радуясь отдыху от слепящего солнца. Кони ступали бодро, почуяв воду, и сами путники уже почувствовали ее запах, и повеселели, и им казалось что слышат шелест травы и журчание ручья, и так это было здесь невозможно, что впору было опасаться, что лишились рассудка.

И Эртхиа каблуками поторопил коня, когда тропа побежала вверх, и за краем этого подъема виднелось только небо, и Эртхиа понял, что они приближаются к журчанию и шелесту, и сейчас, стоит подняться до верха, станет видно все это. И он зажмурил глаза, выезжая на солнце, и открыл их на переломе тропы, и устремил вниз нетерпеливый взгляд.

И рванул на себя повод.

Дэнеш поспешил догнать его и первым из спутников поднялся на гребень и остановил коня. У Тхэ и Тахин подъехали следом. И тоже остановились, глядя вниз, не в силах оторвать глаз от того, что открылось им.

Там внизу, на берегу длинного заросшего высокой травой озерца, на разрытом множеством следов песке темнели остывшие кострища. Между ними, как в лавке торговца, прямо на песке лежали словно бы свертки дорогих тканей, ярких, сверкающих золотым шитьем, и ветер сыпал песок на драгоценные браслеты и ожерелья и шевелил легкие, прозрачные как воздух вуали и пряди волос, рассыпанных по песку.

— Шад-дам, — без голоса сказал Тахин.

— Что с ними? — прошептал Эртхиа. — Здесь мор?

— Я ошибся, — сказал Дэнеш.

А У Тхэ молчал, совсем не понимая.

И Эртхиа погнал коня вниз, и, не доезжая, повернул его и прыгнул с седла, и кинулся к ним бегом. Но незачем было спешить.

А он ходил между ними, и наклонялся к каждому, падал на колени, ощупывал и тряс безжизненные тела, вскакивал, перебегал и снова тряс, как будто не видел, как страшно запрокидывались головы, не видел крови, черными пятнами запекшейся на одеждах и волосах. Он насчитал две дюжины, и у каждого горло было перерезано одним точным безжалостным взмахом. И Эртхиа сбился со счета.

Дэнеш подъехал и спешился, и, крепко взяв за плечи, увел от них Эртхиа.

— Дети, — объяснил ему Эртхиа. — Что это? Почему?

— Я ошибся, — повторил Дэнеш. — Мы слишком долго в пути. Я потерял счет времени.

— Но что это?

— Это Дари.

— Дари?

— Здесь хава и зук справляют свой праздник. Я думал, далеко до него.

— Это — праздник? — задохнулся Эртхиа. — Везет нам на праздники… Что же праздновали здесь?

— Ночь дозволения, когда позволяют себе запретное, а после… — Дэнеш качнул рукой в сторону озера.

Эртхиа сел на песок, крутя головой и вздрагивая, как будто смехом пытался спастись от ужаса.

— Если бы ехали через Удж, я знал бы. Не привел бы вас сюда.

— А как ты узнал бы в Удже? — буркнул Эртхиа.

— Они приезжают на базар, чтобы купить невольников к празднику. Купцы привозят лучших к этому времени, знают, что эти не скупятся.

— Они их к празднику покупают? Как ягнят и тельцов для угощения?

— Только лучших и только…

— Убивать зачем?

— Считается, что после этого недостойны жить.

Эртхиа задохнулся снова, бил кулаками в песок, и рычал, пока не охрип.

— Я приведу сюда войско. Я истреблю это племя…

Дэнеш отошел от него, перемолвился парой слов с У Тхэ, и они принялись разгребать песок, чтобы вырыть им хоть неглубокую могилу. Не глядя на Тахина, который стоял там,

наверху, не сделав ни шагу по склону. Огонь его был почти не виден в ярком солнце, только воздух вокруг ходил стеклянной зыбью.

Эртхиа притих и стал терпеливо, упрямо обходить их всех заново, и тех, кого пытался уже дозваться, и тех, к кому не подошел в первый раз. И каждому, убедившись, что он мертв, оборачивал голову краем его покрывала и обещал непременно найти его на той стороне мира, когда придет срок, и там стать ему защитником и старшим братом. И для того, чтобы слово его обрело силу, брал у каждого серьгу или браслет, если легко снимался, а колец уже не снять было. Свои же серьги и все кольца он им оставил, а кому не хватило, накрепко поклялся непременно привезти, как только доберется до своего царства и сможет покинуть его ненадолго, уладив только самые спешные дела.

И оставался только один последний, с кем не успел еще проститься Эртхиа, когда У Тхэ и Дэнеш стали переносить их на расчищенное до ровного место, чтобы всех вместе засыпать песком.

— Я помогу вам, сейчас, подождите, — сказал Эртхиа, и опустился на колени. Убрал с лица пепельные легкие завитки, наклонился, сдувая тонкий белый песок. И показалось — дрогнули ресницы. Он замер. Присмотрелся. И зашептал, боясь отпугнуть надежду:

— Ты мой хороший, ты мой хороший… Дэнеш!

И так он позвал, что У Тхэ с Дэнешем кинулись к нему со всех ног, и Тахин бросился по тропе вниз, сразу ему поверив.

И пока У Тхэ бегал к озеру наполнять водой кожаное ведро, из которого они поили коней, а Дэнеш, вывернув на песок сумку, выбирал снадобья, и промывал, и умащивал рану, а Эртхиа возносил, вперемежку с восторженной руганью, мольбы и благодарности Судьбе, дрожащими руками придерживая на коленях голову мальчика, Тахин стоял в стороне, стиснув до белых косточек пальцы, и смотрел на все это и на Эртхиа и, как всегда, говорил ему то, чего не говорил никому.

Когда я, жмурясь в блаженстве, жаловался, а он, перебирая рассыпанные по его коленям мои волосы, только хмыкал или выгибал бровь.

— Говорят, между нами не может быть любви. Говорят, между нами любви не бывает.

— Ммм?

— Я так слышал. Говорят, любовь — это только у них. А нас может связывать дружба или страсть… Но любовь Ў это у них. Не у нас.

— Ммм…

— Я так слышал. Говорят.

И тогда он наклонился близко к моему лицу и сказал:

— Может быть, это и не любовь, кто я такой, чтобы спорить с ними. С ними! Пусть, не любовь. Но я умру за тебя.

И, потрясенный сиянием его лица, я ответил тогда:

— А я за тебя, Аренджа.

— Почему ты сказал — Шад-дам?

— Они так лежали…

— Да! Я видел. Но что общего? — даже не спросил, а попросил подтвердить Эртхиа.

— Не могу назвать.

— Я тоже.

И после молчания:

— Дэнеш, почему он живой? Разве тот, его хозяин, настигни его Судьба, не почувствовал, что нож прошел неглубоко? Пьян был? Или просто — знал, что этому не выжить?

— Солнце… — ответил Дэнеш, наклоняясь, чтобы помешать угли в костре.

— Даже если бы он очнулся и попытался уйти… — согласился было Эртхиа, но подумав, сам же и возразил: — Но здесь воды — хоть плавай в ней. И птицы, и их гнезда, и трава…

— Разве тот, кто их покупает к празднику и убивает, чтобы не жили, может думать о них, как думаешь ты? — сказал Тахин, не поднимая глаз, тихо. — Думать, как о людях, способных позаботиться о себе и выжить, способных к чему-то большему, чем то, на что их употребили? Просто — как о людях? Разве я сам не называл таких — куклами? Силки Судьбы…

— А теперь — что? Ты изменил твое мнение? — блеснул глазами Эртхиа.

— Теперь мое мнение не важно. Мне не важно. Какое имеет значение, что я думаю о них, когда они — вот: лежат мертвые под этим песком, а могли бы жить. Скажи мне, Эртхиа, ты всех их назвал братьями — ты можешь взять в братья еще одного? Без обряда. Он давно мертв. Будь ему братом, когда придешь туда. Найди его на той стороне.

— А ты сам? — удивился Эртхиа, и смутился, и спросил: — Ты там был — что же?..

Тахин помедлил, качая головой.

— Там я не встретил никого и не могу даже сказать, что я там был, потому что, кажется, меня вовсе не было. Та сторона — пуста.

Теперь Эртхиа замолчал надолго, зарыв пальцы в остывающий песок.

— Я в это поверить не могу. Даже пытаться не стану. И скажи,

почему ты меня просишь его найти, если сам же говоришь, что там никого нет? Сам же говоришь и сам же просишь…

— Тебя. Никого другого не стал бы. А ты — можешь. Думаешь, почему этот жив? — Тахин качнул головой назад, там, завернутый в их плащи, спал мальчик.

— Ну, мы же говорили…

— Да что мы говорили?! — возмутился Тахин. — Пьяный хава? Презрение и самодовольство? Могут ли они быть причиной вещи доброй и радостной? Что другое? Случай? Может быть. Назвать тебе имя этого случая?

— Назови, — согласился Эртхиа.

— И назову. Эртхиа ан-Эртхабадр, вот его имя. Твое желание, вот его имя. Ты хотел, чтобы выжил хоть кто-то. Ведь так? Ну скажи, хотел?

— Хотел…

— Ну хоть один!.. Думал ты так?

— Думал…

— И вот!

— Так это когда, а это — когда! — рассердился Эртхиа. — Убивали их утром, на рассвете, так, Дэнеш? А мы приехали уже за полдень. Так? И что ты мне говоришь?

Тахин махнул рукой.

— Я с тобой, ан-Эртхабадр, спорить не буду. Я только тебя прошу: придешь на ту сторону — найди там одного по имени Зивеш.

— Так ты говоришь, что нет там никого.

— Нет.

— И что — нет той стороны?

— Нет.

— А как я туда приду?

— Вот ты придешь, и она будет. Скажи, Дэнеш.

О встрече

Выше колен проваливаясь в снег, впереди рывками пробирался У Тхэ, и Эртхиа, шедшему сразу за ним и левее, был виден тонкий пар, волнами плывший над его спиной — как от разгоряченной лошади. За Эртхиа, справа, трудился Дэнеш, вытаптывая тропу для Тахина.

Здесь снова была зима, из которой они уплыли на корабле Тарса Нурачи, и после жгучих ветров Авассы их лица снова обжигало дыхание близкого ледника. Лошадей они оставили ниже, в долине, где снег уже стаял, у пастухов. Там же оставили и мальчика, которого называли Дари, по месту, где его нашли, потому что он хоть и пришел в себя и даже окреп за дорогу, но так и не сказал ни слова. Сами же поднимались второй день, привычно греясь от Тахина и привычно же расчищая и утаптывая ему путь — не велика помощь Тахину, но иначе не могли.

Дэнеш спросил: ведь невозможно пройти зимой в Кав-Араван? Я покажу, ответил Тахин. И показал — груду скальных обломков, закрывшую полнеба, когда к ней подошли ближе. И повел в обход ее, сам вышел вперед и повел. Эртхиа показалось, что ан-Араван не замечает снега под ногами. И задумавшись об этом, он пропустил тот миг, когда от камней отделились двое и шагнули навстречу путникам. Он заметил их, только ткнувшись в спину У Тхэ.

Ашананшеди высвобождались из тяжелых меховых плащей — для долгой засады, ожидания ночь напролет, и быстрым движением руки приветствовали шагату, а после кланялись аттанскому царю — брату царя Хайра. Незнакомцам от них досталось лишь по короткому вскользь брошенному взгляду.

Дэнеш как и не уходил из Хайра.

Короткие вопросы — быстрые ответы — приказ. Ашананшеди, подхватив со снега брошенные плащи, заторопились вниз, по тропе, проложенной пришельцами.

— Они вернутся позже, — сказал Дэнеш. — Пройдут по нашим следам. По пути, который ты укажешь, ан-Араван.

И не стал говорить, что ашананшеди спешат принести еды и топлива — хоть по вязанке на спину — для заточенных снегами в замке, если живы еще они. Потому что три последних дня не видели дыма над высокой башней Кав-Аравана.

В хитром нагромождении камней скрывался небольшой грот. Они нашли приготовленные факела, пропитанные горным маслом. Тахин коснулся одного рукой. Вспыхнувшее пламя осветило низкий свод в белесых потеках и небольшую, едва в рост

человека, дверь в дальней стене. Тахин посмотрел на нее с горьким упреком, — так показалось Эртхиа, — и быстро подошел. Посередине позеленевшей двери, вделанное так, что, опущенное, полностью уходило в углубление, висело кольцо. Тахин поддел его, повернул хитрым образом в одну сторону и в другую, считая обороты. Но на середине движения почувствовал его бесполезность.

— Она не открывается, — нахмурился Тахин, пошевелил кольцо еще раз. — Она открыта… Посмотри-ка, Дэнеш. Не видишь ли ты каких-нибудь следов. По-моему, дверь открывали, а этого не должно быть, ведь я был последним в моем роду, и никого давно не осталось в живых, и никто не может знать об этой двери.

Дэнеш сделал знак Эртхиа и У Тхэ посветить, тщательно осмотрел место.

— Если и был здесь кто, мой Тахин, то не позже, чем годы и годы назад. Все здесь остается непотревоженным уже долгое время, мне кажется. Но сейчас все смерзлось, и трудно быть уверенным. Дверь, и правда, прикрыта неплотно. Войдем?

— Это неизбежно, — сказал Тахин.

— Постой, — попросил Эртхиа. — объясни мне, иначе я дня перед собой не вижу, почему же ты не ушел из замка, почему остался и смотрел, как складывают для тебя костер, и снимал струны с дарны, и писал свои записки, и прятал их, и — остался, почему? Если вот — был выход, и спасение, и жизнь?

Тахин провел рукой по двери.

— Этого не было у меня.

И открыл дверь, и вошел.

Эртхиа стоял в замешательстве, и тогда У Тхэ шагнул в дверь следом за Тахином, и Дэнеш, потянув за руку, ввел Эртхиа в подземный ход.

Тебя я ждал, Аренджа.

Помнишь, меня вывели на площадь перед дворцом, и возвели на помост, и поставили на колени, и я не противился, потому что это было не важно — важно было, что имени твоего я не назвал. И мне отрезали косу, и ветер подхватил ставшие такими легкими волосы и бросил мне на лицо, и стало легко не видеть смотревших на меня. А потом везли через всю Аз-Захру, и на улицах было столько людей, и ты был среди них, и смотрел на меня как все, и отвернулся, и что-то сказал стоявшим рядом с тобой, и они засмеялись.

Но я оправдал тебя, Аренджа. И я тебя ждал. Ты знал — один, кроме меня, знал об этой двери, о тайне ее расположения и способе открытия. И я ждал, и смотрел в окно, как складывают

для меня костер, и снимал струны с дарны, и писал свои записки; даже уверившись, что ты не придешь, даже когда мой калам чертил: «Но в огонь пойду я один», — даже тогда я ждал тебя, Аренджа.

Если бы ты пришел — я натянул бы новые струны, я пошел бы с тобой далеко от этого места, и взял бы с собой мои записки, и показал бы тебе, и каялся бы перед тобой, и вместе с тобой смеялся бы над глупым Тахином, помыслившим в глупости своей, что Аренджа может его предать…

А раз ты не пришел — зачем мне было уходить отсюда? Зачем мне было уходить?

Они шли друг за другом, и факелы уже были не нужны им, так ярко светились волосы Тахина, и от рук его, бессильно опущенных, шел красноватый свет. Эртхиа, одержимый любопытством, обогнал уже и Дэнеша, и У Тхэ.

Не думал я, что придется мне идти этим путем, и что так больно делать каждый шаг там, где ты этого шага не сделал, и так больно от огня мне было только однажды, тогда, когда ты не пришел, и что же это сейчас со мною, ведь это мой огонь, но как дышать этим жаром, и от него не укрыться, как долго, долго, огонь настоящий, и я — настоящий, и мне не выжить, Аренджа, ты снова меня обрекаешь.

Огонь.

— Стой! — крикнул Эртхиа, и Тахин остановился. Пламя его вспыхнуло ярко, облепило его, как ткань на ветру облепляет тело. А глаза его были закрыты, и губы сжаты, и кулаки стиснуты. Он так и шел, так и привалился спиной к стене.

Но Эртхиа указывал рукой на что-то, лежавшее впереди, на что Тахин едва не наступил: ком тряпья, из-под которого виднелась рукоять меча и край ножен, и осыпавшиеся золотые бляшки, поблескивавшие вокруг.

— Смотрите! — воскликнул Эртхиа. — Что это?

— Кто, — поправил Дэнеш и вышел вперед, наклонился над останками неизвестного. Тахин тоже наклонился к ним, и огонь его потемнел и притаился. У Тхэ подошел и повыше поднял свой факел.

Это были только кости, прикрытые истлевшей одеждой. Дэнеш пошарил по рукой по камню и поднял наконечник стрелы.

— Стрела ашананшеди, — сказал Эртхиа.

— Прошла насквозь. Он пришел сюда раненый и умер здесь.

Тахин опустился на колени, провел руками по тряпкам. Они занимались искрами и обугливались под его ладонями. Он посмотрел на Дэнеша, посмотрел на Эртхиа со странной беспомощностью во взгляде: то ли просил, чтобы ему помогли

понять, то ли — не понимать. Потом стянул покрывавший череп платок и поднес к лицу, и закрыл им лицо. Но черными хлопьями осыпался платок, и только сжатые кулаки закрывали лицо, и Эртхиа отвернулся.

Они пошли, оставив Тахина во тьме, освеченной его горем, одного, с Аренджей, и шли молча, подняв факелы, один за одним: Эртхиа, У Тхэ, Дэнеш. Но Тахин вскоре догнал их, они услышали его шаги, и он сам появился рядом, темный, тихий.

— Я вернусь после, — сказал он.

Ты подождешь еще немного?

О встрече

И это, конечно, был голос Акамие, теплый, спокойный. Он жив, и Эртхиа сглотнул слезы, потому что если бы он прошел весь мир и добыл спасение своему дому, а брата, вот этого брата не успел бы спасти, откуда бы взяться радости в его жизни? Он жив, и с ним — еще кто-то, потому что не самому же себе он рассказывает? С него сталось бы… Но речь он ведет по другому: не так, как говорит сам себе размышляющий, но как учитель и — повторяя в точности мелодию почтенного Дадуни. Как будто не было этих лет, часов дневных и ночных, парсанов, отмеренных рысью и галопом, волн и созвездий, катившихся над головой, пыли и дыма, застилавших горизонт. Как будто теперь царевич опоздал к уроку и ждет под дверью, когда бы ловчее войти, чтобы выручить брата, как брат выручал когда-то его.

— Об этом я прочитал в запрещенной книге одного мудрого мужа из Уджа, — гладко вел Акамие. — Не удивительно ли, что земной мир являет собой круглое тело, круглое со всех сторон. Отчего не падаем мы с этого шара и как удерживаемся на его покатой поверхности, в книге не объяснялось, равно как и то, что же станет с человеком, дерзнувшим спуститься до самого низа. И небо, говорится там, окружает мир со всех сторон. А еще сказано, что за небом — пустота без границ и пределов, и мир падает в этой пустоте, а из того, что он не ударился до сих пор о небо, следует, что и небо летит вместе с миром.

— Нет, тут что-то не так, — сказал некто густым голосом. — Тогда любой, упавший с горы или с крыши, не ударялся бы о землю и ни за что бы не получал увечий, ведь и земля падала бы вместе с ним, и лететь бы им рядом.

Они пропустили вперед хозяина, но Тахин отказался.

— Здесь ашананшеди, — сказал. — Пусть Дэнеш.

И ступая на цыпочках Эртхиа, Дэнеш, Тахин и У Тхэ подошли к дверям в кухню и замерли, прислушиваясь

— Книгу эту оттого и запретили, — все объяснял Акамие, — что от нее люди сходили с ума и начинали утверждать, например, что звезды — такие же как солнца светила, только видимые нами издалека, и что они также падают в безмерной пустоте. Или еще: не солнце вовсе совершает свой путь по небу, а сам мир обращается к нему то одной стороной, то другой — оттого и меняются день с ночью…

— А отчего тогда эти беды с луной?

— Наш мир встает между ней и солнцем, и тень от него ложится на ее лицо. Жаль, эта книга поздно попала ко мне: я не

успел послать в Удж за кем-нибудь, осведомленном в этом учении. У человека такой выдающейся мудрости должны же были остаться ученики…

— Что за беда! — воскликнул Эртхиа. — Я не я буду, если немедленно по прибытии в Аттан мы не отправим в Удж Тарса Нурачи, а это такой купец, брат, что он не только учеников этого человека разыщет, но и его самого привезет с той стороны мира!

И, откинув ковер, вошел к ним.

Там они лежали и сидели, укрывшись одеялами и коврами, и шкурами, вокруг погасшего очага, и нехорошо пахло там, несмотря на холод, от плохо выделанных шкур и давно не мытых тел. И худые были они все, и сам Акамие, и шрам отчетливо выступил на натянувшейся коже. И были вокруг него все незнакомые люди, кто-то маленький желтолицый, и кто-то темнокожий, длиннорукий, и кто-то схожий с отощавшим по зиме медведем, вцепившийся в холки отощавших, как он, огромных собак, и с ним две женщины, прикрывавшие лица рукавами, и мальчик какой-то ни на кого из них не похожий, и совсем маленькая девочка на руках у прозрачной от худобы аттанки. И ашананшеди, но они все на одно лицо, раз им так этого хочется.

За Эртхиа вошли все. И когда вошел У Тхэ, маленький желтолицый выскочил из-под ковров и за ним потянулись длинные спутанные волосы, больше его роста, а он поднял руки и закрылся рукавами и пробормотал на дэйси:

— Прошу меня простить. Надлежит набелить лицо…

И скользнул за ковры с другой стороны.

— Сю-юн? — обернулся к У Тхэ ошеломленный Эртхиа. Но тот молчал, глядя перед собой, и в глазах у него было непонятное.

Акамие же медленно-медленно шел к ан-Аравану, и лицо его светилось восторгом, ведь был он братом Эртхиа, рожденным с ним под одними звездами, и свойства их были схожи, и Акамие во все глаза смотрел на Тахина, и подошел к нему близко, и поклонился, и обнял. Эртхиа рванулся было остановить, но Дэнеш удержал его за руку.

И Тахин стоял еще мгновение с растерянным лицом а потом поднял одну за другой непослушные руки и положил их на спину Акамие и не сразу решился сжать их, как положено, когда обнимаешь брата.

И тут все кинулись обнимать друг друга, знакомых и незнакомых, и колотить друг друга по плечам и спинам, не делая различий между царем и ашананшеди, между воином и евнухом, и ан-Реддиль орал собакам по-улимски, что все здесь свои, и женщины ан-Реддиля, вслед за вольной по-аттански Ювой,

обнимали мужчин, как родных братьев, и сам господин У Тхэ растерянно моргал, потому что Нисо, перебравшись к нему на руки, обвила руками его шею.

Одно мне непонятно, сказал потом Эртхиа. Оттого ли огонь погас, что Акамие его обнял, или обнял его Акамие и остался невредим, оттого что огонь отпустил свою добычу?

И только Сю-юн не радовался со всеми, скрывался за коврами, не смея показаться.

О том, как женщины готовили обед

Так сказала царица Хатнам Дерие своим молочным сыновьям:

— Если не получится, как мы задумали, идите с ним и найдите средство сделать это все равно, а если и тогда не получится, попытайтесь еще раз, ищите случая, который может представиться, когда его и не ждешь. И если не выйдет — тогда убейте его, но возвращайтесь ко мне живыми. Учить ли вас, как это сделать?

— Есть, госпожа матушка, яды, которые действуют не сразу, и тот, кто хочет отвести от себя подозрение, должен пользоваться таким ядом. Потому что, если убить иным способом, можно себя выдать, а яд, действующий с отсрочкой, не выдаст подсыпавшего его.

Юва осталась в кухне одна. Последняя дюжина пресных лепешечек плясала в раскаленном жире, нежно присвистывая, вздувая румяные хрусткие корочки. Юва ловко переворачивала их одну за другой, подхватывала деревянной шумовкой и выкладывала на блюдо, завершая сооружение внушительной горки, чтобы горяченькими быстренько нести на стол.

Еда, горячая, жирная, сытная, чтобы завтра у всех хватило сил уйти отсюда и добраться до селения ашананшеди. Там никто не живет теперь, кроме тех лазутчиков, что последовали за царем Акамие, но там найдется, чем накормить огонь в очаге, и туда смогут охотники приносить добычу. До весны там легче будет дожить. А что весной, не загадывали.

Чего не сделает сотня ашананшеди, когда вот — царь, а вот — шагата. Есть перед кем показаться. Принесли еду, принесли дрова. В считанные минуты сорвали разгородки, вымели весь мусор из кухни, огонь запылал в очагах, под котлами, наполненными чистым снегом, в ближних комнатах пыль стояла столбом, по лестнице вниз волокли ковры — в снег, чистить, мести и выколачивать. Прямо в кухне устроили всем мытье, сначала мужчинам, после — женщинам, как положено.

А после подтирали воду, заново наполняли котлы снегом, готовили мясо, грели вино, пекли и парили во все руки, кто, что и как мог. И расставляли столы, и усаживались, нарядные, красиво причесанные, Уна и Унана — в чистых платках на лицах, строгие, чинные, как будто не обнимались со всеми всего-то пару часов назад!

Оставалась только сладкая подлива из зайчатины и сушеных абрикосов, степенно загустевавшая в горшке на краю очага, которую то и дело надо было помешивать. Юва поторопилась

положить последнюю лепешку на самый верх, и горка поехала во все стороны, звонко шурша.

— Ой! — испугалась Юва и наклонилась, расставив руки, пытаясь удержать, поймать разлетающиеся золотистые ароматные ломкие лепешки.

— Что ты делаешь?! — закричал Хойре с порога. Юва обернулась в испуге и недоумении. Рядом с ней в тенях от котлов и сковород, развешанных вокруг очага, едва различимой тенью плыл ашананшеди, и — едва уследить глазами, и сразу не понять смысл его мгновенного текучего, плавного, мягкого движения: пальцы правой руки друг о друга над горшком с заячьей подливкой, и пальцы левой немыслимым перехватом выплескивают сталь, но пока не пускают птицу-смерть лететь, пока держат ее невесомо на самых кончиках, и рука взмывает…

— Юва, сюда! — крикнул Хойре раньше, чем понял, что это нельзя.

— Если крикнешь еще раз, я убью ее, — почти не слышно произнес ашананшеди.

— Юва, иди ко мне.

Они обречены. Они уже мертвы. Она и он. Оба. Иди ко мне, моя невозможная. Не в жизни, хоть в смерти. Иди ко мне.

— Иди к нему. Я убью вас обоих. Или, если хочешь, девушка, я убью только его. Мне нужна жена. Ты красивая. На что тебе этот? — почти неуловимый слуху, но так отчетливо слышимый голос, и от него мутит, и нетерпение дрожью проходит по телу, и смерти не страшно, так должно быть, так и будет, так должно быть, когда звучит этот голос, но скорее, скорее — так мучительно слышать его.

Юва идет, как по узкому мосту, разведя руки, и видно, что пальцы у нее еще белые от муки. Она идет, не оглядываясь, но все в ней, и слух, и зрение, и чуткость напряженных пальцев — обращено назад, откуда тянется за ней этот голос.

И Хойре протягивает руку ей навстречу, но она не замечает, проходит мимо и прячется у него за спиной, и не дышит там. И слушает.

— Ты молчи, оскопленный, я успею убить ее, даже если сначала убью тебя. Зачем ты за него прячешься, девушка? Он не сможет защитить тебя. Я убью его. Иди ко мне.

И Юва, качнувшись, делает шаг и выглядывает из-за Хойре.

— Пощади его, — сама не слышит своего голоса.

— Подойди ко мне, и мы поговорим об этом.

Юва делает шаг.

— Нет! — с трудом выдыхает Хойре. — Она не пойдет к тебе. Ты считаешь себя мужчиной?

Каждое новое слово дается все легче. Они обречены. Ничего хуже с ними уже не случится. Вот время — жить. Без страха. Без сожалений.

— Ты считаешь себя мужчиной, предатель? Долг мужчины — служить своему царю и служить верно. Я больше мужчина, чем ты.

И во весь голос:

— Измена! Еда отравлена!

И нож летит в горло.

И Хойре кажется: нож летит медленно-медленно, длинной рыбой горных ручьев, отливая перистым узором драгоценной стали, и медленно-медленно навстречу ножу выступает Юва, поднимается на носки, беспомощно и бесполезно раскинув руки, а нож летит, и это ему — в горло, а ей, теперь уже ей — в лицо, и ничего не успеть, но как медленно все и тягуче, и вязко, мучительно, бесконечно, и можно еще успеть: протянуть руку, чтобы оттолкнуть ее, но оттолкнуть уже не успеешь…

И чистый звон стали о сталь, и лязг. И нож крутится на полу, и лезвие рядом, а другие летят из-за головы Хойре, так быстро, только мгновенные высверки по сторонам, и им навстречу тоже сверкает, и звенят, сталкиваясь, но не все…

И тот, напротив, в тени, падает, и Юва оборачивается — глаза во все лицо! — и бросается на шею, и сзади по плечам и спине дружески похлопывают руки.

— Ты не из рода Шур? — спрашивают, смеясь. И один:

— Честью будет назвать тебя братом.

А другой:

— Сына моего отдам тебе на воспитание.

И нет их.

И можно сесть на ковер и гладить ее по волосам, и страшное — позади.

О свадьбе

Тут и решили, не откладывая, справить им свадьбу. Неизвестно, что ожидает всех завтра, пусть сегодня эти двое уснут мужем и женой, что бы это ни значило для них. А чтобы не оставались бездетными, не терпели стыда перед людьми, дали им Гури в сыновья и Нисо в дочери. А чтобы не оставались бездомными, тут же дали им во владение Кав-Араван, ведь Тахин отказался принять замок обратно, как ни уговаривал его Акамие.

Акамие написал им вольные на шелковых платках, больше не на чем было.

— Иди, поставь свою печать, — попросил Акамие брата, — моей власти ныне нет в Хайре, как бы не усомнились в их праве.

Эртхиа развел руками:

— Остался мой перстень в оазисе Дари.

— Ты был там? — замер Акамие. — И что?

— Я привез оттуда одного, которого хотел бы поручить твоим заботам. Не знаю я, что лучше для такого, как он. Брат он мне — примешь его братом тоже? Сю-юна отпустил бы…

— Примет ли его У Тхэ? Они так привержены совершенству, — усомнился Акамие.

— Это да, это верно.

— Боюсь, господин не простит Сю-юну того, каким застал его здесь.

— Не из камня же у него сердце?

— Кто знает, кто знает… — вздохнул Акамие. — Ты, я понял, его господину теперь господин, так вели ему…

— А что, он такой. Велю — и подчинится. Всей душой подчинится, вот ведь они какие. Но сначала пусть сами, так вернее. А уж если не выйдет…

— Ладно, тебе виднее, а вот что нам делать с вольными?

— Погоди с этим, решим, не забудем.

— И еще… Ты расскажешь мне о Дари? После?

Ашананшеди тем временем совещались над свадебным угощением, припоминали, кто за кем приглядывал, кто куда и надолго ли отлучался, что из еды возможно оставить на столах, от чего надлежит избавиться. И так доверяли им все, что сели за столы без опаски и начали пир.

Какие песни пели на этой свадьбе, какие истории рассказывали!

Тахин сидел со всеми, но не прикасался ни к угощению, ни к дарне. Молчал. И никто его не трогал. Он хотел быть со всеми. Но не мог.

Согревшись, засыпали прямо над едой (а казалось: ни кусочка лепешки, ни капельки жира не оставят).

— Все, — сказал Акамие, переглянувшись с Дэнешем. — Теперь будем спать. Завтра идти.

Все завозились, выбираясь из одеял и теплых плащей, в которые кутались. У Тхэ выпутался быстрее всех, поклонился, поднялся на ноги и вышел вон, как будто только и ждал этих слов, чтобы выйти. Не оглянувшись.

Акамие повернул голову. Сю-юн, причесанный, набеленный, сидел рядом неподвижно с неподвижным лицом. Мимолетно коснувшись его колена, Акамие качнул кистью в сторону двери и подтвердил глазами: иди за ним. И Сю-юн поклонился, встал и пошел за У Тхэ.

В комнате, отведенной им самим себе для сна, У Тхэ снизошел услышать быстрые легкие шаги за спиной и обернулся. Посмотрел.

— Выполняю повеление, — склонившись, ясным голосом сказал Сю-юн. И больше ни слова не говоря, подошел к У Тхэ и протянул руки, и У Тхэ сбросил ему на руки кафтан.

— Это ты?

Акамие упал в темноту, в протянутые навстречу руки, ужаснулся силе их, когда стиснули — не вздохнуть, лицом к лицу, обхватил ладонями его затылок, прижал, прижал, даже не целуя — втискивая себя в него, его в себя.

— Это я, — задыхаясь, отозвался Дэнеш. — Это ты, это ты… — как будто удивлялся и удивлялся, как будто что-то удивительное могло быть в том, чтобы им стиснуть друг друга, вцепиться друг в друга, как бы терпящим бедствие — в свое спасение. — И слушать не стану, — говорил прямо в его лицо, в глаза и брови, в губы, в щеки, в ноздри, в висок, в тонкие хрящи уха: — не стану слушать, молчи… как раба… как с рабом… царь! никогда ты мне царем не будешь, ты, жизнь, ты, смерть моя, ты все мое, гибель, отрава, слушать не стану, не смей, молчи…

И молчал.

Тахин же пришел к Арендже, и лег с ним, и укрыл своим плащом.

— Это ты? — Это я.

О Сирине

Он пришел и встал на скале над замком, почти невидимый, белый на белом снегу.

Издалека он увидел свет над Кав-Араваном и шел на этот свет.

Не скудный свет уже погашенных светильников, не свечение догоравших в очагах углей.

Пылал в ночи Кав-Араван, полный любви.

Утром собирались в дорогу.

— Куда ты теперь? — спросил Акамие брата.

— Знаешь сам. А ты?

— Я должен пойти в Аиберджит. Может быть, Сирин знает, что мне делать, и как спасти Хайр, и как избыть мою вину.

— Мало тебе, что я туда ходил — не много радости нашел.

— Мое царство погибло.

— А мое-то? Я туда пришел, и оно погибло.

— Но мое уже погибло, терять нечего.

— А он скажет: погибло, потому что ты незваным явился. И понимай, как хочешь. Выходит, явился, потому что погибло, а не явился бы — и нужды бы не было туда переться, — Эртхиа развел руки.

— Он так сказал тебе?

— Да.

— А в прошлый раз ты этого не смог рассказать — ничего о долине.

— И верно. К чему бы это? — насторожился Эртхиа. Оглядел потолок над собой, прислушался к нутру — ничего особенного, гибелью грозящего. — А видел я Сирина, — начал он осторожно, — облаченного в радугу, и был он с тобой — одно лицо, как будто он — твое отражение, вызволенное из зеркала. А?

И ничего не изменилось. Тогда Эртхиа топнул ногой:

— Ну, и где твои страшные кары? Вот, я раскрою твои секреты, расскажу о твоих тайнах, о мордах каменных твоих, о двойниках твоих!

— Не надо бы, Эртхиа, — зашептал Акамие, хватая его за плечо. — Только-только ведь вздохнули…

— Да пусть его, — усмехнулся Сирин. — Много не расскажет. Да и то, что расскажет — неправда.

Он был здесь, между ними, и Эртхиа видел его юным, серебряным, радужным, а Акамие — стариком в пыльном плаще, как всегда.

— Как же?! — возмутился Эртхиа. — Как — неправда? Я

своими глазами видел и памяти не потерял.

— А кто еще сможет увидеть это твоими глазами? То, что ты видел — твое. И то, что слышал. От меня там ни слова, ни полсловечка.

— Отпираешься?

— Да нет, просто объясняю. Сам ведь ты тогда еще сказал: каждый раз храм — разный. Только не в храме дело. Понимаешь?

— Понимаю, — ответил за брата Акамие. — А я — что увидел бы? Что сказал бы себе твоими устами?

— А не боишься?

— Чего же еще мне теперь бояться?

— А тебе нечего терять?

— Есть, но Хайр — больше. Скажи мне о Хайре.

— Оставь эти мысли.

— Но в Хайре теперь война, потому что я был негодным царем и заплатил за жизнь одной улимской малышки покоем всего царством, а это неправильно.

— С каких пор ты так решил? Ну-ка, ну-ка. Негодным царем, говоришь? Не призвать ли нам сюда бесценного твоего ан-Реддиля, пусть бы напомнил, чего так желали, сильнее, чем пищи и вина, сильнее, чем желали жен своих, благородные всадники Хайра? Не войны ли желали они? Ну так они ее получили.

— Да, но…

— Что, разумнейший мой? Не согласен? Желали они чего-то иного? Мощеных дорог и тенистых садов? Оживленных рынков и собраний мужей мудрости? Ну же! Каковы были их желания столь тайные, что даже я о них ничего не знаю? В чем были страсть и жажда их? То-то.

— Но ведь…

— Нет, ты — тот царь, который был им нужен. Я, думаешь, зря тебя на этот престол возвел? Или полагаешь, что я ошибся? Бывает и со мной такое, да, ошибался я порой. Но только не в тебе.

— Но в Хайре война теперь!

— Все сначала? Чего ты не понял? Разве я стал косноязычен?

— Но война — в Хайре!

— А где же еще ей быть? Хотят воевать — пусть воюют.

— Но воюют мужчины, а женщины, а дети?

— Да почему же в угоду неукротимым хайардам должны страдать чужие жены и дети? Что у них, своих нет?

Эртхиа покрутил головой.

— Страшные вещи ты говоришь.

— Возразить хочешь? — улыбнулся ему Сирин. — Помолчи пока, не твой черед.

— Правда, страшные, — сказал Акамие. — Лучше бы я сумел избежать войны.

— Это было в твоих руках — досидел бы казнь тихо на своем месте, не лишал бы народ развлечения. Отделались бы скорым и успешным походом на Ассаниду, пограбили бы малость, глядишь, и успокоились бы на год-другой. А там бы и Джуддатара подрос. Вот тогда бы повеселились по-настоящему. А?

— И это правда. Значит, нельзя было по-другому?

— Тебе — нельзя было, потому я и поставил тебя царем в Хайре. И незачем коней трудить зря. Звали тебя в Аиберджит? Повадились к Судьбе в дом ломиться, как на соседскую свадьбу. Видишь, сам к тебе пришел. Доволен ли ты теперь?

Акамие поклонился.

— Спасибо за науку, господин.

— Это еще не наука. Наука твоему брату будет. Ну, что нахмурился? Задавай свой вопрос.

— Если все, что ты сказал Эртхиа — от него, то ведь и все, что ты сказал мне — от меня? И, значит, это я сам себя оправдываю, а на самом деле вина моя со мной?

— Но ты сам и не нашел за собой вины! И я не нахожу. Оставь наконец Хайр и мысли о нем. Служение твое — окончено. Отпускаю. Ты мечтал увидеть все восемь сторон света? Что ж, ты свободен, и спутник твой опытен и надежен. И больше у меня для тебя ни слова нет, а те слова, что остались — не мне скажешь, не от меня услышишь. Иди. Теперь, сейчас иди. Ни к чему тебе оставаться, я тут брата твоего бранить буду. И нечего обниматься, я его не задержу надолго, еще увидитесь. Собирайся пока в дорогу.

Акамие послушно выпустил руки Эртхиа, поклонился.

— А с тобой, выходит, больше не увижусь?

— Что главное ты должен был понять из нашего разговора? Отвечай, раз в ученики хотел.

Акамие подумал, повел зрачками кверху, книзу.

— Я всегда говорю с тобой, а ты со мной.

И Акамие пошел к Дэнешу, и спросил его, и Дэнеш сказал: что я не делал для тебя и чего не сделаю? Пойдем, куда хочешь, и где захочешь, там останемся. Но как остальные? Решилось и с остальными, потому что ашананшеди отпросились у Акамие в Ы, и Дэнеш с У Тхэ подробно рассказали им известные пути, и более всего советовали найти аттанского торгового человека Тарса Нурачи, которому известны пути и короче, и удобнее.

— Я пошел бы с тобой, — сказал ан-Реддиль, — но вот — пойми этих женщин! — жили в Аз-Захре, в покое и довольстве, и оставались порожни. А здесь… вот… искать мне надо дом для

них и детей моих.

— Незачем искать тебе то, что есть у тебя! — возмутился Хойре. — Кав-Араван слишком велик для моей семьи, хватит места и тебе, и женам твоим, и детям, если, конечно, не зазорно для тебя поселиться в одном жилище с… со мной.

Ан-Реддиль от души хлопнул его по плечу:

— Вот вспомнил старую обиду! Придется мне теперь здесь остаться, чтобы ты не думал такого.

И Дэнеш сказал ашананшеди, чтобы до осени оставались в Кав-Араване, устроили в замке все для жизни, а потом — кто хочет, пусть остается насовсем, а кому охота — пусть идут в Ы, но вот он там был — и не остался, хотя за других решать не берется… а от спутников не откажется, если кто готов по-прежнему оберегать от всех превратностей жизни и пути того, кто вернул им свободу. Но тут же добавил: не более дюжины!

Когда Акамие ушел, Сирин обратился к Эртхиа.

— Ну что, собрал себе племя кочевое? Я тебя за этим посылал?

— По-твоему же выходит, что это я сам себя посылал.

— Ах, это ты понял. И что — большей не было у тебя заботы, как собрать великое кочевье? Ты искал средства вернуть себе больше, чем потерял. Ты нашел его?

— Что? — ответил Эртхиа, не скрывая усталости и досады. — Что я должен был найти?

— Не что, а кого. Тебе ведь сказали уже!

— Да ничего он толком не объяснил, Ткач этот твой. Погнал обратно вокруг всего мира. Ну, вот я здесь, вернулся. И что?

— И кто! Значит, говоришь, не отыскал. А дороги тебе осталось всего ничего. Ну да ладно. Ученик хоть нерадив, да удачлив. Может быть, и угадаешь ответ. Иди, ищи.

— Что? — в сердцах воскликнул Эртхиа.

— Кого, — терпеливо объяснил Сирин.

— Куда мне опять идти, куда ты меня посылаешь?

— Да разве я? Иди, куда хочешь.

О возвращении домой

Он прошел через пустую базарную площадь, петляя между обугленными остовами лавок, перебираясь через обрушившиеся навесы, перепрыгивая через многоводные ручьи. Неумолчно журчала, омывая каменные ступени улиц, холодная вода, но пусты были разбитые желоба и ниоткуда не слышно было прежнего певучего звона. И тишина стояла в вечернем городе, какой он не слышал прежде — даже ветер не тревожил буйной листвы.

А вот здесь была лавка, а здесь — мастерская, там шел торг в гаме, в пыли, в запахах пряностей и благовоний, зелени и вяленой рыбы, а там под навесом грудами лежали тюки тканей, вытканных золотыми и серебряными нитями. А вот здесь в лавках ювелиров сверкали золото и самоцветы, бронза и серебро, а дальше — драгоценные сабли, щиты и кинжалы бросали пригоршни солнечных осколков в глаза, а в глубине мастерской мастера и ученики мастеров, сидя на каменном полу, заваленном кусками разноцветной кожи, связками жил, золотой и серебряной тесьмы, заставленном коробками искрящегося цветного бисера, полировали широкие, отливающие ртутью клинки лоскутами нежной замши, шлифовали рукояти из слоновой кости или носорожьей кожи, украшали бисером, и золотым шитьем, и серебряными монетами ножны на любой вкус. А там среди лавок ютились крохотные мастерские портных, сапожников и ткачей. И везде толпились люди, покупатели и просто так посмотреть, и в толпе сновали дети, много детей, весело орущих, жующих сладости, грызущих орехи. От шума, пыли, духоты и запахов гудела голова и лицо покрывалось липкой испариной…

Только шаги, его шаги. Эртхиа шел, уже не озираясь, ничего не попалось ему по дороге домой такого, что он рад был видеть. С самого начала решил Эртхиа ночевать в своем доме и теперь упрямо пробирался туда. Хотел он принять свои потери во всей их полноте, но сердце отвердело и не впускало в себя то, что видели глаза. Домой надо было прийти и увидеть пустой дом. А тогда, знал Эртхиа, изнеможет сердце и падет мертвой птахой на пыльные плиты двора, и кончится жизнь.

Так и было — в пустых покоях никто не вышелнавстречу Эртхиа (а ждал, не надеясь, но ждал — ведь не могло быть иначе). Тела, завернутые в пыльную парчу нашел он в склепе, и пересчитал, и называл по имени. А сердце все билось, не принимая.

И тогда он сел у них в ногах и стал вспоминать, какими они

были: круглолицая, смуглая, румяная Рутэ, косицы без счета, звон монеток на рукавах и подоле, так любила, а он и рад был дарить ей, приносил в платке с базара, все менялы знали, оставляли для него редкие денежки чужедальних стран, и купцы везли их издалека, а он приносил, на колени ей высыпал из платка, и садились разглядывать; и Дар Ри Джанакияра, робкая, кроткая, любящая тень, и прохладу, и тишину, для которой он насадил деревья и поставил скамьи под деревьями, и устроил в покоях каменные чаши с проточной водой, и приносил птиц в клетках — посмотреть, как она выпускает их на волю и долго улыбается потом; и Ханнар, Ханнар, горькая вода, отрава, солнечный ожог, ничем не угодить, не утешить.

И Атарика, дочь купеческая, девочка беззаботная, балованная отцова любимица, сердцу радость. И маленькая Хон И-тинь, глаза — проворные рыбки на набеленном лице, голосок колокольчиковый, ручки-мотыльки. Что с ними сталось? Не узнать никогда, а разве не знает? Сердце, сердце, поверь наконец: кончилась жизнь. Но не верило сердце, заходилось любовью. Каждая черточка милых лиц, каждый оттенок родных голосов, каждая прядка, каждая родинка, каждая складочка кожи — не знал Эртхиа, что возможно помнить так немилосердно, так беспощадно, так яростно любить.

Так любить, что весь Аттан стоял перед глазами — светом, и звоном, и шелестом листьев, и песнями птиц и бродячих певцов, и звонким ропотом базара, и детским смехом, и стоном любви.

Изнемогло сердце. Как в обморок, ушел Эртхиа в тяжкий сон, повалился на пол, раскинув руки.

Непочтительная муха села царю на щеку, поползла к губам. Царь сморщил лицо, дунул вбок. Муха взлетела, пожужжала, села на прежнее место. Царь отмахнулся от нее, повернулся лицом в подушку и снова уснул.

Приснилась жена его любимая, богиня Ханнар, вся как наяву: брови насупленные, губы строгие, глаза рыжие яростные. Ни ласки, ни скромности женской — воительница.

— Ты во всем виноват, что на мне женился, а дитя мне дать не можешь. Себе жен человеческих завел, они рожают, одна вперед другой торопятся.

— Я разве знал? — оправдывался Эртхиа. — Ты одна и знала.

— А мне легче от того?

Эртхиа потянулся к ней — обнять, утешить, хоть знал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Не как жена человеческая, отвечала на ласки и утешения Ханнар. То ли в обиду ей были утешения? Но потянулся к ней Эртхиа, потому что мужем ей был и хотел утешать и беречь.

А она оттолкнула его руки, отшвырнула одеяла, спрыгнула с постели, руки к лицу и горлу, давясь рыданиями, кинулась прочь, только дверь стукнула. Эртхиа оторопел: Ханнар — и плачет? Но что раздумывать, кинулся за ней. Халата не набросив, как был, выскочил на выложенную цветными плитами веранду. Солнце ударило в глаза. Ханнар стояла, согнувшись, вцепившись белой рукой в резной столбик веранды. Плиты у ее ног были испачканы чем-то. Эртхиа подошел ближе, и тут она содрогнулась, и ее снова вырвало.

— Съела что-то не то, — не оборачиваясь, сердито сказала она Эртхиа. — Принеси воды.

И Эртхиа пошел за водой к фонтану, что ж поделаешь, у женщин это бывает, и перечить им в это время — накликать беду на дом. На краю бассейна стояла пара крохотных туфелек, кто-то из детей оставил, а служанки не прибрали, непорядок, но ради радости сегодняшней — пусть их, в такой день не наказывают.

В доме лениво перекликались женщины, хныкал ребенок. Эртхиа прислушался к голосам и удовлетворенно кивнул. Все так, как должно быть, не больше и не меньше. Все мои — здесь. Не мал ли дом? Так со строительством никогда не закончу.

Я нашел его, сказал себе Эртхиа. Это как же далеко надо было уйти, чтобы найти его. Эртхиа наклонился над водой и вгляделся в его лицо.

Что же ты раньше мне не сказал, спросил Эртхиа себя самого. Ты не верил и не поверил бы. Разве можно поверить в такое? И то правда. Разве это возможно?

За стенами дворца просыпался Аттан, шумный, и яркий, и любимый. И пока я люблю его, сказал Эртхиа, ничего плохого не может случиться.

Не сошел ли я с ума? Я помню пустоту и безлюдье, я помню. Что же это — морок? Безумие мое? Кажется, если прищуриться и посмотреть на все — так и видно, что сквозь яркий и милый мир проступает пятнами тлен и прах, и слышно сосущей тоской под сердцем страшную тишину сквозь лепет листвы и звон водометов.

Нет! Нельзя. Если я услышу, увижу если… Так и будет. Станет так.

И что же, спросил себя Эртхиа. Что же? — потребовал ответа. Скажи мне, это все — ненастоящее? Если я боюсь прислушаться и вглядеться, чтобы не увидеть истины — значит, истина в том и есть, в том, страшном?

Смотри вокруг, ответил ему Сирин. Слушай. Эта птица пестра и она поет. Эта вода сверкает на солнце, взлетая в вышину, и звенит, и плещет, обрушиваясь вниз. Там — Ханнар утирает ладонью рот, на глазах у нее слезы, потому что она уже поняла и

страшится поверить. Слышишь, дети твои, все, сколько ты их зачал, просыпаются в доме, и женщины ласкают их, твои женщины, сколько ты взял себе — все.

Сумеешь удержать это? Сумеешь любить неустанно, всегда так, как сейчас? Пока сердце твое не остынет — этот мир, где бы он ни был, из чего бы ни был сотворен, этот мир — твой.

Счастье твое не будет легким. Ты не забудешь того, что видел и что знаешь сейчас — всегда будешь чуять под светом и звуком пустоту. Источником этого мира — твое сердце.

Чем он тебе не настоящий, Эртхиа? Или ты хочешь проверить?

Нет, сказал Эртхиа. Только скажи мне. Что же, они — живые ли? Для меня ли только этот мир или и для них тоже? Объясни, есть ли они, когда я не вижу их, если только слышу — где их видимый образ? Если даже не слышу — остаются ли они быть или исчезают и являются снова, когда я вспоминаю о них?

— О Эртхиа! — воскликнул Сирин. — Знал ли ты это прежде, от рождения и до этого дня? Как не знал ты этого прежде, так ни к чему тебе это знать и теперь. И настоящих миров разрушено без числа теми, кто задавал такие вопросы. А этот мир еще хрупок, и ты непривычен к своему делу: держать его своей любовью. Но всё в нем живое, и все в нем — живые. Возьми же воду, Эртхиа, неси ее Ханнар. Живи и люби, Эртхиа, и запомни, нет дела важнее ни у тебя, ни у меня.

Ведь ты помнишь, что был разрушен Хайр, но возродился моей любовью, и ты был убит, но вернулся — любовью тех, кто любил тебя, по слову Акамие. И разве не ты вернул сюда Тахина? Ты ли, Эртхиа, ненастоящий, твой ли мир?

Так иди и живи.

И вот моя история, и все, и конец

Дома, сложенные из глиняных кирпичей, высокие, продырявленные множеством окошек, едва пропускавших свет, заслоненных от солнца ставнями — но в нижнем этаже непременно в одном из окон стоял в тени и прохладе наполненный водой сосуд и при нем глиняная чашка, и любой прохожий мог напиться из нее. Ставни и двери были украшением домов, а делали их из драгоценного дерева — любое дерево было драгоценным в стране, удаленной и от поросших лесами гор Хайра, и от причалов Южных побережий. Всякая дощечка прибывала в Шад-дам караваном, в верблюжьей поклаже, наравне с тончайшими тканями, ослепительно яркими уджскими красками, ароматнейшими из благовоний и самыми красивыми рабами. За свою соль шадмийцы желали иметь только лучшее.

Тахин бродил по городу, окидывая долгими жадными взглядами широкие мощеные улицы вокруг храма и базаров, сворачивая в утоптанные боковые улочки и проходы, ныряя в щели между домами, потом выбрал угол напротив храма и долго вглядывался в темную фигуру у колонны. Сквозивший между колоннами ветер выплескивал из черной тени то край жреческого одеяния, то, длинными лентами, крашеные волосы, и солнечный свет на миг возвращал им цвет, вспыхивая белым на белом и алым на алом. Проходило время, и он отступал за колонну, уходил, его свечение тонуло в темной глубине. Ему на смену из темноты выступал другой, всякий раз в новом месте, застывал караульным на границе тьмы. Но все они казались одинаковыми в безучастной неподвижности, и Тахин не отличал одного от другого и среди них того, похожего.

Праздник ожидали завтра, если сойдутся все одиннадцать неизменных примет и семь необходимых предзнаменований. А до сих пор они всегда сходились — отчего бы светилам сегодня нарушать заведенный от века порядок? Тахин был лишь одним из немногих, загодя занимавших места поближе к храму и площади перед храмом, готовившихся с наступлением темноты Ночи молчания устроиться на ночлег на ступенях храма. Утром им пришлось бы покинуть ступени и тесниться вокруг площади вместе со всеми, но зато в самых первых рядах.

Тахин не собирался оставаться перед храмом до утра. Тахин не собирался оставаться на праздник. Он должен был найти и увести его с собой — сегодня. Если он вышел в город, то надо было только дождаться его возвращения. Если он находился в храме, то надо было положиться на милость судьбы и дождаться,

чтобы он встал на страже у колонн. Но Тахин не в силах был вынести ожидания. И он ушел от храма и снова бросился в сутолоку запруженных улиц, и кружил, то поддаваясь течениям и водоворотам, то кидаясь наперерез толпе, едва завидя плывущее над толпой алое облако. Все зря.

Уже темнело, стремительно, как всегда здесь, когда Тахин заметил их. Уже не надеясь, он провожал их взглядом: двоих, стройных, в длинных, белых, озаряющих сумерки плащах, и сияние окутывало их светлые волосы. Они шли неторопливо, не глядя по сторонам, медленно и уверенно рассекая толпу. Они шли в противоположную сторону от храма. На ночь глядя. Ночь молчания, когда все обитатели храма должны были затвориться для молчания и сосредоточения перед великим праздником Обоих богов.

Тахин смотрел им вслед. Один из них… Сердце сбилось, замолчало, пропало. Вернулось таким оглушительным ударом, что Тахин пошатнулся. Один из них был Аренджа. И стать, и повадка, и легкие в развороте, полные скрытой мощи плечи, и сильная стройная шея между перекинутыми вперед двумя полотнищами волос, и спокойные руки опытного бойца, и поступь: каждый шаг, властно опиравшийся на землю, но готовый взмыть в высоком полете, каждый шаг был его, его, Аренджи, да.

Тахин перевел взгляд на его спутника, и сердце заколотилось, изнемогая. И второй был он.

Тахину и от первого было — как во сне. Но сон стал страшен.

Те двое свернули за угол. Тахин, замерший было, сорвался с места и бегом кинулся за ними, потому что не видеть их теперь стало страшнее. Он уже добежал до угла и выбросил руку, чтобы опереться на стену и, не замедляя шагов, повернуть. И едва сумел остановиться, ибо тот, кого он искал, оказался перед ним — лицом к лицу. Он тоже спешил, но не бежал, и только поэтому они не столкнулись, а замерли друг перед другом в неловких мгновенных позах испуганного удивления.

И пока успокаивалось дыхание, опускались вскинутые руки, разжимались губы, утекал испуг из глаз, они молчали. Потом Тахин:

— Это ты?

— Это я.

Совсем не похож, если смотреть глазами. Где смоляная гладкая коса, угрюмая опасная красота хайарда, глубокая темень глаз? Но — он, настолько, несомненно, он, да. И качнуло новым узнаванием: тот прекрасный, тот невольник, своей рукой убитый — тоже он. Никогда Аренджа не был похож на того, как этот не похож на Аренджу. Но — он. Как же это? Не может быть.

— Это ты?

— Это я.

И — счастье: не убил красоту, не смог убить — не далась.

Вот и все, что они сказали друг другу, но на это им понадобилась вся ночь, и ни единого слова сверх того, — пока за углом собиралась толпа, принявшая, так же как Тахин, тех двоих за жрецов из храма Обоих богов, пока шум, и крики, и ругань росли и росли в узкой улочке перед дверью из драгоценного дерева, которую грозили выломать, требуя у хозяина выдать им тех двоих (да что там, уже и утро почти, и праздник — отдай их нам, а дочерей твоих не предлагай нам взамен, дочери твои и сами к нам выйдут, когда загремят бубенцы и заноют дудки, отдай нам их — отступников, беглецов от великого праздника, не давай им убежища, отдай их нам!)

Они говорили: это ты?

Это ты? Это я. А «люблю» они не говорили, нет, не говорили: не было в этом нужды, им сказать «это я» было все равно, что сказать «люблю».

А обезумевшие от вожделения, а ослепшие от вожделения расползались, тычась в стены и друг в друга, и не суждено им было увидеть света зари. И те, кому было дано спастись из города, покидали его второпях, чтобы до света, до бубенцов и дудок, до безумия, до гнева небес. Те двое уводили их.

А эти двое стояли друг перед другом, и все, что сказали друг другу: это я — это я.

Может быть, они тоже ослепли вместе со всеми, кто ломился в ту дверь, хотя любовь ведь не ломится в двери, а умирает молча, и эти двое давно выучили этот урок, но, в конце концов, чем они отличались от прочих в этом городе, тоже подверженные злому здешнему греху, — чем?

Может быть, они тоже ослепли, и, страшась потеряться и осиротеть, протянули руки, и нашли единственное нужное им, и обнялись. Это ты. Это я.

Вот они-то и не заметили, что случилось с Содомом.